На берегах Невы

Борис Федорович Соколов

SHOUT
SHARE
IT

- Борис Соколов
  - Об авторе
  - Вместо предисловия
  - Предисловие переводчика
  - Борис Соколов
    - Заключённый крепости
    - Ревнивый пуританский учёный.
    - Поэт акмеист.
    - Путник
    - Мой арест и тюрьма
    - Слов ещё недостаточно.
    - Александр Керенский
    - Когда всё проиграно.
    - Жизнь как обычно
    - Революционный пыл умер
    - «Серая Шинель»
    - Уничтожение русской интеллигенции
    - Прощай, Нева
    - Доктор Бетвугин.
    - В станице
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22

Борис Соколов
На берегах Невы

Об авторе

Борис Фёдорович Соколов родился в 1893 году в Петербурге. Доктор медицины, известный учёный, патолог. После окончания Петербургского университета он поступил на работу в Петроградскую Биологическую Лабораторию при курсах Лесгафта, заведовал которой профессор зоологии (с 1907 года) Петербургского университета С. И. Метальников. Метальников в революцию эмигрировал во Францию и директором Биологической лаборатории в апреле 1918 года выбрали известного революционера Н. А. Морозова, который летом 1918 года преобразовал Биологическую лабораторию в Петроградский Научный институт им. Лесгафта. В этой Биологической лаборатории Борис Соколов и начинал работать. В конце 1916 года Соколов был призван на фронт, где работал во фронтовом госпитале. Принимал участие в обороне Зимнего дворца 25 октября (7 ноября) 1917 года. Являлся делегатом Всероссийского Учредительного Собрания от 13 армии и председателем его военной секции. Был участником второго Учредительного Собрания в Уфе в 1918 году. Бежал из страны. Возвратился опять и участвовал в движении сопротивления в Архангельске. Сто двадцать два дня Соколов провёл в Бутырской тюрьме, ожидая смертной казни. Эмигрировал. Работал в Брюссельском университете, институте Пастера в Париже и в Пражском университете. В 1928 году Соколов переехал в Америку, где работал в Рокфеллеровском институте в Нью-Йорке, в институте Крокера, в Онкологической Лаборатории Колумбийского Университета, на кафедре Паталогии Медицинского Института Вашингтонского Университета. После второй мировой войны работал директором лаборатории по биоисследованиям Южного Колледжа во Флориде. Его научные исследования, в основном, касаются онкологической области. Он был членом Королевского Медицинского Общества Англии, членом Нью Йоркской Академии Наук и редактором журнала «Рост». Автор многих научно-популярных книг и воспоминаний. Первая его книга рассказов и воспоминаний под названием «Преступление доктора Гарина» вышла в 1928 году с предисловием известного американского писателя Теодора Драйзера. Список его книг включает:

1. Эрнст Солвей. Биография.
2. Томас Масарик. Биография.
3. Наполеон. Биография, написанная с медицинской точки зрения.

4. Огюст Комт. Биография.
5. Принципы положительной философии Солвея.
6. Жизненная сила.
7. Бунт или вопрос?
8. Биодинамика человека.
9. Средний возраст — это то, что вы сами об этом думаете.
10. Болезни цивилизации.
11. Ревность. Психиатрический подход.
12. Наука и цель жизни.
13. Белые ночи (Воспоминания).
14. Доктор Стрэнд.
15. Карциноид и серотонин.
16. Непобеждённый враг.
17. Рак. Новые подходы.
18. История пенициллина.
19. Волшебные лекарства.
20. Достижение счастья.
21. Общество вседозволенности (Об упадке нравов в Америке 60-х годов.).

Последняя его книга воспоминаний, «На берегах Невы», вышла в 1973 году в Англии.

Вместо предисловия

Наше настоящее переплетено с нашим прошлым и будущим. Эта связь не может быть нарушена никакими внешними обстоятельствами, а также нашим собственным желанием забыть прошлое. Очень давно я покинул Россию. И тем не менее, в моих снах я часто вижу великолепную белизну покрытой снегом Невы и слышу звон церковных колоколов и скрип саней.

С моей ранней юности у меня была склонность к прогулкам в одиночестве. Мне было 10 лет, когда я поздно вечером, втайне от родителей, тихонько ускользал из дому и медленно бродил вдоль берегов Невы. Я не обращал внимания на погоду, даже если было очень холодно, когда глубокий снег заваливал улицы, или это было в жару летом. Старый Петербург сидел глубоко в моих костях. Он до сих пор там, после стольких лет вдалеке от моего любимого города.

Для человека, который родился в Петербурге, город обладает необыкновенной магией. Он был основан по прихоти Петра Великого, пьяницы, мечтателя, неуравновешенного драчуна — город воплощённой мечты. Для приезжего эмоциональная холодность, абстрактность и спокойствие города кажутся гнетущими. Это потому, что Петербург — это город внутреннего самосозерцания, город раздвоённой личности, город мессианских предчувствий, город страсти, спрятанной под внешним спокойствием. Только петербуржец может любить город нежным чувством, может прочувствовать его душу, его мистическую сущность, и воспринимать себя, как его неразрывную часть. Только истинные дети города могут восхищаться его тихими и мрачными ночами, мокрой осенью, грязными каналами и речушками. Только они будут очарованы снегом и льдом зимы, весенним ледоходом, неулыбчивыми прохожими, маленькими, плохо освещенными забегаловками, где бесконечный разговор о бренности жизни продолжается из вечера в вечер. Петербург — это город, где нищие и пьяницы могут свободно приставать к вам на улицах с философскими разговорами о бессмертии души. Петербург — это город, где в великолепных церквях и соборах люди молятся перед образом Христа. Петербург — это был город идей, обильных и сильных, растущих на крайнем индивидуализме, конфликтующих, воодушевляющих и бесконечно далёких от окружающей человека действительности.

Ночами, гуляя по улицам, я буду стоять перед освещёнными полуподвальными окнами и смотреть, как люди сидят вокруг стола и пьют бесконечный чай из кипящего самовара, едят

чёрный хлеб с варёной колбасой, курят папиросы и обсуждают философские вопросы жизни и смерти. Я старался в силу своего юного разумения понять, чем они живут, их мысли, их чувства. Я старался сопереживать с ними вместе.

Санкт-Петербург был центром особенного многомиллионого племени, известного как интеллигенция. Ничего, сравнимого с русской интеллигенцией, не могло существовать ни в одной стране. Нет ничего похожего между теми, которых в Америке и Европе называют интеллектуалами, и русской интеллигенцией прошлого. Интеллигенция была воодушевлена состраданием, часто смутным и преувеличенным, к России и к человечеству в целом. Они верили в демократию не столько в политическую систему, а как в образ жизни. У них не было никаких материальных тенденций. Они жили скромно, если не в бедности. Врачи, юристы, инженеры, служащие, большинство из них принадлежащие к низшему или среднему классу, они никогда не требовали улучшить лично их экономические условия. Врачи никогда не посылали счета своим пациентам, и если им платили, то они были смущены, потому, что они верили в клятву Гиппократа, что врач должен посвятить жизнь страдающему человечеству. Учителя отказывались от более оплачиваемых должностей для того, чтобы работать в маленькой деревне, где работа оплачивалась продуктами, случайно приносившимися родителями учеников. Можно сказать, что они были социалистами, но их социализм не был сформулирован ни в одной социалистической теории. Это было просто христианское отношение ко всему, а не какое-то политическое кредо. Они не были реалистами. Они были полны иллюзий о человеческой природе. Они были широко образованы, и большинство из них были великолепными врачами, педагогами и учёными.

Из русских писателей, возможно, только Достоевский представил мощную психологическую картину людей живших и страдавших в Санкт-Петербурге.

* * *

Ещё на первом году университета я примкнул к партии трудовиков Керенского, но политика как таковая, никогда не привлекала меня. Поэтому в университете я не занимался политикой, а зарабатывал на учёбу преподаванием в вечерних школах и курсах Лесгафта, организованных по образцу и подобию французской Сорбонны. В 1905–1914 годах в России росло движение за демократию. Это движение встретило сопротивление

не только со стороны царского правительства, но и со стороны большевистской партии. В профсоюзах, кооперативах, образовательных институтах, большевики старались остановить растущее влияние демократических партий. Это ещё было задолго до переворота 1917 года.

В конце 1916 года меня забрали в армию и послали врачом-инфекционистом на Юго-Западный фронт. Во время Февральской революции я был на фронте. После Февральской революции было сформировано коалиционное, из различных партий, демократическое правительство. Целью коалиционного демократического правительства был созыв Всероссийского Учредительного собрания для выработки конституции новой демократической и республиканской России. Я был в Петербурге во время переворота, и хотя выборы в Учредительное собрание прошли в ноябре 1917 года по старому стилю, то есть когда власть была уже в руках большевиков, они получили меньшинство голосов. Я был избран по мандату партии Трудовиков от юго-западной армии. Будучи председателем военной комиссии Учредительного собрания, я отвечал за защиту Учредительного собрания, которое, тем не менее, было разогнано вооружённой силой 5 января 1918 года. Избегая ареста, я возвратился на германский фронт, который ещё тогда существовал. Летом 1918 года на Волге сформировался новый фронт в следствии неожиданно появившейся проблемы с чехословацкими военнопленными. Чехи сначала не поддерживали большевистское правительство, поэтому стал возможен созыв второго Учредительного собрания в Уфе. Мне удалось с большими опасностями через Киев и Москву достичь Уфы, но в связи с развалом фронта всем пришлось бежать в Сибирь и уже оттуда, через Японию и Китай мне удалось добраться до Парижа, где я был во время Версальской мирной конференции 1919 года. Большая часть России уже попала под власть большевиков, но на Севере ещё было демократическое правительство, возглавляемое Николаем Чайковским, бывшим лидером кооперативного движения. Вместе с Красным Крестом к концу 1919 года я снова приплыл в Россию через Архангельск и попал врачом на Вологодский фронт. В начале 1920 года я даже успел побывать министром образования, однако красные быстро заняли Архангельск. Маленький ледокол, на котором мы пытались эвакуироваться в Норвегию, затёрло во льдах. Я был схвачен и приговорён к смертной казни, но затем по приказу московского начальства меня перевели в Москву, в Бутырскую тюрьму. После ста двадцати двух дней в Бутырке меня без всяких объяснений выпустили из тюрьмы. Здесь главную роль сыграло то, что я был в

форме британского офицера, и при мне были мои документы корреспондента нескольких французских и английских газет. За меня так же писал письмо Ленину старый революционер Николай Морозов, директор Научного института Лесгафта.

Я вернулся в Петербург, в свою Петроградскую Биологическую Лабораторию, ставшую называться в 1918 году Петроградским Научным Институтом им. Лесгафта П. Ф., где стал продолжать заниматься экспериментальной медициной. После нескольких недель мне стало очевидно, что надо бежать из страны. Встретив жену Керенского, я принял окончательное решение. По фальшивым документам я выехал в Эстонию вместе с женой Керенского и её двумя сыновьями. Это было в сентябре 1920 года. За границей мне удалось получить место в Брюссельском университете. После многих мест работы, в 1928 году мне пришлось уехать в Америку.

В Америке очень скоро я был потрясён отношением американских интеллектуалов к тому, что происходило в России. Почему интеллектуалов? Потому что простых американцев российский вопрос вообще не интересовал, да и был им недоступен. Но интеллектуалы? Я часто разговаривал с Теодором Драйзером и Хейвудом Бруном и другими писателями и журналистами. И я нашёл, что они слепо восхищаются Советским режимом. Было совершенно бесполезно объяснять им, что Советский режим просто является прикрытием конвейера по уничтожению народов, проживающих на территории СССР. Чтобы у них открылись глаза, им потребовалось тридцать лет. Этого я не ожидал от людей, которые называют себя интеллектуалами.

Сам по себе интересен факт, что в стране с предполагаемой свободой прессы невозможно было напечатать ничего, что бы шло вразрез с официальной большевистской пропагандой. Вся русская история преподавалась в Америке как тёмный мрак, пока к власти не пришли Ленин и Троцкий. Да Россия до 1917 года была во многих отношениях гораздо демократичней самой Америки. Свобода слова в русских университетах до сих пор является недостижимой мечтой американских и западных университетов. Для американских интеллектуалов, которые вообще никогда не были в России и ничего не знали о ней, большевистский режим был прогрессом отсталой страны. Страны, история которой, как минимум, в два раза длиннее американской. Безобразный апломб и полное игнорирование фактов привели к тому, что в 30-40-е годы американские агенты большевизма чуть не взяли в свои руки власть в самой Америке. Вследствие этого подхода американские интеллектуалы относились к нам, русским, пытающимся бороться с большевиками, как к мракобесам и

отсталым элементам, являющимися тормозом на пути к прогрессу. Если я только открывал свой рот, чтобы сказать пару слов против большевиков, меня тут же затыкали одним словом: «А, это этот белогвардеец, белый». То есть меня слушать было совсем не обязательно.

Теодор Драйзер никак иначе ко мне и не обращался, как: «Беляк».

В тридцатые годы они стали всех людей, критикующих большевиков, называть фашистами.

При этом они с преступным попустительством смотрят, как в их собственных странах исподволь устанавливается диктатура порнографии и насилия. С таким же преступным попустительством, как и русская интеллигенция до 1917 года, западные интеллектуалы безучастно наблюдают за установлением режима порнократии — диктатура порнократии.

Через историю своей жизни, я как врач, пытаюсь написать историю болезни, охватившей всю западную цивилизацию. Эта та же самая болезнь, которой болела Россия до 1917 года, и которая сейчас съедает западную цивилизацию, и как бы сказал мой отец: «Рыба гниёт с головы».

Предисловие переводчика

С какой любовью пишет Борис Соколов о России и Петербурге, хотя его воспоминания относятся к самым трагическим годам в русской истории. Для сравнения я приведу вам воспоминания о России того же времени, человека, не являющегося россиянином… Этот человек был видным общественным и политическим деятелем 20 столетия. Но он, англичанин, представитель страны, несущей ответственность за тогдашнюю трагедию России. Подлый союзник, а на самом деле — враг, Англия была одной из основных причин бедствий России на протяжении последних 200 лет. Лорд Бертран Рассел являлся типичным представителем философии английского превосходства. Он посетил Россию в составе делегации от рабочей партии Англии в 1920 году. Вот что он пишет в своей трехтомной, массивной «Автобиографии»:

«Для меня время, проведённое в России, было непрерывным и нарастающим кошмаром. Я уже писал об этом, но я не могу передать всё чувство полного ужаса, который переполнял меня всё время, пока я был в России. Жестокость, нищета, подозрение, преследования были в самом воздухе, которым мы дышали. Наши разговоры подслушивались. В середине ночи слышались выстрелы — так идеалисты уничтожались в тюрьмах. Вокруг была лживая претензия на равенство, и каждый обращался друг к другу «товарищ»; однако, было удивительно с какой разницей это слово произносилось, смотря по тому, к кому оно обращалось: к Ленину или к ленивому работнику. Однажды в Петрограде ко мне пришли четыре огородных пугала, одетые в лохмотья, с нечесаными бородами и грязными ногтями. Они были четырьмя самыми известными поэтами России. Одному из них Советское правительство разрешило читать лекции по стихосложению, но он жаловался, что его заставляли излагать стихосложение с марксисткой точки зрения; а он никак не мог понять, каким образом Маркс относится к стихосложению. Такими же оборванцами были и члены математического общества Петрограда. Я пошёл на собрание этого общества, где один читал лекцию о неевклидовой геометрии. Я ничего не понимал, кроме формулы, которую он написал на школьной доске; однако, это была правильная формула, откуда я мог догадываться, что он, должно быть, говорил правильные вещи. Никогда в Англии я не видел такого количества оборванцев, которые имели бы такой ужасающий вид, как математики города Петрограда. Мне не разрешили навестить князя Кропоткина, который вскоре после

этого умер. Правящие большевики имели не меньше самомнения, чем наша элита, производимая в Оксфорде и Итоне. Они верили, что их социальная формула разрешит все трудности. Некоторые более интеллигентные имели понятие, что это не так, но не осмеливались это сказать. Однажды в разговоре со мной, приставленный ко мне медицинский руководитель по фамилии Залкинд начал говорить, что климат имеет огромное значение на характер, но тут же он умолкнул на полуслове, а затем добавил: «Конечно, это неправда. Характер определяют экономические условия». Я чувствовал, что всё человеческое разрушено в интересах тупой и узкой философии, и что в этом процессе нечеловеческому состоянию были подвержены полторы сотни миллионов человек. С каждым днём, проведённым в России, мой ужас нарастал, пока я не потерял всякую способность к суждению. Из Петрограда мы поехали в Москву, потрясающе прекрасный город и архитектурно гораздо интереснее Петрограда вследствие своей восточной оригинальности. Я умилился, каким множеством способов большевики показали свою любовь к массовой продукции. Обед у нас был около четырёх часов дня и содержал среди других ингредиентов рыбьи головы. Я так и не смог ни у кого узнать, куда делись рыбьи тела, хотя я догадываюсь, что они были съедены народными комиссарами. В Москве-реке тогда водилось очень много рыбы, но людям не разрешают ловить рыбу, поскольку, видимо, ещё не изобретён такой автоматический способ лова рыбы, который бы превосходил леску и удочку.

Мы поплыли вниз по Волге на пароходе, и Клиффорд Аллен заболел сильным воспаление лёгких, которое осложнило его бывший туберкулёз. Нам всем предполагалось сойти в Саратове, однако, потому что Аллен был очень плох, и его нельзя было трогать, мы все поплыли дальше вниз до Астрахани. В кабинах было дико жарко, и поскольку воздух был насыщен комарами, приходилось держать все окна закрытыми. Дышать было нечем. У Аллена вдобавок начался сильный понос, и мы все по очереди ухаживали за ним. Хотя на борту и была русская медсестра, она не сидела с ним ночью, поскольку боялась, что если он умрёт, то его дух вселиться в неё.

Астрахань мне показалась более адом, чем что-либо я мог себе представить. Городская вода забиралась из места, где пароходы сливали свои нечистоты. На каждой улице были болота с мириадами комаров. Каждый год треть населения города болела малярией. Канализации не было. Однако огромная куча экскрементов занимала видное место в центре города. Встречались случаи заболевания чумой. Недавно тут была гражданская война, и воевали против Деникина. Мухи были

настолько многочисленны, что обедая, надо было накрывать еду марлей и выхватывать кусочки быстро из-под марли. Когда на стол накрывалась марля, она моментально становилась чёрной от мух. Астрахань находиться ниже уровня моря, и температура была 50 градусов в тени. Советское начальство, сопровождавшее нас, заставило местных докторов выслушать лекцию Гадена Геста, который был специалистом в этой области, и предохранял британскую армию от малярии в Палестине. Лекция была замечательной, в конце которой местные врачи сказали: «Всё это нам известно, но очень жарко». Я удивлялся, может их за это отношение расстреляют, но об этом мне неизвестно. Наиболее известный из их докторов осмотрел Аллена и сказал, что он не протянет и двух дней. Он прожил ещё много лет, и стал украшением палаты лордов».

Такими словами описывает свои в впечатления от России, рафинированный англичанин Бертран Рассел — философ и политик английского супремасизма. А теперь — повествование Бориса Соколова.

Переводчик Джон Галепено.

Борис Соколов
На берегах Невы

Заключённый крепости

Была ночь. Белая ночь. Конец июля. Я шёл по набережной вдоль дворца. Туман был плотный. Голоса приходили и уходили, приглушённые и как бы нереальные. Я спустился по каменным ступенькам, ведущим к реке, и сел на узкую каменную скамейку. Я ни о чём не думал. Белая ночь располагала к созерцанию. Это всегда было так. Я зажёг папиросу. Река была молчаливой и сонной. «Я рад, что ты здесь». Голос рядом со мной был низким и музыкальным.

Я повернул голову. На первой ступеньке сидел человек буквально в метре от меня. Человек с седеющей бородой, длинными волосами и улыбающимися глазами.

— Я не предполагал, — пробормотал я.

— Это не важно.

— Конечно нет, согласился я.

— Наша память… — он не окончил.

— Наша?

— Каждая. Очень странная.

— Да, действительно.

— Я полагаю, что наша память пересекает пространство и время.

— Не всегда.

— Всегда, — сказал он решительно. — Всегда.

— Возможно.

— Ночами, в своих снах я пересекаю столетия. Я путешествую в Афины, древние Афины. Я жму руку Сократа, смелого и высокомерного оратора. Я хожу по улицам Парижа. Я обсуждаю с Роджером Беконом его изобретения. Несчастный человек! Он умирает, но его ум живой, и глаза светятся. Внезапно я снова в своём родном городе, в Петербурге.

— Вы в действительности призрак?

Он засмеялся:

— Есть сомнения?

— Мне кажется, что я вас знаю.

— Вполне возможно.

— Ваша фамилия…?

— Николай Морозов.

Я вскочил:

— Нет, не тот…

— Да, именно тот старый Морозов, — он усмехнулся.

— Да я мечтал встретиться с вами, — Я заикался. — Я мечтал…

— И вот я здесь.

— Я хотел бы вас спросить… могу я?

— Всё, что угодно сынок.

— Как вы выдержали. Как вы пережили двадцать лет в одиночном заключении? Или это было больше?

— Немного больше. На чуть-чуть. Двадцать один год и сто тридцать два дня.

— Вы что, считали дни?

— Конечно, все считают, на стенке камеры. Это помогает.

— Это ужасно. Всё наедине с самим собой.

— Первый год. Да. Я был молод, когда меня приговорили к смерти.

— Вы были поэтом. Я читал о Вас. Ваша трагическая судьба. Вы были невиновны.

— Нет, молодой человек, я был виновен. Я был вовлечён в заговор, убить царя.

— Вы же не убили его! — я вскричал. — Это было жестоко приговорить Вас к смертной казни.

— Жестоко? Я не знаю. Когда окончательный приговор огласили, сначала я был рад, даже счастлив. Вместо смерти — жизнь в Шлиссельбургской смерти. Я почти пел. Я писал поэму первое время, когда был в крепости.

— Всё время один?

— Всё время один.

— Все двадцать один год?

— Я не видел никого, кроме тюремщика.

— Я бы не смог пережить пытку одиночества, — сказал я.

— Вполне возможно, что смог.

— Многие из Ваших друзей умерли прежде, чем Вы получили освобождение.

— Некоторые, да. Некоторые выжили.

— Вы должно быть обижены. Полны ненависти против тех, кто послал вас в эту ужасную крепость. Однажды я видел её издалека.

— Обижен? О, нет, сынок, — его улыбка была завораживающей. — Нет обиды или злобы в моём сердце. И почему должна быть? Да, сынок, после четырёх месяцев одиночного заключения я потерял силу духа. Зима была свирепой. В камере было влажно. Окно, маленькое окошечко под потолком было покрыто льдом. Я не мог видеть реку, эту реку и

небо. Я был молод. Я не был подготовлен к этому испытанию. Я терял рассудок, или думал, что теряю. Ужасная всепоглощающая тишина враждебной крепости. И затем…

— Что затем?

— Затем было чудо.

— Чудо… настоящее чудо?

— Конечно, нет. Нет чудес кроме неистощимой, жизненной силы человеческой души.

— Я Вас не понимаю, — пробормотал я, вконец сконфуженный.

— Тебе и необязательно. Я имею в виду, что почему ты обязательно должен всё понимать?

— Я бы хотел больше знать.

— Это придёт.

— Я перебил Вас?

— Да, перебил. Ты нетерпелив. Твоё нетерпение может принести тебе много несчастий и горя.

— Я знаю. Знаю, — пробормотал я.

— Ты даже будешь нетерпелив умереть, сынок, в спешке.

— Да?

— Что за жалость, жить завтрашним днём вместо сегодняшнего.

— Но в тюрьме, разве вы не жили для завтра?

— Нет. Я не жил, я наслаждался каждой минутой, что был там.

— Но, Вы только что сказали…

— Я сказал, первые месяцы, первый год, а затем я обрёл своё счастье.

— Счастье? В одиночном заключении? Человек, обречённый на медленное умирание…?

— Счастье в звёздах!

— В звёздах?

— Да, в звёздах. Это так просто, это было предназначено. В библиотеке крепости я нашёл книгу по астрономии, старую книгу, великолепно изданную, с небом, звёздами, планетами, и их описаниями. Я был заворожён. Это открыло мой ум, конвульсировавший земными событиями. Сынок, я думаю, что ты поймёшь. Я читал и перечитывал книгу. Я ничего не знал о вселенной, той, которой за нашей планетой. Я попросил разрешения купить телескоп. Недели прошли, пока он прибыл. Я смотрел в небо. Когда было ясно, я входил в совершенно неведомый мир. Внезапно, за одну ночь, положительные эмоции вновь охватили меня. Незначительность нашего существования на земле. Существование нашей планеты и моё собственное,

существование осуждённого человека. Ты наверно не поймёшь.

— Я постараюсь, — запротестовал я.

— За одну ночь я переменился. Моё отчаяние, моя агония изоляции, моя слабость — всё исчезло. Я обрёл покой в душе. Я обрёл желание жить. Все мои несчастья стали незначительными до смешного. Я был нетерпелив проникнуть в тайну нового мира, дотоле неизвестного мне, мира бесконечного пространства и бесчисленных звёзд.

— Я понимаю Вас, я понимаю.

— Нет, ты не понимаешь. Ты когда нибудь задумывался, что-то пространство, которое ты видишь как небо не имеет конца? Солнце — да. Звёзды — да. Но после них разве не должно быть какого-то конца? Днями я был погружён в своё открытие. Я отказался есть. Я даже не мог пить воды. Потом я начал, но это всё не было протестом или выражением недовольства. Я, человек — мельчайшая молекула огромной вселенной бесчисленных звёзд и бесконечного пространства.

Он остановился.

— И…?

— Я продолжал занятия астрономией.

— Я знаю. Я читал, что Вы открыли звезду.

— Да, я открыл, но много позже, после пятнадцати лет пребывания в крепости.

— И, изучая звёзды, Вы забыли о человеческом роде?

— Забыл… и не забыл.

— Как это так?

— Я вошёл в тюрьму, полный жалости к себе. Разве я не был центром вселенной вместе со своей трагедией и страданием тот молодой поэт, которым я был. И затем я начал медленно прозревать, очень медленно: о человеческом роде, о прошлом человеческого рода, Как долго он существовал? Как много людей жило на земле с момента возникновения человека? Я вычислял несколько недель. Я читал книги по антропологии. 80 миллиардов человек жило на земле до того, как я очутился в тюрьме.

— Восемьдесят миллиардов?

— С начала человеческого существования. Сначала я был поражён. Или был я удовлетворён? Целый день я смеялся как сумасшедший. Когда тюремщик принёс мне еду в тот день, я спросил его: «Ты знаешь, Сергей, сколько у тебя предков?» — он потряс головой. Он был тупой как баран. Когда я сказал ему число, он предложил позвать доктора. Я летал от восторга. Я чувствовал себя гордым и сильным. Я принимал уже теперь свою незначительность и молекулярность. «Я муравей! — кричал я. —

Я меньше муравья: безымянная молекула и больше ничего.

— Но…, — я был искренне запутан.

— Ты не понимаешь. Ты слишком молод, чтобы понять мои чувства.

— Нет, нет…, — я умолял, — Я хочу понять, и не понимаю. Звёзды и незначительность нашего существования на земле — это только часть моего мироощущения. Но еще существует и человек, страдающий и одинокий, который должен жить в человеческом мире.

— Ты не прав, сынок. Слушай меня. Я был поглощён своим страданием, своей несчастной судьбой и беспросветным будущим. Пожизненное заключение! Я когда-нибудь выйду вообще на свободу? Увижу ли я своих родителей, друзей, просто мир? Я был так поглощён своим собственным страданием, что ничего другое не имело значения. И внезапно… мое эго было низведено на нет. Я только обнаружил глобальное страдание в прошлом и настоящем человеческого рода. 80 миллиардов людей — это было открытие. Вместо тьмы, окутывавшей меня, я увидел вселенную и себя в настоящих пропорциях. С этого времени я говорил себе: «Живи и борись, борись за свою жизнь! Прими это заключение. Не думай о своём несчастье, создай новую жизнь, новый мир внутри себя!». Я повторял это себе снова и снова: — это работало. Я сделал себе распорядок дня. Каждое утро я делал прогулку внутри камеры, двести раз туда и сюда. Я упражнялся. Я учился, и как я учился! Библиотека крепости — хорошая библиотека. Мне разрешили и, в действительности, сами предложили брать книг, сколько я захочу. Я писал поэмы, я изучал астрономию, я изучил несколько языков. Я был занят как пчёлка. Я был окрылён, почти счастлив.

— Что? Все двадцать один год?

— Да. Моё целое мировосприятие переменилось. Да, я вышел из тюрьмы новым человеком. Обида? Месть? Нет, сынок, я благодарен моей судьбе за это строгое наказание.

Внезапно Морозов поднялся.

— Уже почти утро. До свиданья, сынок.

Он ушёл, оставив меня в состоянии полной ошарашенности. Знаменитый Николай Морозов. Поэт, революционер, учёный-астроном. Человек, который провёл в одиночном заключении почти четверть века, и который вышел из тюрьмы уверенным себе, здоровым, полным энергии и почти счастливым человеком! Человек, который отказался сожалеть о долгих годах, проведённых за решёткой!

Сначала на меня это не очень повлияло. Я почти забыл то, что он так старался подчеркнуть мне. Но постепенно я стал

возвращаться к важности его слов. Постепенно его основная идея овладела моим умом. Что было такого важного в его точке зрения? Я искал подходящее слово — смирение. Это его смирение, его отрицание собственной значительности, полное отсутствие всякого самомнения произвели на меня наибольшее впечатление. Постепенно я начал понимать Морозова и то, что он пытался внушить мне той белой ночью на берегу Невы.

В течение нескольких лет я не видел Морозова снова. Я прочёл, что он опубликовал значительное исследование по астрономии, которое получило положительную оценку в научном мире, и было признано значительным вкладом в наше понимание определённого типа звёзд. Я слышал так же, что он был назначен Директором Петроградской Биологической лаборатории, которую он летом 1918 года преобразовал в Петроградский научный институт им Лесгафта. Я встретил его позже, через несколько лет после моего окончания университета. Однажды я получил приглашение от профессора Метальникова, который тогда ещё, до Морозова, был Директором Петербургской Биологической лаборатории. Приглашение было работать на кафедре микробиологии. Войдя в вестибюль института, расположенного по Английском проезду, я увидел странную картину: уже не молодой человек прыгал туда сюда обратно по ступенькам, ведущим на второй этаж. Он взбирался так быстро и энергично, что я боялся, что он упадёт. Сначала я не узнал Морозова, и он меня тоже не узнал. Я представил себя ему и напомнил ему о нашем разговоре восемь лет назад.

— О, я помню. Нетерпеливый юноша. Я помню.

— Почему вы занимаетесь такими небезопасными физическими упражнениями, могу я вас спросить?

— Вы можете. Доктора нашли, что у меня с сердцем не в порядке. Я просто стараюсь укрепить сердце и тем самым вылечить его.

Морозов продолжал взбираться по лестнице, разговаривая со мной.

— А разве доктора не рекомендуют полный покой при сердечных заболеваниях? — отважился я вставить вопрос.

— Абсурд! Молодой человек. Сердце имеет примечательную способность к регенерации. Дайте ему возможность! Это всё, что ему надо для выздоровления.

Я редко видел Морозова в течение последующих нескольких лет, хотя мы работали в одном здании, принадлежащим институту. Мне говорили, что он пишет книгу, многотомное руководство по астрономии и проводит все своё время в своём кабинете. Пару раз в месяц я видел его в вестибюле, и он

рассеяно улыбался мне, проходя мимо даже не поздоровавшись.

И сегодня, через много десятков лет, после того, как я покинул Россию, когда ностальгия приносит воспоминания прошлого, образ Николая Морозова всплывает передо мной, образ человека, победившего одиночное заключение. Образ человека исключительного мужества всплывает передо мной как живой, как будто вчера я беседовал с ним той белой летней ночью на берегу Невы.

Князь террористов.

Борис Савинков принадлежал Санкт-Петербургу. Преданный сын этого эксцентричного, парадоксального города Савинков, поражённый извращённым интеллектуализмом, находился в поисках вечной любви. Такой герой был описан Достоевским в одной из его повестей ещё за три десятка лет до того, как родился Савинков. Бесстрашный человек, поэт и писатель Савинков стал руководителем революционного терроризма, ответственным за убийство многих высокопоставленных чиновников. Он был русским Робин Гудом, если сравнение будет позволительным. Дворянин, элегантный и красивый собой, игрок в глубине своей души, его жизнь закончилась трагически, как и жизнь того героя Достоевского.

Это было в годы того, что называлось первой русской революцией, вскоре после Русско-японской Войны. Савинков присоединился, а может быть, и организовал террористическую ячейку Социал-революционной Партии (Эсеров). В это время волны революционного движения начали сотрясать Россию. Рабочие забастовки, бунты в армии и студенческие волнения конвульсировали страну. Во время решительного правления министра внутренних дел генерала Плеве, надлежащий порядок был наведён очень быстро, и революционное движение было практически ликвидировано. Именно тогда, когда многие из его членов были отправлены в Сибирь, Эсеры, против своих же принципов, решили развязать террор. Борис Савинков, новичок в партии, был назначен руководить террором, направленным против правительственных чиновников, ответственных за репрессии против революционеров.

В первый раз я встретил Савинкова, когда я был двенадцатилетним мальчиком и ещё не знал его имени, хотя кто тогда знал его настоящее имя? Он пользовался многочисленными псевдонимами. Это был июль, жаркий летний день. Мой отец привёз меня с дачи просто так и оставил одного в нашей городской квартире. Я был не в настроении читать, и изнывал от нечего делать. Поскольку моих друзей не было в это время в городе, я решил прогуляться. Я достиг Английского проезда и

остановился в удивлении — в нескольких шагах от меня странный человек шёл вдоль улицы. Высокий молодой человек около 25 лет возраста, чисто выбритый, с низким, покатым лбом, скуластым подбородком, и длинным, выдающимся носом. У него был шляпа «котелок», белая рубашка с высоким воротником, а также самый великолепный галстук, который я когда-либо видел. Галстук был роскошный, красно-голубой, с цветами и разными дикими животными. На нём был светло-коричневый, плотный, спортивный пиджак из чистой шерсти такой длины, какой русские никогда не носят. Его туфли! Его великолепные коричневые туфли заворожили меня. Они были на толстой подошве и с серой бахромой. Несмотря на жару, на нём были серые перчатки. В своей левой руке он держал изысканную трость с серебряным набалдашником. Кроме этого, он курил трубку огромных размеров.

Несомненно, иностранец, подумал я, наверно англичанин, и решил последовать за ним. Вскоре мы достигли Покровской площади, где находится небольшой скверик. Он сел на пустую скамейку, и с замирающим сердцем я нашёл скамейку поблизости от него. Он сидел спокойно, не обращая внимания вокруг, то и дело, зажигая свою трубку. Скоро моё внимание привлекла группа из трех молодых людей, сидящих на скамье по другую сторону скверика. Они выглядели как студенты, плохо одетые, бородатые и волосатые, каждый из них держал большую сумку. Внезапно мой незнакомец вынул золотые часы. Палец на его правой руке пошёл вверх, и хотя он даже не смотрел в сторону этих трёх людей, один из них быстро встал и вышел из сквера. Через несколько минут он повторил свой знак, и второй бородач вышел. Ещё один сигнал — и третий ушёл. Затем незнакомец спокойно зажёг трубку, как будто между ним и уходом этих трёх человек не было никакой связи. Он ждал пять минут, может быть, дольше. У меня не было часов. Затем он встал и вышел. Я пошёл за ним, соблюдая приличную дистанцию. Он шёл, не спеша в сторону Обводного канала, здесь он замедлил свои шаги. Я замедлил тоже. Мы были недалеко от Варшавского вокзала, и вдруг раздался громкий взрыв. Мой незнакомец побежал. Я за ним. Сколько буду жить, не забуду ужасную картину: трое или больше человек лежали в крови на мостовой. Повозка была разодрана в клочья, и одна из лошадей была сильно ранена. Мой незнакомец подошёл к небольшой толпе вокруг места происшествия и поговорил коротко с полицейским. Очевидно, удовлетворившись тем, что он услышал, он повернул в направлении Садовой улицы, опять идя очень медленно. Он достиг усадьбы Юсупова и встал на мгновение, подзывая

извозчика. Я был достаточно глуп, чтобы подойти к нему и спросить по-английски: «Сэр, вы англичанин?». Он повернулся ко мне, выражение на его лице было маскообразное:

— Как ты смеешь беспокоить меня, глупый мальчик? — Он был груб и в ярости.

Мой английский иссяк. На самом деле я плохо его понял. Поэтому я заговорил по-русски:

— Вы одеты как англичанин.

— Я англичанин, — его русский был безупречен. — Ты что, шёл за мной?

— Да, всю дорогу от Покровской площади.

— Действительно?

— Да, — улыбался я, довольный собой.

— Постарайся забыть, для твоей же пользы.

Извозчик подъехал, и он уехал, не сказав больше ничего.

На следующий день газеты сообщили, что отъехав от своего дома, генерал фон Плеве был убит бомбой, брошенной революционером, который тоже при этом был смертельно ранен. Революционер был позднее идентифицирован как Евгений Сазонов, бывший студент университета и член «боевой ячейки» партии Социал-революционеров.

Спустя семь месяцев, 4 февраля 1905 года в 14:45 Великий князь Сергей, военный губернатор Москвы, был убит взрывом бомбы, когда он отъезжал от своего дворца. Великий князь был сторонником внутренней политики проводимой фон Плеве, убийцей был Каляев — бывший студент.

* * *

Было лето 1917 года. Опять белые ночи были в полном великолепии в Петербурге, который на тот момент назывался Петроградом. Это был год, когда хаос и анархия вошли в человеческую историю. Я прибыл в город с фронта с посланием от премьер-министра Александра Керенского, и поспешил с вокзала в Александровский Дворец, где размещалось демократическое правительство. Встретиться с Керенским было безнадёжно. Его секретарь Борис Флеккель, мой однокашник, так мне и сказал. Никто не знал, где Керенский находится, и очередь на приём была расписана на месяцы. В отчаянии я спустился в вестибюль дворца, и в этот момент высокий человек в форме армейского полковника появился в вестибюле. Несмотря на прошедшие годы, я сразу узнал незнакомца, «англичанина», за которым я подслеживал 13 лет назад.

— Вы не узнаёте меня? — спросил я его.

— Почему я должен? — он не был вежлив.

— Покровская площадь…. Фон Плеве.

— Фон Плеве…?

— Я говорил с вами по-английски.

— Да, да, — он улыбнулся. — Мальчик, который играл детектива. Да, припоминаю… естественно, не вас, мой капитан.

Я был в форме капитана медицинской службы.

— Не вас, а маленького мальчика. Каким вы были тогда, тринадцать-то лет прошло?

Мы вышли к Александровской площади. На площади проходила огромная демонстрация: несколько тысяч, практически только мужчин и всего, может быть, несколько женщин, ходили вокруг памятника Александра Первого. Было несколько матросов, некоторые с ружьями и несколько рабочих, но в основном, это были дезертиры с фронта. Перед ними несколько человек специфического вида с длинными и чёрными волосами и бородами держали огромные портреты Ленина и Троцкого. Было множество красных флагов и плакатов «Долой Войну» или «Мы хотим немедленного мира», «Долой империалистическую войну», «Долой правительство лакеев Уолстрита»[1].

Демонстраторы пытались петь «Интернационал», но звучало довольно гнусно.

— Наша нереальная демократия в действии, — с горечью заметил Савинков.

— «Они выглядят довольно безобидно, — заметил я.

— Не обманывайте себя, это только начало. Тысячи дезертиров прибывают с фронта в Петербург каждый день, а правительство говорит нам, что демократия — это свобода подстрекательства, бунтов и беззакония. Они отказываются принимать меры. Заговор уже в полном развитии.

— А Керенский?

— Как я ненавижу этого самодовольного бахвала.

— Его популярность….

— Да, популярность. Он может сказать. И как сказать! Но он не может или не хочет действовать. Всё, что он говорит — это воздух.

— Но Вы как член Правительства…..

— Уже больше нет. Этим утром я подал в отставку как заместитель военного министра.

— Этим утром…? — я был ошеломлён.

— Да, этим утром. Это безнадёжно. Я человек действия, а не оратор.

Мы пошли медленно в сторону Летнего сада, и нашли пустую

скамейку недалеко от Невы. Летний сад был полон людей в этот тёплый летний день. Дети играли в игры, бесчисленные парочки брели, взявшись за руки. Смех, поцелуи, то там, то тут. Пожилые люди дремали или читали газеты или книги, или просто болтали друг с другом.

— Вы видите? Они даже не обеспокоены демонстрациями, заметил я.

— Это трагедия народа во время политического кризиса. Они отказываются воспринимать опасность их каждодневному существованию. Их все устраивает.

Мы сидели молча несколько минут.

— Как я люблю старый Петербург! Я страдаю от предчувствия, что его мистическая сущность будет уничтожена.

— Почему…

Он перебил меня.

— Почему я стал террористом? Это вы хотели бы знать?

— Да, — я удивился.

— Это была судьба, наложенная на меня моими собственными наклонностями.

— Вы были революционером. Вы до сих пор им остаётесь.

— Нет. Я не революционер и таковым не являюсь. Я слишком хорошо знаю, что за каждой революцией следует реакция, разве это не основной закон живой материи?

— Да, до сих пор…

— Однажды мальчиком я прочел книгу. Не помню, была ли она английская или французская. Это была сказка о Робин Гуде. Я чувствовал также как и Робин Гуд, я чувствовал, что судьба выбрала меня для мести наказать тех, кто безжалостно убил тысячи людей во время реакции. И когда я присоединился к террористической организации, я не думал о революции и об её успехе, но только о моей обязанности отомстить за тех, кто отдал свою жизнь за свои убеждения.

— Довольно странно.

— Не так странно, как вы можете думать.

— Вы испытывали угрызения совести за десятки убитых людей?

— Угрызения совести? Я не знаю такого чувства. Я был горд за себя, и до сих пор горд.

— Если бы вы жили в спокойное время, чем бы вы занимались?

Он улыбнулся. Это была широкая и весёлая улыбка.

— Я бы писал поэмы и книги. Вы знаете, в тот самый день когда вы меня видели, после убийства Плеве, я сменил мои шикарные английские одежды на рваньё, переехал в затрапезные

номера, и не видел никого два месяца, проводя всё время упражняясь в писательском искусстве. Это было чудесное время, я был счастливейшим человеком.

Он посмотрел на часы.

— Я должен идти. Я должен найти Керенского. Я знаю, где он должен быть. Среди его многочисленных слабостей он ещё и любитель барышень. Прощай.

Он не пожал мою руку и пошёл быстрым шагом.

Скоро я узнал из газет, что Борис Савинков состоял в заговоре со знаменитым генералом Корниловым, героем мировой войны. Они хотели сбросить импотентное правительство Керенского, чтобы спасти Россию от коммунизма. Корнилов был арестован, но Савинкову удалось бежать во Францию. Через семь лет после нашей встречи в Летнем саду я встретил его при любопытных обстоятельствах.

* * *

В Монте-Карло я направлялся в Аквариум и проходил через казино. В рассеянности я обозревал рулетку и играющую толпу, когда моё внимание привлёк человек за одним из столов, который много выигрывал. Его спокойствие и индифферентность к удаче удивила меня, он был вроде тут, но его мысли, очевидно, были в другом месте. Я сразу узнал его — это был Савинков.

Я долго стоял, наблюдая игру. Он не видел меня. Его ставки были высоки, и он играл безрассудно, как бы, чтобы специально проиграть. Но удача не покидала его. Он выигрывал снова и снова: на красном, на чёрном, на зеро, против всех шансов, и затем он остановился. Он собрал фишки, повернулся и его глаза встретились с моими. Он улыбнулся, но его улыбка была грустной, почти безнадёжной.

— Нет шансов, я пришёл сюда, чтобы спустить мой вчерашний выигрыш, но у меня не получается. Это плохо.

Я не понимал, что он хочет сказать. А он пригласил меня в бар на террасу, и пока мы пили шерри, он начал говорить.

— Я раздражён….. Я чувствую себя не в своей тарелке.

Его манера говорить была как бы не его, как я запомнил из предыдущих встреч. Он плохо контролировал себя.

— Каждый игрок хочет выиграть.

— Но только не я.

— Но деньги-то вам нужны?

— Дело не в деньгах, это мои предчувствия.

— Что? Я полагал, что вы не верите в предрассудки.

— Это совсем другое: я сделал выбор, если я проигрываю все мои деньги, то я не буду возвращаться в Советскую Россию.

— Вы — самый бескомпромиссный враг коммунизма, почему вам надо ехать или не ехать в Советскую Россию?

— Это непросто….

— Пожалуйста, объясните.

— Мои предчувствия говорят мне, что если я счастлив в игре, то моя поездка в Россию закончиться провалом. Катастрофой.

— Я понимаю.

Но я не был уверен, что понимаю его.

— Вы полагаете, что если вы проиграете все деньги, то ваша поездка будет успешной?

— Правильно. Или, по крайней мере, моё предчувствие так мне говорит.

— Что вы собираетесь делать в Советской России?

— Конечно, я поеду инкогнито. Я организую террористическую ячейку и попытаюсь убить Сталина.

У меня не было слов, чтобы охарактеризовать этот безумный план.

— Вы отдаёте себе отчёт, что Чека работает гораздо более эффективно, чем царская охранка?

— Я знаю, риск есть, я допускаю… но мне всегда сопутствует удача.

— А теперь?

— Я не хочу ехать. Это самоуничтожение, но я должен ехать!

— Должны?

— Да, потому что я сделал выбор.

— Что-то вроде русской рулетки.

— Да… вроде этого.

— Но, что Вас вынуждает принять такое решение, основанное на таких странных предпосылках?

Он немного замялся.

— Наверно, я устал так жить, как я живу сейчас: никакой цели, никакого смысла, просто плывя по течению.

— Или может быть у Вас ностальгия?

— Не знаю, не знаю, — в его голосе было отчаяние.

Я почувствовал в нём такую депрессию, что переменил тему разговора.

— Вы пишите? Ваши стихи?

Смущённо улыбаясь, он кивнул.

— Я пишу много стихов, все они неважные.

— Пожалуйста, покажите мне, у Вас есть с собой?

Он опять кивнул, вынул из внутреннего кармана белый конверт.

— Давайте сначала выпьем шампанского, а потом я прочту вам.

Его настроение переменилось, он стал более собой, хотя и не вполне. Он прочёл несколько стихотворений, видимо, написанных недавно, некоторые на русском, некоторые по-французски. Все были грустные. Два из них тронули меня за больное место.

Дай мне немного нежности.
Моё сердце закрыто.
Дай мне немного счастья.
Моё сердце забыто.
Дай мне немного покорности.
Моё сердце как камень.
Дай мне немного жалости.
Моё сердце ранено.

И

Je ne vois plus rien
J'ai perdu la memoire
Du bien and du mal
O' la triste histoire

— Дайте больше шампанского.

— За …., — начал произносить я.

Но он перебил меня:

— За наше прошлое…., но не за наше будущее.

В августе Савинков перешёл границу Советской России недалеко от старой Австро-венгерской границы. Его схватили, как только он сделал первый шаг на советской земле. Его доставили в Москву, судили судом военного трибунала и приговорили к пожизненному заключению в лагерях. В Советских газетах ликовали: «Подлая собака, шпион Уолл стрита, схвачен!».

Газеты опубликовали признание Савинкова. В соответствии с этим признанием, которое всегда вызывало сомнение в смысле подлинности, он признавал свою вину, раскаивался и восторгался Советским режимом.

Через несколько недель, меня достигли новости, что Савинков покончил с собой, выпрыгнув из окна четвёртого этажа Лубянки. Уже в то время эта версия казалась сомнительной.

Может быть, его предали друзья, когда он переходил границу? Как его убили? Сознался ли он? Всё это остаётся неизвестным уже многие годы спустя его смерти. Возможно, это

было предопределено, чтобы он вернулся в Россию и умер такой насильственной смертью.

Ревнивый пуританский учёный.

Преступление доктора Леонида Озолина вызвало огромное возмущение не только в Петербурге, его родном городе, но и вообще по всей стране. Общественное мнение требовало смертной казни: «Это не человек, а зверь, чудовище, безумный, которого необходимо изъять из нашего общества».

* * *

«Человек, принадлежащий к медицине должен посвятить свою жизнь служению человечеству». Его слова звучали как молотком по голове. Он не спорил и не обсуждал свои утверждения. Это были аксиомы, незыблемые и окончательные. Мы, медицинские студенты, протестовали молча, но мало кто из нас имел мужества отстаивать своё мнение кроме Антонова, преподавателя патологии. «Почему медики должны жертвовать свои жизни на благо человечества? Почему не юристы или инженеры или другие белые воротнички. Почему?» Ответ? Его не было. Доктор Озолин игнорировал вопрос коллеги. Внезапно он переменил тему разговора. Новая тема — прогресс в микробиологии, в которой он специализировался. Он был преподавателем микробиологии в Военно-Медицинской Академии.

Это была моя первая встреча с ним. Он пригласил меня вместе с другими свежевыпеченными медиками на свою квартиру для знакомства.

Озолина уважали, но не любили. Мои друзья студенты посещали его ежемесячные вечеринки со значительной неохотой и неудовольствием. Они называли его в шутку «Кальвинистом». Он не курил и не пил. Он возражал против любого отклонения от его строгих правил. В определённом смысле он был анахронизмом Санкт-Петербурга, города волнующегося эмоционализмом, терпимостью к человеческой слабости и греху, враждебностью ко всем жёстким нормам и аристократическому этикету. Город, часто с экстремальным пониманием человеческой свободы.

Он родился в Санкт-Петербурге. Его отец, латыш, был успешным предпринимателем, и русская мать, которая умерла в его раннем возрасте. Озолин унаследовал каменное упорство от

своего отца, а особенное одиночество — от своей матери. Я один среди студентов не испытывал к нему неприязненных чувств. Он отвечал тем же, хот и не без некоторой резервации. Время от времени я забегал к нему, и мы бродили вместе по берегу Невы. Он был молчун, часто мы обменивались только парой слов во время долгой прогулки. Он никогда не спрашивал меня ни о моих планах, ни о моих убеждениях, ни о моих мечтах. Он редко улыбался.

— Вы никогда не улыбаетесь, — как-то спросил я его.

— Я не имею права улыбаться.

— Почему?

— Я ношу в себе семена разрушения.

— Я не верю в это, — запротестовал я.

Он не ответил, но внутренне я почувствовал, что в этом есть правда.

Его квартира была на четвёртом этаже старого здания на Мойке. Это была сама простота: ни ковров, ни диванов, только несколько стульев и кресел. Его спальня была маленькой и обставлена только тумбочкой, ночным столиком и небольшим встроенным шкафом. Не было ни картин, ни гравюр, а только бесконечные книжные полки с медицинскими книгами в гостиной. Ни одного детектива или художественной книги, или поэзии, или биографии. У него не было служанки, он сам готовил для себя.

— В основном хлеб и молоко? — я сделал предположение.

— Нет в основном мясо, — он снова не объяснил.

Я никогда не спрашивал его о семье. Только много позднее я узнал, что у него есть брат — успешный юрист, который жил в Санкт-Петербурге. Он редко встречался с братом. Они были чужие друг другу, собственно как и большинство его сослуживцев. Как-то он допустил, что может быть только ко мне, он испытывает некоторую степень привязанности. «Да, — он повторил своим чётким, ясным голосом, — определённая привязанность». Я тоже симпатизировал ему в ответ. Были мы друзьями? Я сомневаюсь в этом. Но больше чем что-либо другое, я хотел быть его другом. Я хотел говорить с ним запросто и помочь ему, я был очень молодым человеком. Была это жалость с моей стороны или обожание? Я не пытался анализировать свои чувства к нему, однако, всякий раз, когда я поднимался по ступенькам, ведущим к его квартире, я чувствовал некоторое возбуждение и предвосхищение.

Одним вечером, ужасным и холодным, мы остановились у Исаакиевского собора. Улицы были покрыты глубоким слоем снега. Весь город был белым.

— Запомни этот вечер. Этот момент, — пробормотал он.

— Почему?

— Я знаю теперь, жизнь готовит мне нечеловеческие страдания.

— Как Вы…

— Стоп, не говори ничего, не спрашивай. Сейчас мне это открылось, вот сейчас…..

При ярком свете луны его лицо светилось. Он улыбался. С его белыми волосами, со снегом, падающим на его голову, он казался мне делающим вызов своей судьбе.

Идя обратно, мы шли быстро, как бы в спешке. «Да… да…, — сказал он, когда мы достигли его дома, — Случайность управляет нашими жизнями, что за катастрофа!».

Он не пригласил меня присоединиться на чашечку чая перед сном, как он это иногда делал в схожих ситуациях. В полуоткрытой двери он остановился: «Как мало слов было сказано между нами, как много несказанного".

В конце семестра Озолин был назначен ассистентом профессора по инфекционным болезням. Его работы по защитным механизмам против инфекции были признаны важным вкладов в этой области. Я не видел его несколько недель, пока не услышал слухи, что он увольняется и уезжает в экваториальную Африку.

Я зашёл к нему в этот же вечер. Он был рад видеть меня: «Я ожидал увидеть тебя». Он упаковывал свои книги, методично, как и всё, что он делал.

— Почему…?

Он не ответил.

— Мне будет не хватать тебя.

— Не надо…

— Что наша дружба была шуткой? — я рассердился.

— Я должен… некая сила толкает меня на трагический путь.

Я поднялся и пошёл к двери.

— Не обижайтесь на меня, мой дорогой друг, — он подошёл и обнял меня.

— До свиданья Леонид.

— До свиданья мой друг, я увижу тебя снова.

Месяцы не было никаких известий от Озолина. Затем прошло сообщение, что микроб, вызывающий туберкулярную проказу, был выделен нашим преподавателем. Блестяще написанный, с шикарными иллюстрациями и слайдами доклад был доложен на нашем ежемесячном симпозиуме. Сам, он находился в каком-то бельгийском госпитале в Конго, где было возможным проводить исследования. Ещё через несколько месяцев другое сообщение достигло нашего деканата, оно было послано из Брюсселя: «Я

возвращаюсь в Петербург. Я женился на русской девушке, которая училась здесь». Он даже не назвал им своей жены.

Мы все были в восторге, не столько, что он возвращается, как то, что он женился. Невероятно! Возможно, старая дева, синий чулок, как и он.

Мы жестоко ошибались. Скоро стало известно, что Озолин женился на дочери известного профессора университета Игоря Дарманского. Он был профессором криминального права, один из выдающихся юристов своего времени. А я был близким другом юного Дарманского, моего товарища по медицинскому институту.

«Невероятно!» — была наша общая реакция. Многие из нас знали Валерию Дарманскую — весёлая, жизнерадостная, обаятельная она дружила со многими студентами. Она была, как раз экстравертом и образована, несмотря на свою юность. «Это безумие! — была наша единодушная реакция. — Он настолько старше её, этот наш Кальвинист».

Циркулировали слухи, что её родители, известные своим гостеприимством, были не в восторге от этого брака.

Кода я в следующий раз зашёл к Дарманским, профессор спросил меня:

— Я слышал, что Озолин ваш друг?

— Да. Видимо.

— Он хороший человек. Леонид Озолин?

— В принципе, я знаю его только поверхностно, — допустил я.

— Блестящий учёный…. Прекрасный врач я слышал.

— Да, это действительно так.

— Что меня беспокоит….. Сможет ли он сделать мою дочь счастливой?

— Профессор…., как это можно предугадать?

— Я знаю. Знаю. Это иррационально, но как вам кажется? Вы знаете Валерию, какая она прекрасная, добросердечная девушка. Она наделена таким порывом к счастью. Вы знаете его… вы часто с ним говорили…. Какое будет ваше предварительное суждение? Пожалуйста, будьте со мною искренни.

— Я сожалею, что ваша дочь вышла за него замуж, — сказал я и сразу же пожалел об этом.

— Я благодарю вас за вашу искренность. Это нелегко было для вас.

* * *

Через две недели Озолины прибыли в Петербург. Её родители

дали великолепный приём: был оркестр, танцы, шампанское. Озолин выглядел счастливым и даже иногда улыбался. Однако, Валерия, душа любой компании, была сдержана и как-то подавлена.

— Мои поздравления. Валерия, — я нашел момент, чтобы заговорить с ней. — Леонид — прекрасный человек.

— Да… а что нет?

— Он немного несоциальный, — сказал я.

— Но он гений…. Я должна помочь ему, я помогу ему. Он посвятил себя науке, я пожертвую жизнью ради этого.

— А вы должны? Ваша жизнь….

— Да! Как мадам Кюри….. Вместе…. Это и есть истинная любовь…. Самопожертвование…

— Самопожертвование? — запротестовал я, — Это не истинная любовь — это заместитель.

— Я чувствую в внутри себя потребность пожертвовать ради человека, которого я люблю.

— Абстрактная любовь, подобие любви, — настаивал я.

— Не пытайтесь разрушить мои понятия счастливого брака.

— Ваши иллюзии…

Она резко оборвала разговор:

— Во всяком случае, поздно анализировать мои чувства, — её улыбка была жалкой, её энтузиазм невесты уже был едва заметен.

Мы ожидали, что Озолин вернётся в военно-медицинскую академию, и будет продолжать работать там. Для Дарманских было шоком узнать, что Озолин отказался возвращаться в академию и вместо этого уезжает главным врачом маленькой инфекционной больницы, расположенной на малюсеньком островке около Риги. Это была больница для неизлечимых больных. Это давало ему возможность экспериментировать с их лечением.

Был декабрь. Три месяца спустя после того, как Озолины уехали в Аренсбург, Дарманские пригласили меня на ужин. Кроме родителей был их сын Олег, и Валерина двойняшка — Марианна — законченный пианист.

— Я … Мы так рады, что наши страхи, по-видимому, оказались напрасными, — профессор сиял, встречая меня в прихожей. — Наша Валерия пишет письма, полные восхищения и удовлетворения. Она помогает мужу собирать библиографию для его работы и переводит немецкие и французские статьи.

— И он, конечно, эксплуатирует её энтузиазм, — Олег внёс нотку скептицизма в оптимизм отца. — У них нет служанки, а только приходящая уборщица. Вы видите, он очень демократичен, чтобы использовать слуг, но не настолько демократичен, чтобы

прекратить использовать свою собственную жену как служанку. Отвратительно….

— Они никуда не выходят, — добавила Марианна. — У них не бывает гостей. Она только наедине со своим гением-мужем, поглощённым в свою работу.

— Дети, прекратите. Вы очень придираетесь к своему родственнику.

— Я отказываюсь воспринимать его как своего родственника. Он узколобый эгоист.

Дарманские были счастливой семьёй. Можно было чувствовать тесные отношения между родителями и детьми. Все они живо интересовались всеми культурными и артистическими событиями. В их доме всегда было полно народа, часто неприглашённого, но всегда приветствуемого. В них все была искренняя радость жизни и инстинктивное желание принести счастье каждому.

Они всегда собирали средства для помощи больным и бедным студентам, они рассматривали это как часть своего существования. Видя их такими свободными в своих проявлениях чувств, такими человечными в своих реакциях, в противоположность поведению Озолина, внезапно мне стало неспокойно за судьбу Валерии. Как иррациональна эта женщина: интеллигентная, образованная, способная, и как ей управляют какие-то слепые иллюзии!

* * *

Они были женаты уже около года. Было позднее лето, почти осень. Северный ветер уже гулял по берегам Невы. В эти последние недели лета, когда мои уже собирались возвращаться с дачи, неприятные новости дошли до меня. Нет, не о Валерии. Доктор Денисов, медицинский проверяющий по Рижской области, был в больнице в Аренсбурге и был очень недоволен поведением доктора Озолина. «Он был очень груб со мной, — жаловался Денисов нашему декану, своему близкому другу. — И, в действительности, очень груб к своему больничному персоналу. Не выдержан, отказался доложить о своей работе, как ему положено. Никогда за двадцать лет работы я не встречал такого поведения. Я отказался даже попрощаться с ним. Я пишу рапорт в министерство с рекомендацией направить комиссию, чтобы уволить его если необходимо».

В начале сентября я получил срочный звонок от профессора Дарманского, чтобы я пришёл к нему на работу.

— Что-то там не в порядке, — сказал он мне. — Валерия перестала нам писать несколько недель назад. Сначала мы не волновались, мы полагали, что они просто счастливые молодожёны. Но вчера пришло письмо, и оно было не от неё. Это не её почерк. Штемпель «Аренсбург». Небольшой клочок бумаги, и всего несколько строчек: «Ситуация невыносимая. Валерия в опасности. Помогите!». И подпись: «Её друг».

— Как вы считаете, почему Валерия сама не написала письмо? — спросил я его.

— Ну откуда я могу знать. Её гордость?

— Возможно.

— Или её муж не даёт ей писать письма.

— Тоже возможно.

— Я удивляюсь, — он начал. — Вы его друг. Вы единственный, с кем он может говорить. Он будет с вами разговаривать?

— Я не уверен, он несловоохотлив.

— Но вы также и друг нашей семьи. Если бы вы сделали одолжение для нас…. Все издержки будут оплачены.

Мне не хотелось связываться с этим делом.

— Я, собственно, никогда не был его интимным другом. Он мог быть со мной также груб, как и с Денисовым.

— Да, — согласился Дарманский, — Но есть Валерия, она могла бы поговорить с вами. Вы ей импонируете. Она бы говорила с вами более свободно, нежели со мной. Если она в опасности — вы могли бы привезти её домой.

* * *

Больница была белым двухэтажным зданием, окружённым высоким забором. Ворота были закрыты с надписью «Опасно для жизни». Я размышлял, где живут Озолины. В нормальной ситуации ни один доктор не позволил бы своей семье жить рядом с инфекционной больницей.

Но видимо правила были писаны не для Озолина. Как оказалось позднее, Озолины жили в маленьком домике на больничной территории.

Я попросил видеть Озолина. «Его сейчас нет, — сказал неулыбчивый дежурный. — Он поехал в Ригу за медикаментами». Едва он закончил предложение, как дверь приёмной распахнулась, и молодой человек в белом халате вбежал в приёмную: «Вы из столицы?». Я представился и объяснил, что профессор Дарманский просил меня выяснить, что происходит с

его дочерью.

— Да, да. Пройдёмте в мой кабинет… Фёдор Лукович, — представил он себя. — Патолог и микробиолог. Я не имею отношения к больным. Я даже рад этому, — и продолжая полушёпотом, — Как повезло, что нет Озолина. У меня есть шанс рассказать, что происходит. Ужасно! Пожалуйста, не говорите Валерии, я имею виду госпоже Озолиной, что это я написал письмо, в результате которого вы приехали. Я тут около четырёх лет. До Озолина тут был доктор Конов, который ушёл ассистентом к профессору Омельянскому в Московский университет. Сначала всё было нормально. Конечно, не особенно приятно с ним работать. Но терпимо. Иногда он приглашал меня на ужин к ним домой, но не часто, пару раз в месяц. Она — необыкновенный человек. Она весёлая, общительная, у неё прекрасный голос. Я играл на фортепиано, и мы пели русские песни, проводя вечера. Её муж, вроде, не возражал нашим попыткам как-то оживить существование в этом ужасном месте. Но затем сразу всё вдруг переменилось. Я не знаю, что между ними произошло, но больничная прислуга Люба сказала, что Валерия плачет каждую ночь, что он очень груб с ней, и что он даже бил её. Она днями ходит опухшая, под глазами круги. Он никого не приглашает в гости и перехватывает все письма. Они не приглашали меня уже месяцев восемь. Люба говорит, что он запирает её в ванной, пока он на работе. Неделю назад, когда Озолин был в Риге, я влез к ним в дом через окно. Валерия выглядела ужасно: бледная, истощённая. Но она отказалась говорить со мной.

— Давайте пойдём к ней, — предложил я.

— Вы лучше идите один. Я не то, чтобы боюсь Озолина. Я хоть сейчас уволюсь, но возможно, Валерия лучше будет разговаривать с вами.

Я согласился. Лукович проводил меня до дома Озолиных, где он меня и оставил. Хмурая женщина средних лет открыла дверь.

— Госпожа Озолина дома? — спросил я.

Она замешкалась:

— Нет… её нет.

— Не говорите не правду, — я терял выдержку. — Она дома. Проводите меня к ней.

— Господин Доктор велели никого не пускать к ней.

Я оттолкнул её в сторону:

— Её родители велели мне видеть её.

— Её комната закрыта. У меня нет ключей. Господин Доктор берёт их с собой, когда уезжает.

— Он сумасшедший, — я уже был злой.

Не обращая внимания на несчастную женщину, я прошёл через гостиную и маленькую столовую. В конце была дверь, которая могла быть от комнаты Валерии.

— Валерия! — позвал я. — Ты здесь? Твой отец послал меня.

— Он… он приехал? Я не могу выйти из комнаты. Она закрыта. У Любы есть ключи…. Скоро Леонид возвращается, — она плакала. — Спасите меня, пожалуйста.

— Давайте сюда ключи или я зову полицию! — потребовал я у женщины.

Испуганно, она взяла ключи из кармана и открыла дверь. Валерия, худая и бледная, бросилась ко мне: «Спасите меня…. Я теряю рассудок… Он сумасшедший, сумасшедший… сумасшедший…».

— Так что, я сумасшедший? — Озолин стоял в дверях. — Ты, сука, смеешь называть меня сумасшедшим?».

И он сделал движение, как бы намереваясь ударить её. Я схватил его за руку и вытолкнул из комнаты.

— Ты не имеешь права вмешиваться в мои семейные отношения.

— Ты сошёл с ума, Леонид. Ты живёшь не в шестнадцатом столетии. Она имеет такие же права, как и ты. Она не твой раб или собственность. Одно слово её отца, и тебя уволят и посадят за жестокость или запрут в сумасшедший дом.

Я толкнул его на диван:

— А теперь говори, что это всё за бред?

— Дай мне выпить.

Я нашёл бутылку водки и налил ему. Он выпил залпом. Его руки тряслись, его глаза были красные, а лицо опухшим.

— Не знаю. Знаю ли я?

— Говори медленно.

— Говори!… Я давно разучился говорить.

— Выпей ещё.

Он начал. Медленно. Еле-еле.

— Я хотел чистоты. Всю свою жизнь я мечтал встретить девушку высшего целомудрия. Моя жена, мой товарищ по работе, мой друг, полное внутреннее взаимопонимание. Средняя женщина с её чувственностью вызывала отвращение во мне. Я ненавидел их, всех женщин, кроме одной, которую искал. И я нашёл её. Наивный и глупый человек я был. Она явилась мне, как ангел с поднебесья. Она хотела быть моим ассистентом, моим другом. Она верила в мой гений. Да, я был самым счастливым человеком на земле. Чистое целомудрие. Человек, а не женщина.

Он выпил ещё.

— И…., и …. Я не могу сказать… Первая ночь. Вместо

чистоты — пропасть страсти. Она разбудила во мне все бестиальные инстинкты, которые, мне казалось, давно забыты. Занимаясь с ней любовью, в первую святую брачную ночь, я был вынужден неизвестной силой мучить её, причинять ей боль, физическую боль. Эта дьявольская страсть давала мне фантастическое удовлетворение, как будто дьявол овладел моей душой. Я не целовал её. С её стороны тоже не было нежности — только животный экстаз. Я кричал как дикое животное.

— А на следующий день?

— Да, на следующий день мы были лучшими друзьями. Разговаривали о моей работе, науке, философии, а ночью — то же самое безумие. Я был ошеломлён: вместо рая — преисподняя.

— Как долго это продолжалось?

— Несколько месяцев. И затем я заметил, что Валерия воспламенилась моим ассистентом, этим не очень хорошо выглядящим молодым человеком. Они вместе катались. Они вместе распевали романтические песни в моём присутствии. С ним она была весёлая, игривая и ещё более привлекательная, чем раньше. Была ли она его любовницей? Я не знаю, мне наплевать. Я не знаю, любит ли она меня, больше чем его. Но это уже было через чур. Я прекратил связь с нею. Я перешёл в другую комнату. Мы перестали быть близки друг другу, и моя ненависть к ней росла с каждым днём.

Он выпил ещё водки. Бутылка была почти пуста. Он закрыл лицо руками и пробормотал: «Я все ещё люблю её». Через минуту он очнулся. Он был снова сам собой:

— Это всё её вина. Она грязная, животная сучка. Это через неё я потерял свою чистоту, мою веру в чистоту, в человека.

— Озолин, вы — монстр. Нет никакого оправдания вашему поведению и вашим садистским устремлениям. Вы не имеете права оставаться членом медицинской профессии. Я забираю Валерию к её родителям.

— У тебя нет никакого права на это. Она моя жена. Я не дам ей разрешения уехать, а у тебя нет юридических прав.

Вместо ответа я позвонил профессору Дарманскому. Я объяснил ему, что ситуация хуже, чем мы думали, и необходимо обратиться в полицию для защиты её от мужа. «Кто-то должен сопровождать её в Петербург». Я обещал оставаться с ней, пока не прибудет полиция и административное распоряжение. «Время дорого, каждый час, что она остаётся здесь, приближает трагедию».

Озолин продолжал сидеть в кресле и пить водку. Когда я закончил разговор, он заорал: «Всё это бесполезно. Валерия никогда меня не оставит».

Он вышел и, очевидно пошёл в больницу. Я провел вечер с Валерией, пытаясь успокоить её. Мы разговаривали о её родителях, и какие прекрасные они люди, и как их все уважают.

— Ваш брат очень волнуется за вас…. Он не любит Леонида, и ваша сестра, какая она необыкновенно привлекательный человек.

Постепенно Валерия как-то успокоилась.

— Он очень жестокий человек, Леонид. Как вы считаете?

— Может быть, он болен. Что-то вроде нервного срыва?

— Да, да этого-то я и боюсь.

— Вы его любите?

— Ужасно, — она согласилась. — До того, как мы поженились, всё было как в сказке. С моей ранней юности я мечтала посвятить свою жизнь важному делу. И он пришёл — воплощение моей мечты, гений, учёный, который влюбился в меня и попросил стать его женой, его ассистентом и работать с ним рука об руку.

— А потом?

— Я просто в ужасе… такой жестокий…. такой грубый.

— Тем не менее…

— Я всё ещё люблю его. Возможно, я была чересчур наивна. А когда его жестокость стала непереносимой, я растерялась. И тем не менее… я всё ещё люблю его. Нет, это не любовь, а жалость.

Я посоветовал ей запереться на замок и забаррикадироваться мебелью.

— И закройте все окна.

Я решил переспать в комнате для гостей. «А завтра мы едем в Петербург, домой».

Я очень устал и сразу уснул. Внезапно я был разбужен воплями и криками «Помогите! Помогите!»

Не прошло и минуты, как я был в Валериной комнате. Дверь была открыта. Комната освещалась ночным светом. Она лежала на полу около кровати. Везде была кровь. Её голова была разбита тяжёлым предметом. Её руки и ноги были переломаны. Она была мертва, однако её тело было ещё тёплым. Озолина не было в доме. Я позвонил в полицию и её отцу.

Утром дежурный пришёл в палату и нашёл Озолина спящим на пустой кровати рядом с заразным больным.

Суд был назначен на начало мая 1914 года. Озолин был самоуверен. Он не выразил никакого сожаления, не дал никакого объяснения тому, что он сделал. Сначала он отказался от адвоката. «Празднословные болтуны, я сам буду себя защищать», — заявил он прокурору. Своему брату, который был адвокатом, он грубо сказал: «Почему ты вообще пришёл сюда?

Ничего хорошего из этого не получится. Ты уже проклял меня в своём сердце, ты и твоя жена. Ничего хорошего не будет из твоей защиты». И повернувшись спиной к брату, он потребовал: «Я хочу обратно в камеру». Однако он согласился, чтобы брат стал его адвокатом.

Брат устроил экспертизу известного психиатра Бехтерева. Экспертиза кончилась ничем: Озолин не только объявил себя совершенно здоровым, но и то, что он не действовал в состоянии аффекта; и добавил, что он убил бы её второй раз, подвернись ему такая возможность. Он успел даже оскорбить Бехтерева:

— Психиатрия наука? Ха! Ха! Это собрание глупых анекдотов и иррациональных заключений.

— Я не в состоянии как положено, обследовать пациента и соответственно не могу дать никаких заключений, — констатировал Бехтерев.

— Но может быть, у Вас есть какие-то предположения?

— Если он вменяем, тогда он самый отвратительный убийца, который когда-либо существовал. Его душа черна как у дьявола.

Заседание уголовного суда Курляндии открылось в Аренсбурге 2 июня, в прекрасный тёплый день.

Озолин, в тёмном костюме, белой рубашке и чёрном галстуке, был очень спокоен. У него был вид, как будто его это не касается.

— Подсудимый! — председательствующий позвал его.

Озолин встал.

— Ваше имя?

— Леонид Клементьевич Озолин, тридцати одного года. Доктор медицины, — его голос был спокойным, а его слова громкими и ясно произнесёнными. — Православный, женат, детей нет.

— Был женат, — поправил сурово судья.

Озолин пожал плечами.

— Если вы предпочитаете…? Что за разница.

— Вы обвиняетесь в убийстве своей жены Валерии, урождённой Дарманской.

— Не виновен!

— Не виновен? Вы отказываетесь признать свою вину? — потребовал судья, почти рассердившись.

— Это было необходимое преступление, — и он сел на место.

Его утверждение вызвало сенсацию Толпа, которая понаехала с материка, переполняла комнату заседаний. Особенно много было журналистов и врачей. Каждый уже давно вынес вердикт по этому поводу. Женщины особенно негодовали.

Доктор Котомкин, судмедэксперт, прибыл на место убийства

в 3 ноль-ноль вместе с ассистентом. Они нашли жертву, лежащей на полу спальной. Она была одета в японский халат, который был порван в клочья. Её лицо ещё носило отпечаток ужаса. Её руки и плечи были покрыты ранами и кровью, один глаз отсутствовал. Её горло показывало, что её душили. Она, очевидно, была изнасилована. Тело было изуродовано так, как ни один из судмедэкспертов ещё не видел.

Начальник полиции Кантаров, который прибыл на место преступления вместе с судмедэкспертами, дал первый допрос подсудимого.

— Я нашёл господина Озолина сидящим перед зеркалом в ванной. Он только что побрился. Выражение его лица было необычным — как каменная маска. Он спокойно и вежливо предложил мне подождать, пока он закончит бриться: «Одну минутку, я вас прошу, я чувствую себя не в своей тарелке, когда я не побрит. У меня все вещи собраны, и я готов отправиться с вами в тюрьму». Я спросил его, кто убил его жену. «Конечно я, разве есть какие-то сомнения?», — спокойно заметил он. «Почему Вы её убили?». «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Это было так предопределено».

Настала моя очередь. Когда я подошёл к свидетельской стойке, Озолин крикнул: «Не предавай моё доверие!».

— Подсудимый! — судья призвал его к порядку.

— Я извиняюсь, господин судья!

Я кратко рассказал историю своей дружбы с Озолиным, описал его вовлечённость в научную работу и его преданность медицине. Я подчеркнул, что он оставил престижное место ради работы в дикой Африке.

— Вы можете охарактеризовать Доктора Озолина как одержимого человека? — спросил меня прокурор.

— «Да. Так можно сказать. Он считал себя гораздо выше своих коллег, но он никогда и никого не оскорблял. Да, он был одержимым человеком.

— Что Вы можете сказать об убитой?

— Она была удивительно честная и цельная личность, тепло сердечная и очень добрая. Она всегда была в прекрасном настроении и всегда живо интересовалась чужими проблемами и трудностями. Была всегда рада помочь людям. В ней не было ни капли эгоизма, в этой необычайной женщине.

— С другой стороны можете ли Вы сказать, что муж её был крайним эгоистом?

— Я сожалею говорить об этом, но в определённой степени это определение может быть отнесено к нему. Он чрезвычайно самоуглублён и отвергает всё, что не вписывается в его планы.

— Но Вы, как медик, Вы никогда не рассматривали его как сумасшедшего?

— Никогда.

— Что заставило вас приехать в больницу перед самой трагедией?

— Профессор Дарманский, отец Валерии, получил анонимное письмо из Аренсбурга, извещающее его об опасности для дочери.

— Вы знаете, кто написал письмо?

— У меня нет на это счёт доказательств.

— Это мог быть сам Озолин.

— Я сомневаюсь. Я почти уверен, что не он.

— Я был информирован, что вечером перед трагедией у Вас была возможность говорить и с Озолиным, и с его женой. Конечно по отдельности.

— Правильно.

— Что Озолин сказал Вам? Он сказал Вам что-то такое, что может объяснить преступление?

— Нет, — я был твёрд. — Он не дал мне ни одного факта, который мог бы объяснить или в какой-то степени оправдать преступление. Я обнаружил в нем внутреннее противоречие, но основа конфликта была мне не ясна. Результатом моего разговора с ним было то, что Озолин уступил моим требованиям, чтобы Валерия ехала завтра домой.

— Я никогда не соглашался. Это ложь! — крикнул Озолин.

— Подзащитный, ещё один выкрик и вы будете удалены из зала.

— Я извиняюсь, Ваша Честь.

— Что-нибудь указывало в разговоре на намерение Озолина совершить преступление?

— Это не легко во всей искренности ответить на этот вопрос. Подзащитный не сделал никаких прямых допущений на этот счет, но тем не менее меня не оставляло чувство, что Валерия в опасности.

— Это всего лишь мнение! — запротестовал защитник. — Жюри должно не принимать это мнение к сведению.

— Принято! — провозгласил судья. — Вычеркните это из протокола.

— Теперь, доктор, … Вы провели около двух часов с госпожой Озолиной незадолго до того, как её обезображенное тело было обнаружено Вами. Она объяснила Вам, что у неё происходит с мужем?

— Она была очень несчастна, что вытекало из того, что она непрерывно плакала. Она не понимала поведения мужа за последние шесть или восемь месяцев. Он был не только груб и

жесток с ней. Но и отказался спать с ней и переехал в соседнюю комнату. Он часто её бил. Она сказала, что она вся в синяках, и смертельно его боялась. Она была уверена, что он её убьёт, если она не уедет. Она умоляла взять её с собой, и была в страхе, что ей придётся провести там ещё одну ночь по настоянию её мужа.

— Это правда, что она закрывалась мужем в ванной, когда он уезжал по делам.

— Да, когда я приехал, её дверь была закрыта, а ключ был у работницы, которая сначала отказалась открывать дверь, как ей наказывал Озолин.

— Вам известно, писала ли госпожа Озолина письма родителям?

— Она мне сказала, что она писала письма каждую неделю или две, и просила работницу опустить их. Ни одного письма не было получено родителями.

— Срам! — крикнул кто-то в зале.

— У меня всё к этому свидетелю, — сказал прокурор Нагаин. — Теперь очередь защиты допрашивать его.

Адвокат подзащитного, его брат, выбрал агрессивную тактику.

— Подзащитный сообщил Вам, что он горячо любит свою жену?

— Хорошо…, — я колебался.

— Пожалуйста, отвечайте, да или нет?

— Я прошу прощения, — сказал я, обращаясь к судье. — Очень не легко ответить на этот вопрос, потому что он говорил пару раз, что он её любит — и тут же ненависть и оскорбления.

— Я принимаю Ваше показание как удовлетворительное, — сказал судья.

— Говорил ли вам подзащитный, что он ревнует жену и подозревает её в неверности?

— Он не говорил, что он подозревает её в неверности.

— Вы настаиваете? Вы находитесь под клятвой.

— Он говорил, что у него нет полной уверенности, что она его любит.

— Ага! Он боялся, что она его бросит?

— Если и боялся, то он не сказал этого.

— Но он говорил, что он не может жить без неё?

— Я не припомню этого.

— Упоминал ли он имя его ассистента, молодого доктора Луковича, который, очевидно, был влюблён в госпожу Озолину.

— Он упомянул эту фамилию и сказал, что часто приглашал его в гости. И не возражал, когда Лукович и Валерия катались вместе. Но как я понял со слов подзащитного и его жены, что все

контакты с Луковичем кончились около восьми месяцев назад. Подзащитный не объяснил, почему он изолировал жену от всего внешнего мира.

— Вы сами спрашивали почему?

— Я спросил.

— И что он ответил?

— С горечью и злобой он сказал, что она — его собственность, и он волен делать с ней всё, что захочет.

— Мерзавец! — раздался женский голос в зале.

Следующим свидетелем был доктор Лукович. Его открытое лицо и дружелюбная улыбка произвели хорошее впечатление на жюри и публику. Он рассказал о своей работе в больнице, делая ударение на то, что у него не было трудностей с предшественником Озолина, доктором Тучановским.

— С подзащитным было трудно работать?

— Он был не всегда вежлив и часто груб со мной и другими работниками больницы. Он злоупотреблял властью, и не терпел ни каких возражений вообще, и даже по поводу лечения больных.

— То есть вы не были счастливы работать с ним?

— Протест! — вскочил защитник. — Наводящий вопрос.

— Принято.

— Вы планировали уволиться?

— Да, я просил о переводе в Киевский институт микробиологии, и меня уведомили о согласии.

— Это значит, что вы должны были скоро уехать?

— Я должен был уехать через три недели, когда придёт замена.

— Госпожа Озолина говорила с вами когда-нибудь о её супружеских проблемах?

— В действительности, она никогда не обсуждала со мной её проблемы с подзащитным. В редкие мгновения, что я видел её за последние шесть месяцев, она выглядела подавленной, худой и бледной. Я спрашивал её, может быть она принимает лекарства. Она отвечала, что нет.

— Она выглядела испуганной?

— Да, особенно в последние три недели.

— Вы можете допросить свидетеля, — прокурор сказал адвокату защитника.

— Доктор Лукович, Вы были влюблены в госпожу Озолину?

— Да, я был. Она была необыкновенным человеком.

— Была ли она влюблена в Вас?

— Конечно нет!

— Между вами были интимные отношения?

— Это оскорбительный вопрос! — сердито возразил Лукович.

— Отвечайте да или нет. Вы под клятвой.

— Я никогда не открывал ей свои чувства. В действительности я никогда даже не дотрагивался до её руки.

— Как часто Вы её видели одну?

— Только два раза, когда мы ездили за лекарствами в город.

— Вы никогда не были у них в доме, когда муж уезжал в город?

— Никогда, ни одного раза.

— Это вы написали анонимное письмо её отцу?

— Да, я. Я был обеспокоен иррациональным поведением подзащитного.

— Что Вы понимаете под иррациональным поведением?

— Когда муж бьёт свою жену, держит её взаперти, когда он слова ей ласкового не скажет — он иррационален или зверь.

— У меня всё с эти свидетелем, — сказал защитник.

— Могу я задать ещё несколько вопросов? — спросил прокурор. — Доктор Лукович, когда Озолины приехали около года назад, подзащитный был дружелюбен к Вам?

— Да, весьма. Он приглашал меня на ужин два раза в неделю и сам всегда предлагал, чтобы мы вдвоём с его женой спели. У неё прекрасное сопрано и она вполне законченный музыкант.

— Как долго продолжались ваши дружественные отношения?

— Я бы сказал, около четырёх месяцев.

— И что случилось потом?

— Отношение доктора Озолина резко переменилось. Он больше не приглашал меня на ужин и, в действительности, он дал мне понять, что больше не хочет меня видеть в их доме.

— Он как-то объяснил?

— Нет. Я был ошарашен.

— Госпожа Озолина приглашала Вас в гости?

— Один раз, я бежал в лабораторию, а она была в вестибюле. Она спросила меня, почему я больше не прихожу, и я чистосердечно сказал, что её муж больше не хочет меня видеть.

— Какова была её реакция?

— Она сказала, что с его стороны это глупо.

— Когда это было?

— Наверно семь месяцев назад.

— Она никогда больше с Вами не разговаривала или контактировала?

— Нет. Только на расстоянии. Когда я шёл в лабораторию, она иногда видела меня в окно и улыбалась. Такой жалкой улыбкой. Несчастная женщина! — Лукович выглядел подавленным.

Следующим свидетелем была работница Люба. Она

подтвердила, что по приказу Озолина держала Валерию под замком, когда Озолин был в отъезде.

Когда подзащитный обедал дома, его жена обязана была присутствовать за столом. Озолин никогда не говорил с женой в присутствии Любы, однако, она часто слышала плач и крики по ночам, а на утро Валерия была с чёрными кругами, опухшим лицом и часто — с кровоподтёками.

— Госпожа Озолина когда-нибудь жаловалась Вам?

— Нет, она только плакала….

Попытка защитника выявить через работницу интимную связь между Луковичем и Валерией окончилась провалом.

— Молодой доктор никогда не приходил к барыне, когда мужа не было, — сказала она твёрдо.

Прокурор объявил, что обвинение закончено свою работу. И тогда сногсшибательное заявление было сделано адвокатом обвиняемого.

— Вызывается Доктор Озолин — подзащитный.

Гневный гул был остановлен судьёй.

— Подзащитный, произнесите клятву!

Озолин казался спокойным. Со слегка ироничной улыбкой он медленно подошёл к стойке и произнес клятву громким и чётким голосом. На нём был чёрный костюм, белая рубашка и чёрный галстук. Его светлые волосы были тщательно уложены. Было определённое презрение во взгляде, с каким он смотрел на жюри, публику и судью. «Ваша честь!» — он сделал паузу, а затем он начал снимать свой пиджак, галстук и рубашку, обнажая свою грудь, покрытую красно-синюшными пятнами. — «Туберкулярная проказа», — провозгласил он, — «Заразился, когда лечил больных в Конго».

С ужасающей медленностью он надевал обратно рубашку, галстук и пиджак и прошёл на место.

Последовала мёртвая тишина. Председательствующий судья, очень хмурый, позвал прокурора и защитника на совещание, объявив часовой перерыв.

— Неизлечимо…, — профессор Дарманский подошёл ко мне.

— Неизлечимо… но может прожить ещё два-три года. Но зачем убивать Валерию? Почему мучить её? Он мог её заразить…?

На эти вопросы ответа не было.

Судья и жюри с адвокатами возвратились в зал.

Адвокат подзащитного, очевидно подавленный, был краток в защите своего клиента:

— Ваша честь! Члены жюри! Я нахожу себя в очень тяжёлой ситуации. Подзащитный отказывается сообщить мотивы преступления, более того, он требует, чтобы я повторил, что

убийство жены было оправданным актом. В этом я с ним совершенно не согласен, более того, подзащитный настаивает, что он любил и по-прежнему любит свою жену. Он говорит, что когда через четыре месяца после свадьбы он обнаружил, что заразился лепрой, то понял, что обречён на медленную и мучительную смерть. Он считает, что союз между мужем и женой вечен, и мысль о предстоящем уходе от жены была для него неприемлемой. Он убежден, как у восточных народов, что жена должна последовать за мужем. Убийство жены для него, таким образом, — необходимый шаг и никто не имеет права судить его кроме господа бога.

— Я тоже буду краток, — сказал господин Гловадский, прокурор, — Факт неизлечимого заболевания ни в коей мере не оправдывает ни истязание жены, ни её убийство. Подзащитный не нашёл в себе мужества признать, что в действительности, он совершил это нечеловеческое преступление из-за ревности. Ревность лишила его равновесия, если таковое у него было, лишила его человеколюбия и щедрости, которые любой другой человек продемонстрировал бы в этой ситуации. Подзащитный выказал только высокомерие, которое в этих обстоятельствах является оскорблением всех. Мы просим смертной казни, поскольку даже это наказание не может уравновесить преступления, которое он совершил.

Озолин, всё ещё у стойки, только пожал плечами. Председательствующий судья, Александр Волконский, который позднее стал одним из ведущих юристов пре советской России, говорил очень медленно:

— Это самый болезненный случай, с каким мне приходилось сталкиваться в моей практике. Какие бы мотивы не заставили подзащитного совершить это преступление, его болезнь не оправдывает его. Его мелодраматическая презентация не должна учитываться жюри.

Жюри отсутствовало меньше двадцати минут.

«Виновен в совершении преднамеренного убийства».

Через два месяца началась Мировая война, и я никогда не узнал, был ли доктор Озолин лишён жизни или провёл свою жизнь в заведении для душевнобольных.

Через три года началась революция, и преступники были выпущены из тюрем. Таким образом, если Озолин не умер от неизлечимой болезни, то он ещё вполне мог поучаствовать в революции.

Господь бог, прости мне!

Валерия Дарманская была не единственная, в своей мечте пожертвовать свою жизнь на алтарь любимого человека. Анналы

Петербурга полны случаев, когда женщины отвергли комфорт и уют для того, чтобы разделить ужасную судьбу своих мужей и возлюбленных. У петербургских женщин сложилась даже некая традиция на этот счёт. Эта традиция родилась с жёнами декабристов: аристократическими, богатыми женщинами, прекрасными и испорченными, и она продолжает привлекать магнетической силой сердца юных петербургских девушек.

Поведение Валерии Дарманской было отражением общего воодушевления русских женщин. Русские женщины не были меркантильны, даже когда принадлежали к обеспеченному классу. Они не боялись остаться в нищете. Имеется доля геройства в их взгляде на жизнь, когда бедность и страдание считаются выше богатства и благополучия.

Сотни книг написаны о России пре советского и советского периода, но очень мало сказано о русской женщине этого времени. Положение женщины в культурных кругах Санкт-Петербурга было уникальным — там никогда не существовало то, что в Америке называется «война полов». Русская женщина имела равные права с мужчиной. В России никогда мужчина не пытался доминировать над женщиной, наоборот, всегда была тенденция ставить её на пьедестал. Русская литература 19-го века всегда описывала женщин, как любимых и обоготворённых. Русская интеллигенция, поэтому никогда не обсуждала вопрос равенства между мужчиной и женщиной. Случай с Доктором Озолиным был исключением из этого правила.

* * *

Дом генерала и госпожи Гуерман был центром артистически настроенной молодёжи. Как и у Дарманских, приглашённым — неприглашённым, всем были рады на их субботних вечеринках.

Моя сестра Лидия была близким другом их старшей дочери Нины. Через свою сестру я часто бывал у них в великолепно обставленном доме на Офицерской улице. Нина была законченным музыкантом и певицей. Младшая дочь Зинаида была художником, чья недавняя выставка современной живописи получила одобрение у петербургских критиков. Генерал Гуерман, скандинавского происхождения, был профессором военной истории в Военной Академии. Он был человеком далёким от политики и либеральных традиций.

Был вечер, когда Нина Гуерман сделала дебют, как драматическое контральто в зале Дворянского собрания. Дебют был полным успехом. Мы, её друзья, собрались после концерта в

её доме. Нина была весёлой, счастливой и гордой, возбуждённая своим триумфом. Стар и млад толпились около неё, осыпая её похвалами. Было много цветов и подарков. Она смеялась от радости, с каждым шутила и позволяла своим обожателям целовать ей руки. Виктор Радомский, популярный поэт на тот момент, подошёл к ней после всех. Я наблюдал за ним, он был её самым пылким обожателем.

Я видел, как он склонил голову над её рукой, и слышал его шёпот: «Этот вечер и ночь — мои». Нина залилась краской и иронически ответила: «Мой дорогой друг, уже многие просили об этом одолжении без всякого успеха. Вы должны учиться быть терпеливым, очень терпеливым».

Он низко поклонился и, не ответив, отошёл.

Она захотела покинуть вечеринку и побыть одной. Как только Нина вынырнула из подворотни, она тут же затерялась в толпе на Садовой улице. Она направляла свой путь к Английскому проспекту, идя медленно, и вспоминая свой успех, который превзошёл все её ожидания. Да, сказала она себе, исполнились мои мечты.

Внезапно она остановилась, перед ней стоял человек, который произнёс медленно и уверенно: «Я — Ярослав Орлов». Она посмотрела на него с интересом. Несмотря на его потёртый вид, длинные волосы и небритое лицо, он производил впечатление культурного человека, который принадлежал к её уровню общества.

Она улыбнулась:

— Не князь ли Орлов?

Он немного заколебался:

— Да. Я — князь Орлов.

— А я — Нина Гуерман.

— Не дочь ли генерала Гуермана, нашего знаменитого профессора из Военной Академии?

Она кивнула.

— В таком случае я могу представить себя: бывший капитан Императорской гвардии, гусарский полк.

У него были ясные, серые глаза и волевой подбородок. На голове у него была чёрная монашеская шапочка. Нина скоро узнала, что он был в поисках истины. Он жил в тишине, избегая людей, общаясь только в крайнем случае. Поскольку наука не давала ясных ответов на мучающие его вопросы, он пытался получить их мистическим образом.

Долгие годы после увольнения из армии он ходил от монастыря к монастырю, часто ему приходилось жить в сибирской тайге.

Однажды весной он вернулся в Петербург и лёг в психиатрическую больницу. «Я — ненормальный, я вижу то, что другие не видят: я вижу Бога, но не в людях у которых много всего».

Князь Орлов искал Бога.

— Он — ненормальный, но безвредный, — сказал главный психиатр Обуховской клиники его брату, генералу Орлову, который приехал специально из Ярославля, чтобы забрать брата из больницы, где тот провёл уже десять месяцев.

— Он не опасен, вы уверены? — спросил брат с опаской.

— Абсолютно. Он спокоен, очень спокоен, и ни с кем не разговаривает.

Орлов и Нина подошли к берегу Невы и спустились по каменным ступенькам к реке. Они присели там близко друг к другу, как будто уже давно были знакомы.

— У Вас есть Бог в Вашем сердце, Нина? — спросил он.

Она нервно засмеялась:

— Я не верю в бога.

— Но вы носите печать бога…. в Вашей душе, — сказал он странным, очень низким голосом. Она едва могла его расслышать. Они долго сидели в тишине. Она более его чувствовала, чем слышала. Она остро чувствовала его присутствие.

— Нева, — сказал он. — Какой сильный, движущийся мир.

— Что вы имеете виду? — спросила она.

Он не ответил.

— Семь веков назад, на этом самом месте, где мы сидим, Князь Александр разбил захватчиков.

— Александр Невский?

— Да… как мало и незначительно слово «Невский» по сравнению со словом «Нева».

Она не поняла его. Он оставил её быстро, не сказав ничего.

Месяцем позже они встретились в маленьком скверике возле Коломны. Это была случайность, она не собиралась в эту часть города. Как будто какая-то сила толкнула её.

Он снова говорил с нею о боге. Она слушала его из любопытства, не обращая внимания на его возбуждённость.

— Я нашёл Бога, разумного Бога. Я нашёл его в других людях, во многих людях. Он не просто божество, но бог, присутствующий везде.

Он не пояснял. Он говорил бессвязно и бормотал слова, которые ничего не значили для Нины. И снова он ушёл внезапно, даже не попрощавшись.

* * *

Рассказывая мне о своих встречах со странным Орловым, Нина призналась, что когда она была с ним она ощущала, что ей хорошо с ним: «Как будто я парю в небе».

* * *

Серым дождливым вечером они встретились снова, опять случайно, не сговариваясь, на одной из тихих улочек Васильевского острова. В этот раз он был расстроен и возбуждён.

— Это животное в тебе, Нина.

Она была возмущена:

— Во мне?

— Да, бог и животное. Твоё целое существо как животное. В тебе есть страшная сила таёжного волка. Он делает, как он хочет, но твоя божья печать приводит его в ярость. Волк показывает свои зубы, но боится Господа Бога, и силы оставляют его.

— Ярослав, о чём ты говоришь? Есть ли правда в твоих словах?

— Да, есть правда, — сказал он печально, но с братским соучастием. — Да, есть правда. Я прогуливался, когда я встретил тебя… и когда я увидел тебя, я почувствовал присутствие Бога, излучающего свет в твоей душе. Это видение сделало меня счастливым.

— Но… — начала она.

— Позднее, когда я проник в глубины твоей души, я обнаружил всё, что в тебе есть и чего в тебе нет. Эти глубины только вероятности и возможности. Но путь, который я вижу, проложен зверем.

И он продолжал, наклонившись к ней и касаясь её руки своими пальцами.

— Моя сестра, сестра в Боге, моя дорогая сестра, я прошу тебя взглянуть на прямую дорогу. Увидь Бога всей силой своей души. Смотри за истинным светом, но если ты не можешь видеть истинный свет, если твоей слабой силы недостаточно найти истинный свет, то пусть это будет неистинный свет. Поскольку: «Что не горячо и не холодно, я выплюну из своего рта». Заблуждаются злоумышленные и прячущиеся. Зло приходит от Князя тьмы. Никогда не смешивай снег с земной грязью», — и он покинул Нину, не попрощавшись.

* * *

Нина и Радомский виделись почти каждый день. После концерта, который принёс славу Нине, Радомский не жалел усилий быть с ней и ухаживать за ней. Нина любила стихи, она была заворожена, когда смотрела в его серые, но полные жизни глаза. На неё произвела впечатление его сверх аккуратность. У него были женские руки с мягкими, нежными и тонкими пальцами. Он воодушевил её к жизни. С ним она смеялась, забывая обо всём на свете. Благодарная ему за это, она разрешала ему при прощании дотрагиваться своими губами до её лба: «Разве ты не видишь, что мы влюблены, ты и я», — говорил он. Она только смеялась и трясла головой.

Однажды поздно вечером, даже позднее обычного, Радомский провожал её после спектакля в Екатерининском театре. Они шли вдоль Невы. Вдруг она остановилась и предложила сесть на каменную скамейку у самой воды. Наверно, она не понимала, что это та самая скамейка, на которой она сидела с Орловым несколько недель назад. Нева казалась неподвижной, и жизнь казалась мечтой. Радомский взял и поцеловал Нину, и даже не один раз. Они не заметили рассерженного человека без головного убора, чья тень падала совсем рядом с ними. Он почти уже подошёл к ним, затем повернулся и медленно пошёл прочь, растворяясь в тумане. Внезапно Нине стало не по себе, она встала, и посмотрела вокруг: «ОН был здесь!» — она почти плакала. Радомский пытался успокоить её, говоря, что никого нет.

На следующий день, когда я зачем-то забегал к Гуерманам, я нашёл Нину в состоянии возбуждения. Она рассказала мне об вчерашнем. Она была уверена, что это был Орлов. «У меня такое чувство, что должно случится что-то ужасное».

* * *

Три дня спустя за завтраком отец Нины передал ей газету: «Прочти, Нина, любопытная история».

На первой страницы газеты «Новое Время» большими буквами заголовок «Фанатик вырвал свой глаз!». Газета сообщала, что на страстную пятницу хорошо одетый человек пришёл в Васильевский частный госпиталь, спросил главного врача и сообщил, что хотел бы зарезервировать палату для своего больного друга. Он заплатил за три дня вперёд. При нём была только небольшая элегантная сумка. Ему показали палату, и затем к нему подошёл главный врач доктор Гроздов. И он объяснил доктору, что тяжело больной это он сам: «Я очень устал и хотел бы отложить обследование до завтра». Припоминая разговор с этим человеком, который назвался Ярославом Орловым, студентом философии, главный врач сказал, что тот был абсолютно спокоен, немного истощён, а так, абсолютно нормальной внешности. Несколько часов позднее были услышаны сдавленные стоны. Сестра позвала дежурного врача, и они направились к Орлову. Дверь была заперта и они не сразу её открыли. Они увидели Орлова на кровати без сознания, и кровь была там, где был его левый глаз, этот глаз он сжимал в правой руке. Рядом с ним на тумбочке лежал лист бумаги на нём большими, чётким буквами было написано:

«Если твой глаз причинил тебе боль — вырви его.

Господь Бог, прости мне, грешнику.

Мои братья и сёстры во Христе, всегда смотрите за светом.

Различайте между истиной и злом.

Я, раб божий, выбрал тяжкий путь к истине».

Письмо было не подписано. Из документов в сумке следовало, что пострадавший в действительности является князем Ярославом Орловым, дворянином и бывшим капитаном гусарской гвардии, принимавшим участие в ожесточённых боях в Пруссии в первые месяцы войны.

Выяснилось, что он был одним из немногих уцелевших тогда. Он оставался в армии ещё полгода и награждён двумя Георгиевскими крестами за храбрость. Только после было замечено, что с ним что-то произошло. Он был демобилизован с почестями, но домой не явился. Его отец был военным губернатором Ташкентской губернии.

Газета сообщала, что князь Орлов всё ещё без сознания. Предпринимались все усилия, чтобы спасти его жизнь.

* * *

«Я помню его, — заметил Нинин отец. — Он учился у меня истории, блестящий мальчик. Да… битва под Кенигсбергом была кровавой баней для его полка. Он был всего одним из пяти чудом уцелевших офицеров».

* * *

Нина колебалась, когда стояла перед больничными дверьми. Наконец, она поднялась по лестнице, и неприятная мысль закралась ей в голову: «Почему я здесь?». Она спросила сестру, где лежит Орлов, и та проводила её к двери в палату. Нина постучалась, ответа не было. «Мадам, он без сознания, он не может Вас слышать». Видя, что Нина не решается, она открыла дверь и глупо произнесла: «Он улыбается!». Нина уставилась на лицо Орлова и отпрянула: он улыбался болезненной гримасой человека, лежащего без сознания. Нине захотелось на воздух. Онемевшая и раздавленная бедой, она поспешила домой и закрывшись, горько плакала. Этим вечером она получила письмо. Почерк был ровным, чётким и ясным, поправок не было, и каждая буква была, как выгравирована:

> «Моя дорогая сестра в господе. Одно тело и одна душа.
>
> *Епиф. 4:4*

Немногие могут понимать реальный смысл этих глубоких слов.

Божественный мир великой, великой энтелехии могут понять только те, которые ищут истину.

Желание плоти отвратительно и греховно и отделяет нас от Царства Господня.

Ты увела меня от прямого пути.

Ты разбудила во мне плотские чувства, любовь, ревность и желание обладать.

Но божеский мир сильный. Он дал мне силы восстановить гармонию и целостность моей души, которая снова счастлива воссоединиться с божественной энтелехией.

Князь Ярослав Орлов.

Моей единственной вечно возлюбленной — не забудь меня».

* * *

Этим же вечером я был в доме у Гуерманов. Генерал был дома и, очевидно, был рад меня видеть: «Иди к ней в комнату. Она отказывается говорить с нами. Отказывается даже есть». Я поднялся на второй этаж и постучал к ней.

Она была истощена и полной прострации. Её глаза были красные от слёз и волосы, обычно причёсанные, были растрёпаны. Она дала мне читать письмо Орлова.

— Хорошо, Нина, — спросил я её, — Ты чувствуешь свою вину в этой трагедии?

— Вину? Почему я должна быть виноватой? Конечно нет.

— Почему же ты плачешь? Ты была влюблена в него?

— Нет… я не знаю.

— Так….

— Я не знаю, — она повторила. — Я чувствую его присутствие. Он в моей комнате. Он следует за мной везде.

— Он был, определённо, влюблён в тебя.

— Конечно, он был, и самое ужасное… я чувствую свою обязанность последовать за ним.

— Что за нонсенс!

— Нет, я серьёзно. Он — святой. Я должна пожертвовать собой, чтобы найти мир для своей души.

— Но Нина, он был сумасшедшим!

— Нет, он не был. Он — святой. И он любил меня.

— Что за пожертвование, о котором ты говоришь?

— Я ещё не знаю, я думаю, ищу.

— Я не думаю, что ты намереваешься пожертвовать своей артистической карьерой ради ничего.

— Ты меня не понимаешь! — и она начала плакать.

Следующим утром Нина пошла на квартиру где жил Орлов. Это была прекрасная квартира на Первой Роте на Васильевском. Всё в его квартире было в идеальном порядке. Полки были заполнены книгами по религии, философии и истории. На столе в гостиной лежала старая Библия с пометками:

> «Мир тому, кто верит, но он даётся только тому, кто одолеет великое искушение».

На стене висела прекрасная фотография Нины, очевидно добытая у одного из фотографов, которые её фотографировали

после концерта. На обратной стороне карандашом были написаны её имя и день, когда они встретились. В ящике стола она натолкнулась на его фотографию в гусарской форме. Он был красив. Нина взяла это фото с собой и заказала увеличить его.

Как бы в спешке она послала письмо Радомскому. Она рассказала о том, что случилось с князем Орловым. Письмо кончалось следующими словами:

> «Забудь свою несчастную Нину, которая решила посвятить свою оставшуюся жизнь памяти того, кто умер, но который живёт в моём сердце. Бог наказал меня. Не пытайся меня видеть и не пиши мне, это всё что я прошу у тебя».

* * *

Новая жизнь началась для Нины. Она запирала себя в комнате каждый вечер, и сидя в полутёмной комнате за фортепиано, она играла со всей своей душой и сердцем. Над роялем висела увеличенная фотография Орлова при всех регалиях, которую она нашла в его комнате. Ей казалось, что он присутствует в её комнате, что он говорит и шепчет ей. Он жил, он не умер. Она чувствовала его теплые, чувствительные и обжигающие руки, ласкающие её волосы. Она почти слышала его слова: «Я с тобой, Нина». В такие моменты ирреальности она была почти в экстазе.

Нинины родители, обеспокоенные таким поведением дочери, консультировались у нескольких врачей. Академик Бехтерев, знаменитый психиатр, тряс своей головой, чертил непонятные линии на её спине голубым карандашом, и затем объявил, что она страдает неврастенией. Доктор Бартельс, семейный врач, слушал частое сердцебиение молодой девушки и после её осмотра не сказал ничего. Он прописал раствор брома.

После этого Нина заявила, что она совершенно здорова и не нуждается в медицинском внимании. Она объявила, что собирается пожертвовать свою жизнь служению Богу и уходит в монастырь. Её отец после безуспешной попытки разубедить её пожал плечами, выведенный из себя, и ушёл в клуб, хлопнув дверью.

Я беседовал с Ниной много раз, стараясь показать всю бессмысленность её решения, указывая на её артистический талант и огромные перспективы. Она слушала меня тихо и отвечала одним словом: «Нет».

Радомский писал Нине несколько раз. Она не читала его писем, а складывала в красивую китайскую кожаную коробочку, на которой были инициалы В. Р. Это был подарок, который Радомский подарил ей.

* * *

В отчаянии госпожа Гуерман решила взять Нину к отцу Иоанну. «Он объяснит ей», — говорила она самой себе.

Был тёплый осенний день, пока они были в пути. Дорога в Казань казалась Нине интересной и приятной. Она приобрела много знакомств, останавливаясь в городках и поместьях, где проживали их знакомые. Под влиянием солнца и свежего воздуха под конец пути Нина погрузилась в сладкий сон. У Нины не было времени для разговора с миром мёртвых.

Маленький, пронзительный монах тепло поздоровался с Ниной. Он думал: «Что за очаровательное дитя, хорошие глаза. Она будет прекрасной матерью и будет любить своих детей».

Госпожа Гуерман поведала об их горе. Монах слушал, тряс головой и улыбался.

«Она хочет в монастырь? Прекрасно. Она будет» — и он продолжал улыбаться.

Он попросил остаться с Ниной наедине. Она рассказала ему всё, как было. Монах стал серьёзным: «Ярослав, раб божий, через свою гордыню совершил огромный грех, и да простит его господь! Благословенны чистые сердцем! А ты, дочь моя, слушай меня: не бойся, живи просто и честно, дитя моё».

По совету отца Иоанна госпожа Гуерман взяла, теперь покорную дочь, в один из беднейших монастырей Казанской губернии. В этом монастыре монашки зарабатывали на жизнь вышивкой и работали с раннего утра в абсолютной тишине под контролем настоятельницы. Часто из-за работы их даже не отпускали на службу. Настоятельница, предупреждённая Отцом Иоанном, относилась к Нине со всей строгостью, как и к другим молодым монашкам: полная покорность, голодания, всенощные бдения и работа.

* * *

Нина страдала особенно остро, и её мужество и убеждённость таяли с каждым днём. Ей было настолько тяжело, что она мечтала только поспать и отдохнуть. За две недели её руки покрылись

мозолями. Нина была в отчаянии. Её мечта о полном одиночестве и духовной близости с ушедшим возлюбленным полностью улетучилась. В своём несчастье одна только мысль поселилась в ней, и ей удалось отправить телеграмму Радомскому.

* * *

Через два дня она бросила себя в объятия Радомского, всхлипывая: «Это так ужасно, они убили его во мне. Его теперь нет со мною рядом».

Возвращаясь домой на пароходе по Волге от Казани до Москвы, Нина и Радомский сидели рука в руке на верхней палубе. Нина сонно смотрела на воду: «Энтелехия… Что он подразумевал под этим словом?».

Поэт акмеист.

Сначала он мне не понравился, когда я первый раз встретил его на детском утреннике в Царском Селе. Ему было 15 лет, и он был на 4–5 лет меня старше. Был спектакль, и некоторые дети выступали с музыкальными номерами или читали стихотворения. Он был звездой вечера, читая свои собственные стихотворения. Он читал плохо, и я устал слушать его не очень приятный голос. Он был некрасив, или тогда мне так казалось. У него была вытянутая яйцеобразная голова и узкий лоб. Тогда он мне надоел со всей своей самоуверенностью, и я даже не запомнил его имя.

Моё внимание было приковано к одиннадцатилетней девочке, которая тоже читала свои стихотворения. Она читала их с эмоционально, и с большим выражением. Она была очень худенькая, с большими коричневыми глазами. На ней было красное платье, и она так мне понравилась, что я хлопал ей больше всех. Переборов своё стеснение, я спросил её после выступления:

— Как тебя зовут?

— Анна Горенко.

Она не спросила как зовут меня, но её имя врезалось в мою память.

Когда я учился в медицинском институте, один из моих друзей пригласил меня на одну из «сред», которые проводились поэтом Вячеславом Ивановым в его «Башне», так назывался дом, а вернее его квартира, находившаяся в круглом, башенного типа углу, дома по Таврической улице, где он жил. Эти «среды» собирали весь цвет литературного Петербурга.

«Николай Гумилёв и его жена Анна Ахматова должны читать свои новые стихотворения. У них потрясающие вещи» — сообщил мой друг. Оба были тогдашними знаменитостями. Бесстрашный искатель приключений Гумилёв только что возвратился с охоты на львов в Африке, и тут же представил новое направление в поэзии — акмеизм. Он был главой «Цеха Поэтов» и лидером поэтов-акмеистов. Ахматова, на которой он недавно женился, была менее известна, но уже заинтересовала публику своей оригинальностью и простотой стихосложения.

Я решил расслабиться и согласился. Гумилёв имел всё то же выражение абсолютного превосходства, которое не понравилось мне ещё мальчиком. Однако в нём была огромная жизненная сила, которая производила впечатление на его слушателей. Он вступил на сцену: красивый, элегантный и высокомерный, в белом галстуке и фраке. Картина, абсолютно иностранная, для пришедших гостей. Гумилёв зачитал манифест группы Акмеистов, которую он организовал: «Наше новое движение, Акмеизм, заступит на место Символизма….. «Акме» — значит высшая вершина чего-либо…. Это движение можно так же назвать Адамизмом — мужской, твёрдый, ясный взгляд на жизнь. Мы требуем большего баланса формы и точного знания отношений между субъектом и объектом, нежели это делается в символизме…. Во всяком случае, каждый обязан бороться за лиричность безукоризненных слов, и бороться за это в своей манере».

Он прочитал несколько стихотворений, из которых я запомнил только несколько строчек:

Я учу их не бояться,
Не бояться и делать так, как должен.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Любимейшим лицом во всей вселенной,
Скажет: «Я тебя не люблю»,
Я научу их улыбаться
И как уйти без претензий.

Анна Ахматова была за Гумилёвым. У меня перехватило дыхание: это была та самая девочка, которую я видел в детстве как Анну Горенко! Она была спокойная и расслабленная, её голос был вибрирующим и все проникающим. Она казалась в высшей степени аскетичной. Никто не мог поверить ей, когда она произнесла с искренностью в голосе: «Святой Антонин может засвидетельствовать, что я никогда не была способна побороть свою плоть».

Никто бы не мог заподозрить в ней любителя вечеринок и ночных сборищ, где она часто оставалась до раннего утра.

Было определено моей судьбой,
Не оставляющей ни веры ни сожаления.
Она перекликалась с Гумилёвым:
Ты не любишь и не хочешь взглянуть!
Как ты чертовски прекрасна!
И я не могу покинуть свою келью,
Хоть и побеждал с младых лет.

После выступлений я подошёл к ней и напомнил о нашей встрече ещё детьми. «Как ваш муж относиться к вашему увлечению стихами?» — спросил я её. Она с болью улыбнулась: «Он смотрит на мою поэзию, как на причуду, и не рассматривает её серьёзно».

Через два года они разошлись. Однажды, когда я её встретил снова, она пожаловалась мне, что Гумилев «Любит любовь, но не женщин» Скоро у неё был роман с другим не менее известным поэтом — Александром Блоком. Тем не менее, говаривали, что она по-прежнему любит Гумилёва, и это её незаживающая рана.

Её лирика переменилась. Я почувствовал это остро, когда посетил сборище уже по поводу Ахматовой и Блока.

Блок начал:

Мы, праздношатающиеся грешники,
Кто может быт весел в саване?
Птицы как цветы на стене,
мечтают о свободе облаков.

Ахматова отвечала ему:

Всё расхищено, предано, продано
Чёрной смерти мелькало крыло
Всё голодной тоской изглодано
Отчего же нам стало светло?

Нет! — кричал Блок.

Эй! Давным давно, ваша раса перестала любить,
В то время как мы, русские, стали любить больше.
Вы забыли, что есть любовь на земле,

Что жнет и убивает и сжимает до сердцевины…[2]

Во время войны, идя по главной улице Луцка, я почти столкнулся с кавалерийским офицером. Он был дважды Георгиевским кавалером. Сначала я не узнал и пропустил его. Что-то заставило меня обернуться: «Гумилёв!» — воскликнул я. Он остановился и обернулся.

— Да? — ответил он вежливо.

— Вы меня не помните? — и я напомнил ему о далёком детском утреннике, на котором он читал свои стихи.

— Детский утренник я помню, но вас, простите меня, что-то не припоминаю.

Я пригласил его со мной отобедать. Мне было интересно услышать, что он делает, и больше всего, о его жене.

Он сказал мне, что он служит в Пятом Гусарском полку с первого дня войны.

— Я наслаждаюсь войной, каждым её моментом! — сказал он.

— Вы были ранены?

Дважды Георгий касался моей груди.
Которую не тронули пули, —

продекламировал он.

Он был в прекрасном настроении: «Война и смертельная опасность возбуждают мою душу, — сказал он.

— Это здорово — испытывать судьбу. Мои друзья, товарищи по оружию, убиты или смертельно ранены. Немногие остались в живых, а на мне даже не царапины. Это удивительно! Но опять же, я был уверен, что меня не убьют! Возможно, что я игрок по натуре, даже если я не беру в руки карт. Я всегда люблю играть по крупному — на свою собственную жизнь! Например, перед войной я охотился на львов в Абиссинии. Однажды мне сказали, что свирепый лев, разорвавший двух местных жителей, появился в окрестностях. Его рык всё ещё был слышен, и местные попрятались в хижинах: никто не хотел со мной идти. Я пошёл один. Поверьте, смотреть в глаза дикого хищника, было самым восхитительным моментом в моей жизни. Я убил его с третьей пули, когда он уже был в двух метрах от меня, а первый выстрел — я промахнулся. Второй — лишь только ранил его.

Мы перешли к его работам. Он говорил о своем журнале «Аполлон» и будущем русской поэзии.

— Каждый человек — поэт в своей душе. Каждый человек может стать поэтом, если будет работать много и упорно над

стилем и техникой. Поэзия, как музыка, и поэт как пианист, который работает каждый день, если он хочет совершенства.

Он сказал мне, что на фронте он написал стихотворение, которое называется «Гондола». Он прочёл его — это было лучшее, что он написал.

— Невозможно поверить, что можно написать такое прекрасное стихотворение на фронте, — сказал я.

Он гордо улыбнулся:

— Я уникален, — и добавил, — Мне необходимо возбуждение для творчества. Опасность даёт мне толчок.

— Где ваша жена?

— Моя жена? — он, казалось, опешил.

— Да. Анна Ахматова.

— А! Анна, — его голос увял. — Она в Петербурге, иногда я получаю весточку от неё. Она посылает мне свои стихи. Она неплохо пишет.

* * *

На приезжего в Петербург, холодность и абстрактность города, его безэмоциональность и скрытость, производят угнетающее, если не враждебное впечатление. Это город, который ушёл весь в себя, и все люди в нём также погружены в себя. Это город раздвоенной личности, и только настоящий петербуржец может любить его нежной страстью и наслаждаться его мутными и молчаливыми ночами. Наслаждаться его грязной осенью, грязными каналами и реками, снегом и ледяными зимами, ледоходами по весне, неулыбчивыми прохожими и маленькими забегаловками, где ведётся бесконечный разговор о бренности всего живого и бесполезности жизни. Великолепные церкви и соборы, где люди молятся перед образом Христа. Город идей, живых и бьющих ключом, настоянных на крайнем индивидуализме, конфликтующих, воодушевляющих, и совершенно чуждых реалиям повседневной жизни человека.

Я снова был очарован несокрушённой и несокрушимой душой моего города. Что может большевизм, этот грубый и голый материализм незрелых и недалёких умов, причинить моему городу? Поработить его? «Чушь», — ответил я себе. Большевизм может завоевать город внешне, подавить его поверхностно, но душа города будет жить вечно, бесконечно вечно после того, как большевизм уже давно канет в лету. Рассуждая таким образом, я как-то внутренне успокоился, убеждённый во внутренней незыблемости города. Дело было весной, ещё до революции, и я

бродил по улицам в грязи тающего снега. Улицы были тускло освещены газовыми фонарями. Шумные трамваи сновали туда-сюда. Полуподвальные окна открывали мирные семейные посиделки за кипящим самоваром. На мгновение я потерял острое ощущение грядущей трагедии. Так не может быть, думал я, что свобода, которую так долго ждал русский народ, попадёт в руки предприимчивых политических авантюристов.

Я вошёл в печально известное кафе «Бродячая собака», место встречи писателей, музыкантов и артистов. Огромный зал в подвале был полон пьющих, кричащих и поющих людей, здесь как всегда был полный бардак. Все столики были заняты. Когда я протискивался через толпу, кто-то окликнул меня по имени, это была Анна Ахматова. На другом конце её столика Александр Блок нашёптывал историю Михаилу Шаляпину.

— Возьми стул, присаживайся, — пригласила меня Анна Ахматова.

Как только я уселся, она представила меня лысеющему беззубому, но моложаво выглядящему человеку, сидящему рядом с ней:

— Это Илья Эренбург, — сказала она.

Будущий министр пропаганды был пьян и находился в разговорчивом настроении. Он тут же признался мне в том, что Керенский на самом деле — величайший гений из всех когда-либо живших на земле. Я молчаливо согласился с ним.

Блок, шаткий от шампанского, нетвёрдо поднялся и начал декламировать:

> Эй! Давно ваша раса перестала любить,
> Но мы, русские, любим всё больше и больше.
> Вы забыли, что существует любовь на земле,
> Которая жгёт, и сражает, и сжимает до сердца.

Толпа внезапно затихла, загипнотизированная его блестящим исполнением. Едва Блок закончил, как Шаляпин затянул «Стеньку Разина»….

* * *

Три года спустя, когда я снова приехал в свой любимый город, было лето. Я не мог заснуть в эти белые ночи и вышел пройтись по набережной Невы. Петербург умирал, покорённый большевиками. А люди, люди всё бродили по набережным Невы и искали ответа на свои собственные неразрешимые вопросы в

поисках вечной истины. Однако вечная истина по-прежнему ускользала от них вместе с белыми ночами.

Уже было почти утро, когда я забрёл в «Бродячую собаку». Кафе был открыто, но почти пустое. Женщина сидела за столиком и потягивала чёрный кофе, при этом она курила тонкую сигарету. Очень стройная, высокая и бледная: Бледные щёки, бледные губы, невидящие и бесстрастные, холодные глаза. Она очень изменилась — Анна Ахматова. Она узнала меня и кротко улыбнулась. Я присел к ней за столик, и мы долго сидели молча. Внезапно она очнулась и начала декламировать:

Всё разграблено, всё продано и предано —
Крылья чёрной смерти развёрстаны.
Всё сгложено голодным горем.
Почему тогда маленький свет вдалеке?
Приближается чудо
К хижинам, нуждающимся в ремонте.
Этого ещё никто не знает,
Но мы надеемся на это.

И она добавила, совершенно неожиданно: «Всё умирает, но настоящая любовь бессмертна…. Душа нашего города тоже бессмертна», — уверила она меня, когда я покинул её через несколько минут.

* * *

Было раннее лето, и Париж цвёл цветами. Версальская Мирная Конференция была в полном разгаре, и Париж был возбуждён победой и мечтами о вечном мире. Жизнь была весёлой, беззаботной и лёгкой. Я только что выбрался из Сибири. Из холода и войны я вдруг неожиданно обнаружил себя среди фестивальной жизни Парижа.

Однажды вечером я прогуливался по Монпарнасу. После тишины сибирских городков и сёл я наслаждался пульсирующим ритмом парижской жизни. Громкий разговор прохожих, их весёлый смех и погруженность в свои дела, их приземлённость, были в явном противоречии с характером жизни в Петербурге. Здесь, в Париже, они жили сегодняшним днём и брали от жизни всё, что она им давала. Это был немного циничный, реальный и абсолютно инстинктивный оптимизм. Вечные проблемы жизни и смерти, которые занимали жителей Петербурга, не занимали парижан. Каждый должен жить как можно полнее, было написано

на лице всех, кого я встречал на улице, в кафе и на вечеринках. Да, это был Париж, в котором Роджер Бэкон страстно искал истину, также как мы искали её в Петербурге. Но Роджер Бэкон мертв уже как семьсот лет, и французы забыли о нём, об этом странном человеке, который провёл в заточении двадцать лет за то, что пытался узнать предназначение человеческого рода.

Я зашёл в «Closerie des Lilas», кафе на Монпарнасе и место встречи французских писателей и поэтов. Как обычно, Поль Фавр, «князь» французских поэтов, был окружён толпой молодых поэтов, внимающих старому мастеру и посасывающих свой апперитив. Фавр был рад меня видеть, и пригласил меня к ним. Они обсуждали направления современной поэзии и читали свои стихи.

— Мой друг, — Фавр обратился ко мне, — Кто из русских поэтов проповедует акмеизм? Забыл его имя. Он был в Париже несколько месяцев назад и читал нам свои стихи. Ах, эти русские имена! Как их можно запомнить?

— Акмеизм? — я колебался. — Гумилев?

— Да! Именно…! Гумилёв. Именно! — воскликнул Фавр. — Он собирался возвращаться в Россию, которая в руках этих варварских большевиков. Они убьют его. Он собирается бороться с ними стихами! Ненормальный!

* * *

25 Августа 1921 года Гумилёв возвращался домой из поэтической студии, которой он руководил в Доме искусств на набережной Мойки № 59 в бывшем доме С. П. Елисеева. Несколько студентов сопровождали его по Невскому проспекту. Он был весел и много шутил, обсуждая древнегреческую поэзию.

Около его дома стоял автомобиль. Он не обратил на него внимания и ещё постоял перед домом, болтая со студентами. Они договорились встретиться завтра в Доме Поэтов. Он вошёл в свою квартиру, и как только он зажёг свет, два вошедших за ним агента Чека схватили его за руки. Он знал, что ожидать. Он взял с собой Новый Завет и «Илиаду» Гомера.

Из тюрьмы он написал короткую записку своей второй жене А. Н. Энгельгардт: «Не беспокойся, со мной всё в порядке. Я пишу новое стихотворение и играю в шахматы».

27 августа он был расстрелян. Сказали, что он улыбался в лицо расстрельной команде. Коммунисты наспех зарыли его где-то за городом. Это место не нашли, несмотря на многочисленные поиски его поклонников.

В свои последние секунды, думал ли он об Анне Ахматовой, возлюбленной своего детства, своей бывшей жене, с которой он разошёлся в 1918 году, за три года до своей гибели? Мы не знаем этого. А она ещё долго жила после его смерти и была поэтессой.

Любовь — это ещё не всё.

Он был инструктором патологии на медицинском факультете, преданный науке учёный. Это он дал первый толчок моему интересу к проблеме рака. Как лектор он был бесподобен. Он мог представить самые сложные проблемы патологии в двух словах. Доктор Лев Крентовский и внешне отличался от других преподавателей. Другие были бородатые, с длинными волосами, в очках, хилые, с плохой осанкой и далёкие от спорта. Крентовский имел коротко постриженные волосы, чисто выбрит, атлетической выправки и большой поклонник различных видов спорта. Он был чемпионом по конькам, и когда он появлялся на катке Юсуповского сада, все останавливались посмотреть, какие пируэты он выделывает. Он был одним из лучших игроков в теннис и неутомимым яхтсменом. Лев Крентовский был добрый человек и хороший собеседник, и при этом в нём можно было чувствовать силу воли и принципиальную личность.

Отец Крентовского был известным юристом, человеком либеральных взглядов, который симпатизировал революционному движению, растущему в предвоенные годы. Лев последовал отцу и открыто объявил себя революционером, хотя формально и не присоединился к социально-революционной партии. Партия Эсеров исповедовала принципы идеалистической революции.

Я думаю, Льву не было тридцати лет, когда он встретил студентку университета по социологии Людмилу Ковенко. Она приехала с Украины, тёмноволосая, очень привлекательная, как и многие украинские девушки, тёмные глаза и чувственные губы. Она была напряжённой спорщицей, погружённой в социологию, и фанатично проповедовала марксистские теории. Лев влюбился в неё безнадёжно и неизлечимо. Она отвечала ему со сдержанностью, но достаточно, чтобы поддерживать его влюблённость. Лев сказал мне, что они скоро должны обручиться. Он излучал счастье. Иногда я попадал в дом Крентовских, когда Людмила была там. И каждый раз там стояли дебаты между Людмилой и Николаем Крентовским, отцом Льва, а также младшим братом Никитой и самим Львом.

— Марксизм чужд нашей интеллигенции и нашему народу. Мы верим в свободу личности, в положительное в человеке, в идеалы демократии; а марксизм отвергает роль личности в человеческом прогрессе, — настаивал Николай Крентовский.

— Марксизм, — протестовала Людмила, — Это настоящее революционное движение, которое принесёт победу пролетариату.

— Вы не очень внимательно читали Карла Маркса, дорогая Людмила, — говорил Лев, — Маркс сказал, что революция начнётся в передовых, развитых странах. Нет индустрии в России, почти нет пролетариата. Россия — аграрная страна.

— Ленин пропагандирует революционный марксизм. Он призывает к захвату власти даже в индустриально слабо развитых странах, — возражала Людмила.

— А! — Кричал старший Крентовский, — Это означает, что ленинская концепция вовсе и немарксистская. Это прокламация диктатуры!

— А почему бы и нет? — следовал её грубый ответ.

И так это всё продолжалось из вечера в вечер, и каждый раз после дебатов Лев и Людмила запирались в его комнате, где, надо полагать, они прекращали спорить.

Однако свадьбе было быть не суждено. Лев был призван военным врачом в 13 армию на юго-западный фронт. Временами я слышал от его отца, что Лев в очередной раз легко ранен, но остаётся в строю, и что он уже два раза был награждён. Скоро меня тоже забрали на фронт, и в течение двух последующих лет я ничего не слышал ни о Льве, ни о его семействе, ни о Людмиле.

Когда Демократическое правительство было сформировано, я приехал ненадолго в Петербург. В Петербурге я пришёл к Крентовским в их квартиру на Витебской улице. Старый Крентовский был весь в политике, активный член социал-революционной партии Керенского. Он сказал мне, что Лев ещё на фронте, который находится в состоянии деморализации, и что Лев борется с большевиками всеми доступными средствами, читая лекции, произнося речи и тому подобное.

— Он стал неудержимым антикоммунистом. Он полон негодования и ярости.

— А Людмила? — спросил я его.

— Я не видел её сто лет, но кто-то сказал мне, что она всё ещё живет в своей квартире на Выборгском проспекте. Да… и что она с коммунистами.

Два месяца спустя коммунисты захватили власть и сбросили правительство Керенского. Я брал свой скудный паёк в штаб-квартире социал-революционной партии на Болотной улице, когда Лев появился из приёмной комнаты. Он совсем не изменился и стал ещё здоровее в его офицерской форме. Он прибыл с фронта два дня назад и после родителей пошёл сразу на квартиру к Людмиле.

— Она — чудо. Мы провели вместе две ночи. Это был рай. Она готова выйти за меня замуж.

— Твой отец сказал мне, что она стала коммунисткой.

— Я этому не верю. Она не сказала ни единого слова о своих марксистских идеалах. Она наоборот интересовалась всем, что я делаю и какие мои планы. Когда я сказал, что я вовлечён в подпольную деятельность против коммунистического правительства, она улыбнулась. Мы условились провести несколько дней на нашей даче.

Я обещал ему зайти к отцу на квартиру на следующий день. Когда звонок прозвонил, открыла дверь его мать. Она плакала.

— Что…?

— Этим утром они арестовали и Колю (её мужа) и Лёвушку.

— Но почему? — удивился я.

— Это всё эта…, — она остановилась, чтобы не сказать ругательное слово. Она была в высшей степени воспитанная женщина.

* * *

Через несколько лет после своего бегства из Советской России я был на международном онкологическом конгрессе в Брюсселе. Я сидел за маленьким столиком около бара на Place de Cardinal Mercier, меланхолически прокручивая в уме невыдающиеся доклады, которые перед этим я слышал. И вдруг… Леонид Крентовский собственной персоной сел за мой столик!

— Я был уверен, что встречу тебя в Брюсселе, — он широко улыбался.

Он совсем не изменился, может быть, только кожа стала не такой румяной. Несколько морщинок на лице, тем не менее, он выглядел юным и довольно красивым. Я не стал задавать вопросов, так как знал, что он сам расскажет всё, что считает нужным.

— Да, я оказался в предварительной тюрьме, когда ты должен был к нам зайти. Отец тоже был арестован, но его отпустили через несколько дней. Мы сбежали всей семьёй. Они теперь живут в южной Швейцарии.

— Надеюсь, в добром здравии.

— Да, я видел их несколько дней назад. Таким образом, я был арестован. У меня было небольшое подозрение, что Людмила приложила к этому руку. Абсурдная идея, она была так нежна со мной. Только в тюрьме, в одиночном заключении, эти тёмные мысли стали приходить ко мне. Однако он исчезли, как только я

стал получать передачи. И в каждой передаче был маленький клочок бумаги, спрятанный в хлебе или масле, с четырьмя словами: «Я люблю тебя Лёвушка».

— Невероятно, — пробормотал я.

— Невероятно! Она не могла быть причиной моего ареста после этих посланий. Я уверен, что….

— Да, маловероятно.

— Тем не менее, подозрение оставалось, как маленькая тучка на голубом небе. После 15 месяцев я был освобождён. Никто даже не допрашивал меня. Никто мне даже не объяснил, почему я был в тюрьме.

— А на свободе….

— А на свободе я сразу пошёл к ней на квартиру.

— Проверить свои подозрения?

— Ничуть не бывало. Я любил её также как и раньше. Я точно знал, что она не имеет отношения к моему аресту.

— Тем не менее….

— Да, тем не менее, — он остановился. — Я приближался к дому, где она жила. Моё сердце громко билось. Я поднялся по лестнице. Лестница давно не убиралась и еле освещалась коптящей керосиновой лампой. Звонок не работал. Я толкнул дверь, и она открылась. Она была бесподобно красива, красивей чем раньше, но чего-то не хватало в ней. Её длинные волосы, которые всегда мне нравились, были коротко подстрижены, и в глазах её была суровость и даже холодность. Её одежда также отличалась: красный кожаный пояс и тщательно завязанный тёмно красный галстук придавали ей вид классной дамы. Её глаза моргнули, мой приход был для неё неожиданностью. Быстро оправившись, она воскликнула: «Лёвушка, любимый!». И тут же она была в моих объятиях, лаская меня, обнимая меня, целуя мои волосы и лицо. Я пробормотал, что я мечтал об этом мгновении. Я заметил маленькое кольцо у неё на руке, которое я подарил ей перед своей отправкой на фронт. «Ты всё ещё носишь моё кольцо? Ты всё ещё меня любишь?». Вместо ответа она лишь целовала меня. Она выключила свет и, взяв меня за руку, повела в спальню. Это была ночь страсти, которой я ещё не испытывал и может быть более уже не испытаю. На следующее утро мы проснулись поздно, и она принесла мне завтрак в постель. Когда я позавтракал и побрился, я вышел в гостиную. Комната была такая же, как я её помнил. Тем не менее, была перемена: на месте картин старых итальянских художников висели портреты Ленина и Троцкого. «Что это всё значит?» — вертелось у меня на языке, но я сдержал себя. Разве я не был влюблён в неё?

Несмотря на нашу любовь, напряжение между нами

нарастало. Мы оба были начеку, избегая вопросов политического характера. Она ушла в спальню и была там остаток дня и ночью. Чего-то не хватало в нашей любви. Элемент раздражения и подозрительности вмешался в наши чувства. Только в кровати, в полусонном состоянии, искренность наших эмоций возвращалась к нам.

Утром бешеная ссора вспыхнула между нами. «Ты член коммунистической партии, дорогая?» — спросил я её спокойно. «Конечно, и я горжусь этим». Пускаясь в детали, она стала восхвалять коммунизм, она обвинила меня в капиталистических тенденциях. Она объявила, что всё, что необходимо нашей стране — это коммунизм. И далее она перешла к объяснению, что русская интеллигенция всегда страдала от внутреннего конфликта. Разве они не искали ответов на свои собственные вопросы, а не на вопросы рабочего класса? Коммунизм освободил народ от этой шизофрении. И это коммунизм решил все проблемы, требуя исполнять директивы партии, требуя беспрекословного повиновения.

Я восстал, мою реакцию можно легко было предвидеть. «Коммунизм, — громыхал я, — Разрушил и разрушает демократию в России. Они, твои друзья, делают рабов из русских людей. Ни для кого нет свободы в стране, за исключением верхушки партии. Ты говоришь о революции…. Коммунисты — не революционеры, они просто рвутся к власти и больше ничего. Они…». Она оборвала меня: «Прекрати оскорблять мою партию, моих товарищей. Они революционеры высокого порядка. Они не хотят для себя ничего, а только для пролетариата. Мы партия рабочего класса. С Лениным и Троцким…». Я потерял самообладание и заорал: «Мартышки так называемой революции отбрасывают Россию на столетие назад». Я подошёл к стене и порвал портреты Ленина и Троцкого в клочья, а кусочки выбросил в мусор.

Внезапно Людмила замолчала, она пошла в спальную и заперла за собой дверь. Я слышал, что она говорила по телефону. Когда она снова вышла в гостиную, она была бледнее чем раньше, разозлённая и со сжатым ртом. Настроена она была решительно. Мы сидели в тишине ещё пять минут, избегая смотреть друг на друга. Она взглянула на свои часы, и лицо её ожило:

— Лёвушка, ты должен сейчас же уйти!

— С какой это кстати?

— Я позвонила в Чека. Они сейчас придут за тобой.

— Да, — ответил я. — Я был уверен, что ты звонишь в Чека. Ты работаешь в этой страшной организации?

Она не ответила. Она снова посмотрела на часы.

— Лёвушка, любимый. Я прошу тебя уйти немедленно.

— Ну уж нет, — отвечал я. — Я остаюсь тут, пусть они меня арестуют. А ты, Людмила, должна уйти сама, иначе твоя репутация сама может пострадать.

Она начала плакать:

— У меня нет выбора, Лев. У меня нет выбора, и я должна сообщить о тебе. Ты враг нашей страны, а я — член партии.

— Я враг не нашей страны, а твоей партии, которая узурпировала власть.

Она подошла и бросилась ко мне на шею. Она плакала, целуя меня.

— Мой бедный Лёвушка, мой несчастный дорогой.

Однако, она ушла из квартиры, как я ей и сказал, быстро. Через несколько минут раздался стук в дверь.

— Войдите, — сказал я громким голосом.

Вошли двое в штатском.

— Гражданин Крентовский? — спросил один из них.

Он был предельно вежлив.

— Доктор Крентовский, — поправил я его в такой же вежливой манере.

— Комиссар товарищ Ковенко сообщила, что вы ворвались в её квартиру и отказались покинуть её. Это правда?

Таким образом выходило, что Людмила была комиссаром Чека. У меня во рту появился горький привкус. «Это всё ошибка, — начал объяснять я чекистам. — Я не знаю никакого товарища Ковенко, но раньше здесь жил мой друг, и мне очень нужна квартира, и я голоден. Меня только что выпустили из Предвариловки, и я позвонил в первую попавшуюся квартиру».

Я перебил Льва:

— Зачем тебе надо было осложнять ситуацию? Тебе достаточно было сказать, что она твоя подруга, но сейчас она тебя не захотела видеть.

— Правильно, потом я долго думал, зачем я сделал эту глупость. Но у меня внутри, было зло против самого себя: я всё время знал, что она меня предаёт, но я, тем не менее, продолжал любить её, которая дважды предала меня. Во мне было какое-то стремление к самонаказанию. Тяжело, очень тяжело. Они арестовали меня и почему-то переправили в Москву, в Бутырку. Бутырка была местом для врагов советской власти, приговорённых к смертной казни. Я был там два года. Очевидно, мы с тобою разминулись, так как я слышал, что ты тоже был там около этого времени.

Несколько минут мы сидели молча, я и Лев, переживая заново воспоминание о Бутырской тюрьме.

Он был в Бутырке, каждую ночь ожидая экзекуции. Однажды ночью его вызвали. Лев и ещё несколько человек были вызваны к коменданту Бутырок, посажены в грузовую машину, и их повезли на Лубянку. Там они были помещены в маленькую комнатушку известную под названием «Врата Ада». Тишина камеры время от времени прерывалась старой женщиной, чьи седые волосы были покрыты шёлковым платком, символом прошлого. «О господь бог, спаси и сохрани меня!» — стонала она. Казалось, что мрачные, грязные стены готовы сомкнуться над несчастными. Пыльная лампа была покрыта сажей. Слабый свет проникал через маленькое окошечко, последний свет уходящей жизни. «Господь бог, спаси свою рабу!».

— Я хотел наорать на несчастную женщину, — продолжал Лев. — Но скоро выкрикнули мою фамилию. «Взять его на приведение в исполнение», — сказал комиссар низенькому охраннику с длинной бородой. — «Будь осторожен, чтобы он не сбежал». «Да как он сможет? Я это делаю каждый день». Мы вышли из Лубянки. Была тёплая июльская ночь, не помню числа. Грузовик стоял у дверей Лубянки, ожидая меня. Бородатый свистнул и поманил меня. «Эй ты, поживее, я тороплюсь». Улицы были пустынны. Тёмные, молчаливые дома, казалось, вибрировали жизнью. В лунном свете окна выглядели, как улыбающиеся глаза, отказывающиеся спать. «Прекрасная ночь, товарищ», — сказал я охраннику. «Заткнись!» — был его ответ. Я решил не умирать. Охранник, сидящий со мной сзади грузовика, открыл кисет и начал сворачивать папиросу. Момент настал. Я сделал движение в его направлении и быстрым ударом свалил его. Мои руки сомкнулись на его горле. В порыве животного чувства, которым я не ожидал обладать, я задушил его. Я вял у него револьвер, шинель и фуражку. И после того, как нашёл запрятанные у него документы и деньги, я выпрыгнул из грузовика. Я пошёл по направлению к бульвару. Допускаю, что я был возбуждён, первый раз я убил человека.

Потом я свернул на узкую, короткую аллею. Я достал кисет, который я взял из шинели, свернул папиросу и начал улыбаться. Я был в экстазе, почти счастлив.

— А как ты выбрался из России? — спросил я его.

— Это оказалось нелегко, но удача сопутствовала мне. Поездом я добрался до Петербурга, заплатив за билет деньгами охранника. В Петербурге уже было проще. Несколько дней я провёл в подвале нашего медицинского факультета. А затем я увёл моторный катер от яхт-клуба, наверно, он принадлежал какому-нибудь высокопоставленному коммунисту. Катер был заправлен доверху. Ночью я взял курс на Выборг. Финская

администрация приняла меня дружественно. Они не отказали, чтобы я ехал в Швецию. Наконец я прибыл в Бельгию, где мне дали небольшой грант (деньги) работать в местном медицинском институте.

И вот я здесь!

— Да, — заметил я. — Ты здесь на свободе и в безопасности.

Мы заказали шампанского отпраздновать наше спасение. Лев был в прекрасном настроении.

— А Людмила?

— Людмила…?

— Для тебя было ударом её двойное предательство?

— Я получил свой урок. Любовь это ещё не всё.

Триумф любви.

«Ты веришь в бога?» — говоривший был одиннадцатилетним мальчиком с кучерявыми волосами и большими голубыми, спрашивающими глазами. «Чего?» — ошарашено произнёс я.

Мы только что познакомились на перемене во дворе школьного сквера. Я был на класс его старше и поэтому хотел сохранить старшинство по отношению к этому странному маленькому мальчику. Однако он повторил свой вопрос более настойчиво и серьёзно.

— Ты веришь в Бога?

— Конечно.

— Это хорошо. Если бы ты не верил, у тебя не было бы внутренних сил для того, чтобы жить, — и он зашептал, — Я чувствовал себя вчера очень несчастным, полным сомнений, и я пошёл в церковь. Ты понимаешь, что мой ум был полон вопросов, и жизнь казалась нестоящей, чтобы жить. Но в церкви я помолился, долго стоял на коленях, и всё стало ясно.

— Ты меня понимаешь?

— Конечно понимаю.

Во мне росло нетерпение. Его вопросы, его манера рассуждать казались особенными и туманными.

В то время лично у меня не было способности медитировать на темы жизни. Я больше был по части спорта и приключений. И это было шоком для меня, встретить такие торжественные мысли у мальчика, который был младше меня.

Он продолжал ещё более серьёзно: «Давай подружимся. Это очень грустно жить в одиночестве, как живу я». Он глубоко вздохнул: «Я страшно одинок….. Представляешь, вчера мама дала мне нагоняй. Мне захотелось заплакать, но я не стал. Я спросил её: «Мама, зачем жить? Для чего мы живём?» А она рассердилась: «Не надоедай мне своими дурацкими вопросами», — сказала она. — Ты не понимаешь вообще, о чём ты говоришь».

Он пожал плечами и выглядел обиженным.

— Пожилые люди странные. Поверь мне, они часто делают нам больно. Я ведь знал, о чём я спрашиваю, скажешь, нет?

Он возбуждался по мере того, как говорил. Он улыбнулся мне и продолжил:

— Но по утрам, когда все в доме спят, я не сплю, а думаю. Я всё время думаю. Я смотрю из окна на голубое небо и думаю, почему оно голубое, а не зелёное? И что позади неба? Звёзды? Тогда, что позади звёзд? Ещё больше звёзд? А ещё дальше? Еще больше звёзд? Должен быть конец всему этому? Ты видишь, я никогда не плачу, но иногда мне хочется плакать, когда я смотрю на небо, бесконечное небо. Моя сестра, которую зовут Лиза, всегда надо мной смеётся. Однако, хотя она и старше меня на четыре года, она довольно глупа. Она никогда ни о чём не думает. Она любит спать, есть и танцевать. Ты знаешь, я могу не есть. Эти летом, когда матери не было, я не ел два дня. Одна нянечка обычно говорит: «Если ты не будешь есть, то ты умрёшь». Однако я не умер.

Внезапно он вскочил с места, мы сидели на скамеечке, и спросил таинственно:

— Ты хочешь, чтобы я тебе показал?

Он взял меня за руку и потащил за собой.

— Пойдём быстро…. Ты увидишь….

Он увёл меня в заброшенный угол сквера, в который никто не ходил. Руками он раздвинул ветки.

— Взгляни…, — но его слова потерялись, невысказанные.

Я озадаченно смотрел. Между кустов лилий были посажены герани, он посадил их тайком. Но чья-то рука нашла их и вырвала безжалостно с корнем. Он не проронил ни слова. Он просто стоял там, убитый и ошеломлённый. Затем он отвернулся, и закрыв лицо руками, горько заплакал.

Это было начало моего знакомства с Николаем Шторнбургом.

С этого времени мы часто были вместе на школьных переменах, вместе перекусывали и разговаривали. На самом деле, говорил всегда он, а я только вставлял пару слов по случаю. Он очень много читал. Он знал Толстого и Достоевского наизусть и анализировал их удивительно ясно для такого малолетнего мальчика. У него не было друзей кроме меня. Он чурался компании и был погружён, в основном, в свои собственные мысли и чувства. Ничего не интересовало его, кроме идей, которые он впитывал из книг и музыки. Он был прекрасным пианистом. «Я счастлив, — говорил он, — Только когда я играю или слушаю музыку». Но даже в музыке он предпочитал Грига или Скрябина, как будто он сопереживал личную драму композиторов.

Он был сыном очень богатых родителей. Его отец, норвежского происхождения, занимался производством шёлка; а его мать принадлежала к старейшему русскому аристократическому роду; она была очень известна в русской общественной жизни. Они жили на Дворцовой набережной, в самом лучшем районе города. Окна его комнаты выходили прямо на Неву, во всём своём великолепии и огромности.

Не смотря на своё высокое общественное положение, он учился в обычной школе. Николай признался мне, что это было решение его демократического отца, в противовес матери. «Я думаю, он сделал это в пику матушке. Она хотела устроить меня в Правоведческую гимназию».

Хотя мы и были близкими друзьями, я редко бывал у них дома, учась в школе. Я то, что называется, был не вхож. Наши родители были не знакомы. Только после окончания школы, когда он стал студентом университета и начал изучать литературу и философию, я стал частым визитёром в их доме. К этому времени его матушка умерла. Он жил в огромном доме, построенном во время Екатерины Великой, и отремонтированным его отцом. Комнаты были огромные, с высокими потолками и богато отделанными в стиле Людовика Четырнадцатого. Множество слуг и служанок было в его распоряжении. Его отец обожал его и был готов предоставить ему всё, что угодно.

Наши встречи мало чем отличались одна от другой, он говорил — я слушал. Я вспоминаю один свой визит: было послеобеденное время, слуга провёл меня в его комнаты, они были в полумраке.

Николай сидел в глубоком кресле, его глаза были широко открыты и уставлены в пространство. Он молчал, как будто не хотел меня видеть.

— Что с тобой случилось? — спросил я его.

— Ты прервал моё … умирание!

— Пожалуйста, Николай, не умирай, — пошутил я.

— Ты всегда шутишь, — мягко укорил он меня. — В действительности, ирония здесь не уместна. Я читал прекрасную книгу Иоанна Рейнеке «Окружающий мир как смерть». Я советую тебе её прочитать, она подала мне любопытную, неординарную идею. Конечно, ты будешь думать, что это странно, но позволь мне сказать тебе… моя идея смерти…. В реальности смерти нет — только континуум. Жизнь и смерть — взаимно меняющиеся явления. Эта концепция верна. Смерть — это посягательство на гармонию, но гармония всё время нарушается в организме. И человек, каждый человек, как он становиться старше становится наполовину мёртвым, и в его организме нет уже совершенной

гармонии, как в детстве. Поэтому невозможно провести чёткую границу между жизнью и смертью. Ты согласен?

— Конечно, нет. Ты говоришь как писатель, а я — биолог….

Не обращая внимания, он продолжал.

— И поняв это, я решил провести эксперимент — постараться умереть. Я чувствую, что можно искать и найти гармонию в смерти. Не должно быть насильственного умирания. Можно умереть усилием воли, таким образом, что смерть придёт, как победа разума над телом. И сегодня, когда начало темнеть, я уселся в кресле и нечеловеческим усилием заставил себя сконцентрироваться. Я начал чувствовать, как смерть начала вползать всё ближе и ближе. А затем… ты прервал меня.

— Ну, ты меня извини за прерванный эксперимент.

— Но что ты думаешь о моей идее?

— Фантазии противоречивых идей.

Я был почти что груб, но он всё равно меня не слушал. Он был занят своими идеями. Николай был подающим надежды писателем. Он уже опубликовал несколько сильных рассказов и повесть. Но он сам был полон внутренних конфликтов. Однажды он был уже готов сломаться совсем. Я очень хорошо помню сейчас эту ночь, белую, июньскую петербургскую ночь.

В эти белые ночи я сам часто хотел быть слегка интоксицирован мечтами. Мне хотелось верить, что граница между существующим и несуществующим размыта, не существует. Всё понятие времени терялось. Часы остановились — не туман ли их поглотил? И чувство конфликта, вечного ощущения несовершенства человеческого существования удивительным образом исчезало.

Когда Петербург был заколдован белыми ночами, дома казались живыми, и белые улицы, гротескные в тумане, звенели нечеловеческими голосами, которые звучали, как колокольное эхо. И Нева, шёпот быстрой воды, создавали полную иллюзию нереальности. Где-то были шаги, лёгкие и воздушные, смех и мягкий шёпот деревьев, голос золотого сна сфинксов, охраняющих Неву, умиротворённая река во всей её возвышенности.

Ночами всё живое казалось призраками, иллюзорными фантомами, а сами призраки — реальностью. Этими ночами можно было видеть быстродвижущегося, истощённого человека с красной бородой и в лохмотьях, который искал незабвенных героев, которые давно были мертвы и старались ускользнуть от него в толстом тумане воздуха. Это, возможно, был Достоевский, всегда в спешке, всегда в поисках кого-нибудь, кто хочет страдать, и для которого страдание является целью в жизни.

То тут, то там каменный берег Невы перегораживался туманом, и этот сон старого Петербурга перед восходом будет плыть, поднимаясь и падая, и сразу ночные иллюзии будут растворяться, и реальность с её красками и отчаянием будет возвращаться на землю.

Николай повёл меня к открытому окну.

— Теперь, в порядке, — пробормотал он. — В последнее время я терял контроль над собой. Иногда я сижу читаю или думаю, и вдруг внезапно я вижу, что я уже не в своём теле, которое всё ещё сидит в кресле. Моё тело как бы отдельно от меня; а я сам, как бы отдельно от тела. Я различаю отчётливо своё собственное лицо, это гадкое лицо с его детским ртом и большими, безэмоциональными глазами.

Внезапно он остановился и открыл окно на балкон.

— Давай выйдем, сегодня я чувствую себя в торжественном настроении. Я думаю, что я уладил все проблемы, какие мучили меня все эти годы. Я и общество. Я и человеческий род. Жить одному — нелёгкая задача, так как во мне существует огромная тяга к человеческому контакту, к любви, к выражению моих скрытых эмоций. Тем не менее, есть непроницаемый барьер между мной и человечеством. Я приложил много усилий, чтобы разрушить его, но эта стена во мне, она есть часть меня самого.

— Ты очень погружён в себя, — заметил я.

— Да, но почему? Я ищу истину в жизни, в моей жизни. Я не согласен с течением жизни, как человек с улицы, как мои соседи, и как даже ты. Меня мучают проблемы существования. Я не могу найти ответа ни в книгах, ни в жизнях других людей. Для меня человеческая жизнь ничто иное, как суета сует. Он живёт, работает, борется, страдает или предаётся удовольствиям. В тридцать пять лет или даже раньше, он скрыто обеспокоен вопросом смерти: через десять-пятнадцать лет он должен умереть. Другие решения ему не даны. Люди среднего возраста: мой отец, моя тётка, мой дядя, твой отец, любой отец обречены на не столь далёкую смерть. Есть ли Высшая Сила, которая предопределяет нашу судьбу? Или существует только космическая бессмысленность бестолковых и бесцельных случайностей, которые управляют всем? Нет ответа на эти вопросы, нет нормального и убедительного доказательства, но человеческий род воспринимает эту ситуацию как норму. Люди как муравьи, но я не могу так, я восстаю против неразрешённой проблемы человеческого существования…. Я очень устал, я истощен, но недавно я стал приходить к частичному решению моего собственного существования.

И улыбаясь, он начал громко и с большим пафосом, как бы

передразнивая самого себя:

— Я клянусь старым Петербургом!

И он поднял руку в направлении тускло мерцающего шпиля Адмиралтейства.

— Я клянусь серым туманом, гранитной набережной Невы, памятью Петра Великого, кто создал этот великолепный город искателей истины. Я клянусь самим городом, который сам смеётся над целым миром, над всем человечеством, и который живёт своей собственной жизнью, жизнью тумана, метелей, жизнью никогда не кончающейся драмы. Я клянусь, что я отвечу на вопрос человеческого существования, я теперь выпьем шампанского и напьёмся.

Двумя месяцами позже Николай пытался убить себя. В это время я был в Севастополе. Я проводил исследование для тамошней морской биологической станции, когда эти новости достигли меня. Я возвратился в Петербург, чтобы найти, что он уже почти оправился после серьёзного огнестрельного ранения в голову и находится уже дома. Я направился к нему.

— Всё ещё жив? — спросил я его не очень вежливо.

— Очевидно, да, — он был спокоен и улыбался.

На каждой стороне головы я заметил небольшое синее пятнышко. Одно было немного больше и овальное, другое довольно круглое.

— Какая была цель этого эксперимента над собой?

— Не сердись, — мягко выговорил он мне. — Я только пытался выяснить, боюсь ли я смерти. Что такого необычного в естественном желании взглянуть в лицо проблеме всех людей?

— Это был довольно опасный эксперимент? — настаивал я.

— Ну и что, если был? Жизнь каждого человека в постоянной опасности с момента его рождения. Тень смерти следует за ним везде: болезни, несчастные случаи, сердце. Однажды ночью я чувствовал себя очень одиноко, беспокойно и несчастно, и я решил, что мне нужен сильный стимул для того, чтобы оживить моё желание к жизни. И я выстрелил в себя…

— Действительно всё очень просто, — я всё ещё был в раздражении.

— Нет, я так бы не сказал, — сказал он мрачно. — Просто не было. Могло бы так казаться, факты просты сами по себе. Я взял пистолет отца, встал перед зеркалом, поднял его к правому виску и выстрелил…. Это всё…. Пуля вышла с другой стороны.

Своим пальцем он коснулся синего пятнышка с левой стороны.

— Они сказали моему отцу, что у меня был один шанс из тысячи остаться живым. Они беспокоились, что я могу потерять

зрение, но я здесь и неплохо себя чувствую, за исключением случайных головных болей.

— Что за глупость! — воскликнул я.

— Это не глупость, — сказал он строго. — Человек имеет право решить свои собственные конфликты. Разве нет?

— Тебе не приходило в голову, что ты мог убить себя?

— Я не знаю… наверно нет, я помню эти минуты довольно чётко. Я стоял перед зеркалом с пистолетом в руке. Несколько часов… может быть, часов. Это казалось часами. Решение было принято, и я знал, что выстрелю. Я стоял перед зеркалом и внимательно рассматривал лицо, которое я там видел. Это было лицо незнакомца. Он был спокоен, хотя некоторая бледность выдавало его внутреннее напряжение. Я думал, вот человек, который скоро умрёт, и всё равно какая-то апатия была на его лице и фаталистическое приятие скорого конца. Я старался думать о жизни, смерти и бессмертии, но вместо этого глупейшие вещи приходили мне на ум. Я вспомнил, что я взял книги, и они должны были быть возвращены. Я решил, что уже поздно, и об этом не надо беспокоиться. Одна весёленькая мелодия, которую я слышал недавно, вдруг закрутилась у меня в голове, и ещё стихи, которые я учил в школе, и утренний разговор с лакеем. И я понял, что моя попытка закончится провалом, что моё подсознание, или что-то во мне старается избегнуть неизбежной конфронтации со смертью. Моё эго отказывалось встретить смерть лицом к лицу. Я был на грани остановить эксперимент, однако, я решил во всяком случае продолжить — я выстрелил. Моя рука была твёрдой, моё лицо неподвижным как маска. Мой ум был пустой, совсем пустой, когда я потерял сознание…., и это собственно всё относительно эксперимента со смертью…..

Скоро после своего полного выздоровления Шторнбург уехал из Петербурга, и больше года я ничего не слышал о нём. Однажды он позвонил мне и попросил прийти. Я нашёл его в мрачном настроении.

— Я наелся…, — провозгласил он резко.

Я узнал, что он путешествовал от монастыря к монастырю. Он посещал отшельников в Соловецком монастыре и оставался с ними в течение месяцев, сутками голодал с ними, стремясь найти покоя для души. Он был тощий, бледный почти пропащий.

— Они просто в бегстве, — сказал он. — Они не хотят смотреть в лицо трагедии жизни…. Нет мне ответа кроме сумасшествия.

А затем случилось чудо. Маленькое, незначительное происшествие разрушило его внутреннюю изоляцию от внешнего мира. Был холодный день в марте. Улицы города были покрыты

льдом, и было очень скользко. Даже лошади, которые везли повозки и сани, падали и не могли подняться. Николай был на Александровском мосту, просто наблюдая людей, «которые копошатся как муравьи». Истощённая, старая лошадь, тащившая тяжёлую телегу, поскользнулась и упала. Разозлённый извозчик начал хлестать беспомощное животное. И вдруг, как будто проснувшись от долгого сна, Николай потерял своё обычное безразличие и индифферентность. Он как сумасшедший подскочил к извозчику и сбил его с ног. Он подбежал к несчастной лошади и обнял руками её шею, и больше он ничего не помнил. В сознание он пришёл только через два часа в больнице. Когда я видел его этим же вечером в его доме, он уже был счастливый и улыбающийся.

«Это чудо», — сказал он, — «Что-то во мне, что держало моё внутреннее эго в заключении, разрушено. Я потерял мои страхи, мои комплексы, мою горечь. Однако, в отличие от Ницше, который кончил в сумасшедшем доме после аналогичного шока, я здоров. Чудо, но в отличие от Ницше, я психически здоров».

И это, действительно, оказалось чудо психологического парадокса. Николай возвратился к своей литературной работе и стал более общительным. Он уже не был таким антисоциальным как прежде. И теперь, через два года, он влюбился в девушку, а так же влез в коммунистическую активность. Этот человек, которого я очень любил, но который, если и был нормальным человеком, но был, во всяком случае, неизлечимым невротиком или даже психотиком. Испорченный сын богатых родителей, не осведомлённый в политических делах, он вдруг становится лидером левой социалистической партии, ярым сторонником и подвижником коммунизма и врагом демократического правительства. Я решил увидеться с ним и постараться сменить его политическую ориентацию.

Он был рад меня видеть, и мы провели вечер, вспоминая старые времена, нашу гимназию и наших учителей. Он имел весёлое, и даже возвышенное настроение, свободно признаваясь в своей любви к Ольге и свою переполненность этой эмоцией.

Он не был настроен обсуждать его политические убеждения и бесконечные политические ссоры с ней, так как она была против коммунистов. Когда я настоял и попытался поставить под вопрос правильность его коммунистических убеждений, он стал раздражённым и почти рассердился.

— Я бы предпочёл это не обсуждать. Я хотел бы, что бы мы оставались хорошими друзьями. Но если ты хочешь…. Я только могу повторить, что я сказал вчера. Я верю в ленинскую доктрину. Я верю, что он приносит новый мир страдающему

человечеству. Я следую ему с открытым разумом, хотя ещё формально и не вступил в большевистскую партию. Я поддерживаю его искренне и с энтузиазмом.

— Ты соображаешь…, — говорил я, стараясь переубедить его, — Что все эти их лозунги — это умно замаскированная демагогия?

Но он отказался слушать, он отказался спорить в той области, в которой он мало понимал.

— Почему ты отказываешь мне в праве иметь иллюзии, даже если они всего лишь иллюзии? — вспылил он.

Я пожал плечами: «Хорошо, больше не будем обсуждать политику, но я тебя предупреждаю, что ты дорого заплатишь за свои иллюзии». Затем я обратился к более нейтральным темам.

У меня не было возможности видеть его в следующие три месяца, но я слышал об его огненных выступлениях на разных митингах. Вместе с Камковым и Штейнбергом он внёс огромный вклад в победу коммунистов в России. Его искренность, его энтузиазм, его безграничная вера в Ленина привлекала тех, кто ещё готов был оказать поддержку Временному правительству. Без таких бескорыстных попутчиков, как Николай, победа коммунистов вряд ли была бы возможна, говорят сами историки коммунистической революции.

Прошло два года, медовый месяц союза коммунистов и левых социалистов кончился. Камков и многие другие исчезли в советских тюрьмах. Другие, более умные или везучие, бежали из полицейского государства, организованного Троцким и Лениным. Немного осталось в живых соратников, которые прятались под чужими фамилиями и надеялись найти утраченную свободу за границей. Среди них был и Николай. Его отец умер, и всё огромное состояние Николая было конфисковано. Обозлённый, он работал в деревне возле Гатчины. Но его обозлённость к коммунизму, нарастающая с каждым днём, никак не была связана с потерей состояния. Он никогда не ценил материальный комфорт. Даже шок, вызванный предательством советских лидеров, которые предали его и его друзей, помогавших сбросить демократическое правительство, не был причиной его ненависти коммунистов. Он так понимал, что это всё уже дело прошлого. Его острая, часто непереносимая обозлённость была вызвана отсутствием Ольги. Он потерял все её следы в первые дни Октябрьского переворота. В то время как месяцы проходили без известий, его любовь к ней становилась растущей проблемой. Он ни о чём не мог больше думать. Он пытался найти её — напрасно. Её брат был в Крыму, но её не было с ним. Только к концу второго года он узнал, что она бежала в Архангельск, и работает

медсестрой в одном из госпиталей Красного Креста.

Они были разобщены тысячью с лишним километров, и везде бушевала гражданская война. Однако норвежская наследственность Николая внезапно проявила себя со всей непостижимой силой. Он покинул деревню, как был, без денег, без одежды и пошёл на север. Поездом он добрался до Вологды. Зима была свирепой. Поезда ходили со скорость черепахи из-за отсутствия топлива. В городах был голод. Тюрьмы были переполнены. Могилы были повсюду. Кресты сбивались наспех. Иногда ночью тёмные фигуры проникали на кладбища и уносили кресты на дрова. А потом полыхающий огонь печек слизывал с крестов фамилии Ивановых, Петровых и других бесчисленных русских неизвестных.

Николай добрался до Вологды порядком истощённый. Теперь перед ним стояла более трудная задача: переправиться через линию фронта в направлении Архангельска. Только узенькая полоска рельсов соединяла город с городом. По обе стороны рельсов стояли непроходимые бесконечные леса, заваленные снегом. Деревни были редки. На одном из таких железнодорожных перегонов, на полдороге между двумя городами, с боков лес; напротив друг друга стояли две армии — Белая и Красная.

По малейшему подозрению, иногда по недопониманию, захваченные гражданские расстреливались на месте. Николая, идущего по лесу на лыжах, обнаружил красный патруль, когда тот перерезал колючую проволоку. Патруль запутался в проволоке, а Николай с помощью ясной ночи и звёздного неба продолжил своё бегство. Тем не мене, два преследователя увязались за ним. Они шли за ним по пятам. Возможно, что они были северяне, привыкшие к непроходимым заснеженным лесам. Несколько раз Николай менял направление, уходя всё дальше и дальше от железнодорожной линии. Хотя преследователи настигали его, он не сомневался, что он успеет перейти линию фронта, но он провалился в медвежью берлогу. Теперь преследователи были совсем близко. Прогремело несколько выстрелов, и обожгло руку. И не думая останавливаться, он ускорил темп и выскочил на маленькую поляну. Эта яркая поляна произвела на него впечатление, которое он не забудет никогда. В бреду, много дней спустя после блуждания в лесах, он будет кричать: «Снова поляна, снова поляна, снова поляна, и снова…».

Снова выстрелы, они вырвали клочья из его полушубка. Непроницаемый лес теперь скрыл его от преследователей, но он потерял ориентир….

Он не считал дни. Он съел последний кусок хлеба. Он ел

снег, быстро и жадно. Однако он не чувствовал усталости. Он был в состоянии возбуждения. Все его мысли были об Ольге. Эти мысли были сильнее его и гнали его вперёд через лес. Ему казалось, что с каждым днём его силы удваиваются, утраиваются, что он идёт на лыжах всё быстрее и быстрее.

На шестой день он столкнулся с медведем. Медведь был истощён и в полудрёме. Человек и зверь смотрели друг на друга: тощий человек, небритый и с глазами сумасшедшего; и зверь, хитрый и сонный. Медведь недовольно порычал и поплёлся прочь в глубь леса. Человек ещё стоял какое-то время и затем, позабыв о встрече, тоже продолжил свой путь.

Теперь он был на нейтральной полосе, он все время держался северо-запада, скорее инстинктивно, чем в силу логики. На седьмой день сломалась одна лыжа. Теперь они были бесполезны, и он выбросил лыжи прочь. Теперь он пошёл без лыж. На десятый день он еле одолел сто шагов. Он не шёл — он полз, он падал каждые несколько минут. Но ему казалось, что он идёт очень быстро, что деревья и поляны, и сугробы проносятся мимо. Ему было важно найти Ольгу.

Он достиг предела физических сил. Более не способный двигаться, он лежал в снежной яме. У него была лихорадка от заражения раны и от сильнейшего перенапряжения. У него был сон или бред. Он кричал. Ему казалось, что она рядом, всего лишь в нескольких шагах.

С наступлением темноты силы немного возвратились к нему, и с той же неудержимой неукротимостью он пополз снова. Погода стала мягкой, и это спасло его от неминуемой смерти. Теперь он думал, что Ольга прячется за старой сосной в соседнем лесу. Это была галлюцинация. Совершенно теряя рассудок, он дико закричал: «Ольга! Ольга!». Эхо смеялось над ним, но также добавился и голос незнакомца, спокойны и очень грубый: «Чего ты тут разорался? Какую Ольгу ты тут ищешь? Ты что напился или что?»

Николай был обнаружен белым патрулём около железной дороги. Потрясающе! Они принесли его именно в мой госпитальный пункт, находящийся всего лишь в версте.

Две недели он был без сознания и в бреду, температура поднималась больше 42 градусов: скелет, изможднный до неузнаваемости. Но как только по моей телеграмме приехала Ольга, он начал потихоньку поправляться. Они были обвенчаны старым сельским священником прямо в госпитальном пункте. У Николая не было времени толком поговорить со мной; в действительности, он даже игнорировал моё присутствие. Оживший, он всё время болтал с Ольгой, которая простила ему

прошлое увлечение коммунизмом. «Он дорого заплатил за свои заблуждения», — сказала она мне, стараясь оправдать Николая.

Они покинули северную Россию на английском корабле. Последний раз я слышал о нём через несколько лет поле их отъезда. Они приобрели птицеферму во Франции, где-то в районе долины Вар, и у них трое маленьких детей. Он занимается ребятами и цыплятами, а она работает медсестрой в местной больнице. Мне сказали, что они очень счастливы.

Путник

Было начало лета. Ночи снова стояли белые. Опять я чувствовал беспокойство и внутреннее неудобство. Я чувствовал остро, что я — путник, без места на этой земле, одинокая ищущая душа. Является ли жизнь на земле — цветы и птицы, счастливый или несчастный человек, маленькие и большие существа, могущественные или забытые люди — всего лишь физико-химическим фактором, определяемым чистой случайностью? Является ли жизнь на земле ничем, насмешкой, муравьеподобной активности? На первых курсах университета я был полон внутренних конфликтов.

Научные проблемы, противоречивые в своих постулатах и выводах, тоже не давали мне ответа. Наука была неспособна объяснить мне смысл моего существования. Я остро ощущал себя незначительным муравьём, малюсенькой молекулой, брошенной в водоворот человеческих случайностей.

Мне бы не хотелось встретить ещё одного такого путника, как я. Я хотел одиночества, изоляции от всего и всех, что напоминало бы мне о человеческом существовании. Я был в специфическом настроении: всё, что было частью обыденной жизни, вызывало моё отвращение. Есть, спать, говорить — всё было надоевшим. Я был молодым и полностью погружённым в свои мысли.

Уже было за полночь, но было светло как днём. Одинокие фигуры, наподобие меня, бродили по берегу Невы. Многие страстно желали человеческого общения, чтобы сбросить с себя тяжкий груз внутренних переживаний. Некоторые, в отличие от меня, были не настроены к общению.

Я шёл вдоль набережной Невы. Я прошёл величественный Зимний Дворец и вошёл в Летний сад. Город, такой шумный в дневное время, спал. Только страдающие души, призракоподобные фигуры появлялись и исчезали в молоке тумана. Воздух был наполнен шёпотом голосов, недосказанными словами, вдохновением и невыносимой печалью. Или это только мне казалось?

Я нашёл скамейку, пустую скамейку позади узкого Летнего канала. Туман здесь был плотнее. Старые липы были укутаны туманом. Я закрыл глаза, было некоторое слабое движение в воздухе. На мгновение мне показалось, что я один на земле. Я открыл глаза: рядом со мной сидел человек, он улыбался, но казался обиженным. Я не был расположен говорить с кем-либо; у меня не было настроения слушать чьи бы ни было жалобы об утраченных иллюзиях и о ничтожестве человека.

Однако он улыбнулся ещё раз, и его улыбка была застенчивой и скромной. Незнакомцу было за тридцать. С короткими, не очень русыми волосами. Чисто выбритый, с бледно-голубыми глазами, которые я разглядел позднее. Красивый человек с высоким лбом и сильным, чувственным ртом.

— Мне кажется, что я вас знаю.

— Я сомневаюсь в этом, — ответил я.

— Лекция о смертности человеческого тела, всего несколько дней назад. Сергей Метальников председательствовал в Биологической Лаборатории.

— Да, — я всё ещё не мог его припомнить.

— Ваше замечание. Интересный постулат. Смертность человеческого тела, состоящего из бессмертных клеток, происходит от слабости эндокринной системы. Воодушевляющий подход.

— Только теория.

— Конечно, конечно…

Он вынул из кармана сигареты и предложил мне.

— Старение! Может быть, оно более комплексно? Укорочение костей, атеросклероз, мышечная дистрофия. Все ли из этих признаков контролируются гормонами?

— Почему бы и нет? Мы знаем столько мало об эндокринной системе.

— Согласен.

В течение нескольких минут мы сидели молча и курили.

— Вы студент медик?

— Нет, я студент университета по физиологии. А вы?

— Было глупо с моей стороны сразу не представить себя: Генри Бартельс, врач.

— Бартельс, Бартельс, — пробормотал я. — Вы, часом, не ассистент по психиатрии в клинике Бехтерева?

Он кивнул.

— Вы специализируетесь на физиологии мозга. Метальников сказал мне. Он сказал, что вы опубликовали интересную статью совсем недавно.

— Ничего особенного.

— Расскажите мне о вашей работе.

Он отрицательно закивал головой:

— Не сейчас, я не в настроении, — он поднялся.

— Я желал бы поговорить с вами дольше. Будем друзьями. Приходите завтра около двенадцати ночи, на этой же скамейке.

Он растворился в тумане, быстро уходя по направлению к реке.

Это было началом нашей дружбы, если это можно назвать

дружбой между нами. Мы никогда не встречались по другим поводам, он не приглашал меня домой, он никогда не спрашивал меня о моём доме, как будто между нами была стена, которую нельзя было преодолеть. Однажды, много позже, он признался: «Мне нужно было с кем-нибудь поговорить, слушатель без близкой привязанности ко мне. Высказать вслух то, что глубоко сидит в моём подсознании».

Мы встречались летом в парке или на скамеечке, на берегу Невы. Осенью и холодной зимой мы встречались в маленьком кафе на Садовой улице. Он всегда сам назначал встречи, звоня мне по телефону. Он говорил мне о своих мыслях, внутренних конфликтах, эмоциональных проблемах. Позднее он был вовлечён в трагическую историю, о которой много говорили в медицинских кругах Петербурга. Я был единственным, которому он искренне рассказал, через что ему пришлось пройти в связи с этой историей.

Я находился под впечатлением и даже был польщён моей дружбой с ним, человеком гораздо старше меня, учёным с хорошей репутацией; человеком, глубоко понимающим человеческую природу. Его влияние на меня было сильным и длительным. Парадоксально, но это благодаря нему, я потерял весь свой интерес к самосозерцанию. Странно, но именно общаясь с ним, я лишился привычки самокопания. И каждый раз, возвращаясь после разговора с ним, я делал записи о том, что он мне сказал. Эти записи я сохранил на долгие годы.

Он никогда не жестикулировал руками, разговаривая со мной. Он смотрел прямо мне в глаза, как будто стараясь читать мои мысли.

— Да, — сказал он, улыбаясь, когда мы назавтра встретились с ним в саду на скамейке. — Да, я пытаюсь читать ваши мысли. Я работаю над телепатией, но не совсем над телепатией, этот термин недостаточно корректен.

И он объяснил, что если электрические, мозговые волны у двух людей схожи, то он могут читать мысли друг друга.

— Это требует огромной концентрации, что можно добиться только тренировкой.

Запутанный и немного раздражённый я пробормотал:

— А я не могу читать ваши мысли?

— Когда-нибудь сможешь.

— О чём я сейчас думаю?

И я начал думать о своём отце и его недавней болезни, которая приковала его к постели. Бартельс закрыл глаза, несколько минут он был в молчании.

— Твой отец, ты беспокоишься за его ревматизм.

Я кивнул.

— Мы часто говорим о сродстве людей. Я нашёл, что это сродство основано на совпадении электрических, мозговых волн. Между нами есть сродство, не полное, но есть. Я почувствовал это ещё вчера, когда мы встретились в первый раз. Я был рад, это разумная основа для дружбы и взаимного понимания, или, если вы позволите, для сродства.

Странный человек, подумал я.

— Нет, — засмеялся он. — Я не странный, просто научный подход. Просто научный подход к человеческим отношениям: между мужчиной и мужчиной, или между женщиной и женщиной. Вы часто чувствуете себя одиноким, не правда ли?

Я опять кивнул.

— Ваше одиночество идёт от вашей погружённости в себя. Поэтому вы не способны чувствовать других людей и найти того, у кого похожие электрические волны. Вы не способны понять свои мотивы и вашу потребность в сродстве с другими людьми. Большинство психиатрических отклонений является результатом отчуждения от других людей.

— Возможно вы правы, — сказал я.

Мне это было неприятно, меня раздражал анализ моего внутреннего я. Он, как бы чувствуя это, переменил тему.

— Пересечь время — вот достойная проблема для человеческой интуиции. Сродство человека к человеку основано на смутном и ненаучном термине — интуиция. Настоящее — это часть прошлого и основа для будущего. Наши предки оставили нам в наследство не только наши кости, цвет волос или глаз, или структуру мозга, но и ещё что-то, что я называю интуитивным комплексом.

Я улыбнулся.

— Вы правы, это ненаучный термин, однако, оставим как есть. Я часто думаю о великих людях прошлого. Думаю, с кем бы из них у меня могло быть сродство? Меня интересует сильное, во многом сходное сродство чувств. У меня часто бывают до боли реальные сны. Я живу в древней Греции, Я вижу Демокрита, я присутствую при встрече Демокрита и Гиппократа. Один из них — мечтатель, как я, другой — практический врач. Демокрит жил в Абдере, что довольно далеко от Афин. Он был уже средних лет. Его считали, кто — эксцентриком, кто — сумасшедшим. Поэтому друзья вызвали к нему Гиппократа, который к этому времени был уже знаменит. Таким образом, наш отец медицины пошёл в Абдеру и имел длительную беседу с нашим эксцентриком.

Я слушал с большим вниманием эту научную импровизацию.

— Вы можете представить себе, как они битых три дня обсуждают атомную теорию Демокрита? А его теорию, что человеческая душа состоит из атомов? Гиппократ возражал. Его диалектический ум отказывался принимать эту фантастическую теорию. Он очень торжественно спорил с Демокритом. Демокрит, который ко всему относился с юмором, защищал свою теорию. Через сотни лет моя теория получит подтверждение, говорил он.

С Демокритом бы я говорил на одном языке, но я не имею сродства с Гиппократом, и мы были бы чужие друг другу.

Мои встречи с Бартельсом были всегда событиями для меня. Он был настоящий учёный, с ищущим умом, с воображением, погружённый в научные исследования. Он знал всё, что было открыто в неврологии и психиатрии, включая иностранные публикации. Это он сказал мне о Фрейде и его, тогда сенсационном, учении. Бартельс не соглашался с Фрейдом. Он рассматривал Фрейда, как одностороннего учёного, готового не обращать внимания на противоречивые факты ради полноты своей навязчивой теории, — если мы примем фрейдистскую теорию, то получается, что человеческое существование не имеет смысла и цели. Оно бесцельно. Однако мы знаем из всей эволюции и, в частности, из духовной эволюции, что во всём есть цель: в видах, в особях.

Несмотря на его ко мне дружеское поведение, я никогда не был убеждён, что он, в действительности, привязан ко мне. Я всегда чувствовал, что я ему, как подопытная морская свинка, объект психологических и телепатических наблюдений. У него не было других друзей, с которыми он мог бы говорить свободно. Однажды я спросил его, одинок ли он. Он лишь добродушно усмехнулся.

— Мне не нужны друзья. Целый мир, его прошлое и настоящее — мои друзья. Мне не нужна любовь — наука моя любовь, моя вечная любовь, которой посвящена моя жизнь.

— Но женщины? — спросил я.

— Может ли женщина воодушевлять так, как наука? Такая не существует и не может существовать.

Я узнал, что ему 32 года и что он из Киева, где жили его родители. Его отец был врач и человек, подходящий ко всему с юмором. Бартельс видел родителей редко, пару раз в год, когда ездил в Киев тоже на пару деньков. Его родная сестра была замужем за его школьным товарищем, тоже врачом, ассистентом Киевского института микробиологии. Однажды он признался мне:

— Я всего лишь прохожий на этой земле. Я иду по жизни наблюдателем, меня не трогают человеческие трагедии и боль, и…, — добавил он, улыбаясь, — счастье».

Я протестовал:

— Как может теплокровный человек идти по жизни прохожим, наплевав на человеческие страдания?

— Только таким образом можно пересечь пространство и время. Человек, вовлечённый эмоционально в жизни своих друзей и соседей, является жертвой случая. Он принадлежит к настоящему, каждодневному существованию; он потерян в мелочах, издёрган человеческим действиями и противодействиями. Он раб событий. Только человек, свободный от привязанностей, индиферентный ко всему, и который сам ни в чём не участвует; может чувствовать себя личностью, человеком. Только человек, который успешно пересекает пространство и время, понимает своё предназначение — предназначение свободного человека. Человек может созреть только в нетронутом человеческим делами состоянии.

Я был запутан таким объяснениями, и ещё более — выводами, которые из этого следовали. Я спросил его:

— А ты сможешь остаться наблюдателем на этой земле?

— Я уверен, что смогу, я уже владею этой техникой.

Скоро я узнал, что он трагически заблуждался.

* * *

Был декабрь. Жестокие холода поглотили город. Полутораметровый снег покрыл улицы и крыши домов. Я доехал до кафе «Полтава» на трамвае. Бартельс передал, что мы должны встретиться. Это было маленькое кафе недалеко от Невского проспекта, часто посещаемое артистами и писателями. Тихое место, без распития и музыки. Я нашёл его в углу за столиком. Увидев меня, он поднялся и горячо потряс мою руку. Он никогда до этого так не делал. Он был, очевидно, возбуждён, его обычно недвижимые руки беспокойно двигались. Он заказал шампанского, и это ещё более удивило меня, так как он обычно не пил ничего кроме пива, одну-две кружки. Как только принесли шампанское, он начал говорить быстро, как в спешке. История, собственно, не была необычной, за исключением того, что касалась его лично.

Две недели до этого он был на благотворительном балу для медицинских студентов, который проходил в Большом зале здания Дворянского Собрания. Ему было скучно. Стоя у задней стены, и наблюдая танцующую толпу, он ругал себя за то, что пришёл сюда. Он уже повернулся, чтобы уйти, как натолкнулся на своего коллегу доктора Майкова, который был не один. С ним

были две женщины: жена, которую он уже встречал, и другая женщина.

— Леонила Денисьева.

Майков представил его.

— Её муж, ты знаешь его, конечно, профессор Денисьев.

Профессор Денисьев был наиболее ненавистным и презираемым членом преподавательского состава. Одинаково грубый и с пациентами, и с коллегами, он был, однако, известным хирургом с большой практикой. Денисьеву было за 60 лет, и студенты за глаза звали его «мясником». Оперируя на больных, он не обращал внимания на их боль и страдания. Тем не менее, он был отличным хирургом, и его операции часто были блестящими. Бартельс смотрел на жену Денисьева. Их глаза встретились. «Да, да», — прошептала она.

— Это была фантастика, невероятно, — восклицал Бартельс, говоря об этой встрече с Госпожой Денисьевой. — Она читала мои мысли!

Я был скептичен:

— Слово «да», ещё не значит ничего.

— Ты не знаешь, — заявил он. — Она читала мои мысли, а я читал её мысли. Было сродство…. Я никогда никого не встречал, женщину или мужчину, с таким явным подсознательным сродством.

Он был в замешательстве. Он! Во время встречи с ней он не был способен произнести и слова и смотрел на неё как на привидение. Их молчание внезапно прервалось появлением мужа. Не обращая внимания на Майкова или Бартельса, он грубо сказал жене идти с ним домой и, взяв её за руку, просто толкнул её к выходу.

— Отвратительный грубиян, — заметил Майков.

Бартельс охотно согласился.

— Они женаты шесть лет. Она очаровательна, не правда ли? Шведского происхождения, я слышал. Её отец — начальник на текстильной фабрике Честера в Петербурге. Она была до этого замужем за каким-то преподавателем, который умер от тифозной лихорадки. Ей где-то чуть больше тридцати, а может быть и меньше.

Десять дней после этой встречи Бартельс собирался с духом, чтобы позвонить ей. Он этого не сделал. Для него было невозможным звонить замужней женщине и жене его коллеги. Его ум был пуст, и подсознание тоже молчало. Не было возможности с ней встретиться, и он готов был уже допустить, что он ошибся. И вдруг в один прекрасный день, очень поздно, в десять часов вечера, раздался стук в его дверь. Такой скромный стук. Он

открыл дверь — и там она стояла.

— Почему ты мне не позвонил? — спросила она.

Он не ответил, так как не хотел допустить свою робость.

— Снимайте, пожалуйста, пальто.

— Нет. Я пришла сюда…. Я не знаю почему, только на минутку. Я должна идти.

— Пожалуйста, останьтесь, — умолял он.

— Не сегодня. Следующий понедельник. Фёдор уедет в Москву на хирургическую конференцию. Я приду в восемь вечера. До свидания, — добавила она по-французски.

Она ушла также быстро, как и пришла.

— Очень хорошенькая, — Бартельс смотрел на дело воодушевлённо. — Но это не имеет значения. Она хорошо образована, училась в Смольном институте и специализировалась на французской литературе. Леонила такая чувствительная. Необыкновенная женщина, не правда ли? У нас столько общего.

— Она пришла в понедельник как обещала? — спросил я.

— В понедельник? Да, и на следующий вечер. Как она могла выйти замуж за этого варвара?

Они стали любовниками. Это была пылкая любовь. В следующие три года, когда я редко видел его в кафе, он только и говорил мне о ней и об них двоих.

— Она не часто ко мне приходит, не больше одного-двух раз в неделю. Она боится его. Когда она со мной, для меня не существует окружающий мир, мы оба пребываем в нирване. Полное отрешение, абсолютный телепатический контакт, впечатляющее сродство подсознательного. Я могу разговаривать с ней на расстоянии, просто концентрируясь на своём чувстве к ней. Я говорю с ней и получаю ответы от неё. Нам не нужно даже писать писем, мы и не пишем. Всё, что я хочу сказать ей, я посылаю через пространство, у нас даже время свиданий совпадает.

Я не верил этим заявлениям.

— Почему так всё остаётся, и она не разводится с мужем?

— Мы не хотим жениться. Мы оба думаем, что поженившись, мы только всё испортим, нашу совершенную любовь. Никто из смертных не испытывал такой любви.

— А её муж, он что-нибудь подозревает?

— Откуда? Мы же не глупые, мы оба очень осторожны. Мы никогда вместе не появляемся на людях.

Он засмеялся.

— Часто она говорит со мной телепатически в его присутствии, когда он занят чтением газеты. Мы возбуждены своей смелостью.

— Её неверность её не смущает?

— Что за нелепый вопрос! Мы: она и я, выше узкомыслящей морали человечества.

— У неё есть комплекс вины? — настаивал я.

— Мой дорогой друг, — усмехался он, — У нас нет никакого комплекса вины. Мы — высшие существа, мы верим в духовную свободу. Мораль — это продукт обычаев и традиций, наложенных обществом, в котором живёт человек. Мы же — дети богини Мойры, которая отвергла все цепи и оковы морали.

— Ты играешь с огнём.

Это было всё, что я мог ему сказать.

Честно говоря, я разочаровался в Бартельсе. Он претендовал быть странником, прохожим, отвлечённым от человеческих дрязг. Теперь же он оказывался вовлечённым в любовь с замужней женщиной, делая при этом странные утверждения по части их обоюдных телепатических способностей.

* * *

Я уже оканчивал университет, когда однажды поздно ночью Бартельс позвонил мне.

Его голос был хмурым.

— Мне нужно с тобой поговорить, мне нужна твоя помощь. Приходи сейчас ко мне домой.

Я колебался. Было холодно, и я очень устал за день.

— Пожалуйста, помоги мне.

— Я не знаю, где ты живёшь.

Я ведь не был у него ни разу. Он дал мне адрес. Я до сих пор помню его: Мойка 68. Он встретил меня на улице, и мы поднялись по лестнице на четвёртый этаж.

— Вот она.

Леонила, которую я никогда прежде не видел, лежала на кровати, тяжело дыша, с полузакрытыми глазами. Увидев меня, она попыталась заговорить, но у неё не получилось: звуки застревали у неё в горле. Я сразу понял.

— У неё инсульт.

— Да, она всё ещё в сознании, но может впасть в коматозное состояние.

— Как это всё случилось?

— Двадцать минут назад она пришла ко мне. Она была возбуждена, я старался успокоить её. Её муж всё про нас узнал. Наверно, он следил за нами, когда она была у меня после обеда. Он беспощадно избил её и выбросил её из дома. Она прибежала

сюда, и вдруг её голос стал хрипнуть. «Я плохо себя чувствую, но не беспокойся, мне скоро станет легче». И вдруг я заметил, что её правая рука слабеет, а левый глаз закрылся. Это был инсульт, сильный инсульт. Мы должны доставить её в больницу, но я не могу сам этого сделать: Денисьев сразу же об этом узнает. Ты должен доставить её в больницу, сказав, что нашёл её недалеко от своего дома. Да… ты должен это сделать. Скажи, что нашёл её на Загородном проспекте недалеко от Невского.

— Как я могу…, — запротестовал я.

Мне не хотелось ввязываться в семейные дела профессора Денисьева.

— Быстро, быстро, каждая минута дорога, — он толкал меня, он настаивал.

Я накрыл её шубой и надел на неё тёплую шапку.

— Подожди минутку, — голос Бартельса снова был спокойным. — Она должна поступить в больницу, как неизвестная, пусть муж забеспокоится, где она.

И он забрал из её сумочки два письма, адресованных ей, и записную книжку.

— Ей потребуются деньги.

И он положил двести рублей ей в кошелёк.

— В какую больницу ты хочешь, чтобы я её отвёз?

По очевидным причинам я был раздражён им.

— Только не в мою клинику. Возьми её в Александровскую больницу, у меня там знакомый невропатолог.

— Почему бы ему не позвонить сейчас?

— Нет, я не хочу, чтобы нас видели вместе, не сейчас.

Еле-еле мы нашли извозчика. Это была старая полузамёрзшая лошадь. Мы ехали до больницы, казалось, целую вечность, в то время как я держал находящуюся без сознания Леонилу на своих руках.

С помощью санитаров мы внесли её в приёмный покой, и дежурный врач согласился, что это экстренный случай.

— Её имя? — спросил он меня.

И я дал ему эту версию, что якобы я нашёл её на улице.

— Она, должно быть, из зажиточных, — заметил доктор. — Соболиная шуба… вы смотрели её сумочку?

— Нет, — сказал я.

— У неё есть все деньги, чтобы заплатить за частную палату и за лечение, а никаких документов нет.

Он обещал тут же устроить палату и обеспечить кислород. В течение нескольких дней она находилась в критическом состоянии без сознания, и только я приходил к ней. Бартельс звонил мне каждый вечер, но приходить отказался.

— Меня знают в этой больнице.

Он так и не позвонил невропатологу, работающему в этой больнице, как он обещал это сделать. Я сам поговорил с ним, это было в тот день, когда Леонила стала постепенно приходить в сознание.

Доктор Шаров, невропатолог, тут же пришёл к ней и воскликнул:

— Леонила Викторовна Денисьева! О, господи! Мы должны срочно звонить Денисьеву!

— Я её не знаю. Я никогда их не встречал: ни её, ни её мужа, — пробормотал я извиняющимся тоном и вышел из палаты.

Когда Бартельс позвонил вечером, я тут же сказал ему, что больше я в этом не участвую.

— Это твоя проблема, и я сделал больше, чем мне бы следовало.

У меня не было дружеского расположения к нему.

— Не злись, я сходил с ума оттого, что с ней случилось.

Две недели ничего не было слышно. До меня дошли слухи, что было жуткая сцена, когда Денисьев натолкнулся на Бартельса в её палате. Денисьев обвинил Бартельса в соблазнении его жены. Бартельс это отрицал: «Наши отношения были чисто платоническими».

В свою очередь Бартельс обвинил Денисьева, что он чуть не убил бедную женщину. Всё кончилось, со слов присутствующей сестры, типично русским образом: муж и любовник пожали друг другу руки и заверили друг друга, что предпримут все усилия, чтобы обеспечить правильное лечение. В действительности, Денисьев признался, что любит жену более всего в своей жизни. Однако он допустил, что бывал ревнив. И кто не будет ревнив при такой красавице жене, намного младше его. Позднее я узнал, что оба они провели вечер в том же самом кафе, где я частенько бывал с Бартельсом. Оба пили шампанское и обсуждали печальную судьбу женщины, которую они оба любили и обожали.

* * *

— Очень интересный клинический случай, — провозгласил Бартельс, когда мы встретились недели через три после трагического происшествия.

— Какой клинический случай?

— С Леонилой, она теперь в сознании, двигает левой рукой и может глотать жидкую пищу. Однако я пока не могу установить с ней подсознательный контакт. Вообще-то, подобие контакта

есть, — поправил он себя. — Но очень плохой. Я проверил её мозговые электрические волны, они нормальные; небольшое отклонение на 350-ом пике, но это не должно влиять на телепатическую связь. Однако связи нет, я пытался связаться с ней телепатически, посылал послания. Нет ответа, тишина. Удивительно, возможно черепно-мозговая травма оборвала каналы подсознательной связи с внешним миром.

— «Возможно, она просто не хочет говорить с тобой, — вставил я.

— Интересный вариант… такое теоретически возможно, а может быть, ты и прав. Интуитивно я чувствую в неё какую-то враждебность.

— К себе? — удивился я.

— Ко мне, представляешь, только ко мне. Она как-то морщиться, когда она меня видит. Когда я хотел дотронуться до неё, она оттолкнула мою руку.

— А с медсёстрами? Она с ними как?

— С ними другое дело, когда они ей помогают, она пытается улыбаться. Откуда у ней эта враждебность ко мне?

— А с мужем?

— А с мужем она ещё более дружелюбна, чем с медсёстрами, — сказал он с раздражением в голосе.

— Она изменилась, в смысле физически? — спросил я.

— Да не особенно, то же обаяние.

— И каков прогноз?

— Прекрасный. Мозговая травма была минимальной. Скоро она начёт разговаривать, и мы ожидаем полное восстановление функции руки.

* * *

Через несколько недель Леонила практически выздоровела, но её телепатический контакт с Бартельсом исчез полностью. Более того, она как будто забыла и не вспомнила, кто он. Она возвратилась домой к мужу, который стал с ней необычайно вежлив, а Бартельс иногда заходил к ним, чтобы поиграть в бридж с хирургом.

Жизнь с отцом.

Революция надвигалась в Петербурге. Она была спорадической: то вроде всё нормально, а то опять — забастовки и стачки. Сначала я мало обращал на это внимания. Мне было пятнадцать лет, и я был погружён в свои собственные мысли. Я очень много читал по истории и философии, на много больше,

чем требовалось по программе. Я был погружён в себя, копаясь в глубинах своего подсознательного мышления, но постепенно революционные события стали отвлекать меня от своих мыслей. Я никогда не думал о себе как о революционере, я был скромный и застенчивый юноша. Я избегал толпы, митингов, громких дискуссий, и меньше всего видел себя в рядах революционной партии. Но это всё произошло, и я нашёл в себе и оратора, и искателя приключений, и человека, готового смотреть в лицо смерти, Я бы назвал это психологическим парадоксом; именно так назвал я всё это через десять лет после революции, сидя за микроскопом в Брюссельском университете. Всегда есть сюрпризы в человеке, даже для самого себя.

* * *

Я почти не помню своего раннего детства. Несколько полустёртых моментов — это всё, что от него осталось. Маленькие окна под крышей, покрытые толстым слоем льда и снега, четыре кровати для меня и моих сестёр, вечный запах краски и отдалённый шум города. И наша няня, старая и толстая, каждый вечер бормочущая длинные молитвы. Только иногда родители поднимались к нам наверх.

Интересно, что я запомнил своего отца, как молодого человека, в то время как мать я помню только стареющей женщиной. Её послесвадебные фото показывают женщину не прекрасную, но привлекательную и с приятной улыбкой.

Мой отец был странным человеком. В определённом смысле, он было типичным русским интеллигентом, однако, он был ещё более разуверившимся и пассивным членом этой группы. Я никогда не смог понять его поведения. Высокий и атлетический, с короткой причёской и рыжими усами, он воплощал само здоровье. Он вообще не знал, что такое больные зубы. Когда ему было сорок пять, он заболел ревматической лихорадкой, и у него стало больным сердце. Именно в это время он начал выпивать в компаниях по разным поводам. Как бы смеясь над своей болезнью, он игнорировал советы докторов, и это, конечно, усугубило его состояние. «Ничего, дружок», — улыбаясь, он отвечал наставлениям своего доктора.

Он любил принимать участие в политических спорах, но никогда не принимал участия ни в какой политической деятельности. Отец говорил, что в детстве он пас коров. Я никогда не обнаружил доказательства этому. Его мать, бедная вдова, жила в маленьком городке в Костромской области, двести

вёрст от ближайшей железнодорожной станции. Это его тётя, сестра его матери, которая маленьким мальчиком привезла его в Петербург и помогла с образованием. Он любил рассказывать, как он шёл пешком в лаптях и с железной палкой двести верст по глухим лесам, где было полно диких животных, таких как волки и медведи. Моя мать не очень-то ему верила и думала, что какой-нибудь попутчик несомненно подбросил его. Во всяком случае, до Петербурга он добрался и поступил в гимназию. Учился он нормально и в гимназии, и на юридическом факультете университета. Когда он закончил, то вдруг отказался от адвокатской практики, а вместо этого поступил на должность в министерство юстиции. Он сразу возненавидел свою работу: бюрократическая канитель была отвратительна всей его натуре, стремящейся к свободе.

Именно в это время умер муж его тетушки. Я тогда был маленьким мальчиком и всё, что я помню, это его огромные белые усы и седые, густые брови. Он был обрусевшим немцем, литографом по профессии, который приехал в Россию из Франкфурта. Эрнст Брандт познакомился с отцовой тётушкой, и они поженились. Скоро он начал собственное литографическое дело, которое выросло в умеренно процветающее современное предприятие. В действительности, они нажили себе состояние, не очень большое, но достаточное для того, чтобы жить комфортно. Движущей силой их предприятия была его жена, волевая женщина, которая руководила всеми финансами. После смерти мужа она быстро приняла решение, что руководство переходит к моему отцу. Это был конец его профессиональной карьеры. Он не был бизнесменом по натуре и скоро подтвердил это на деле. Его сорок с чем-то работников души в нём не чаяли; и он тратил всё своё время, разговаривая с ними о политике, профсоюзах, их семейных делах и обо всём на свете. Скоро и тётушка умерла, и он остался единственным владельцем. Постепенно предприятие пришло в упадок, и долги росли каждый месяц. Мой отец спокойно смотрел на всё на это. Он даже не хотел, чтобы его беспокоили по таким пустякам, как неоплаченные счета. Когда моя матушка, добрая душа, сказала, что надо бы вообще что-то сделать, отец ответил как обычно своим «Ничего, новый заём спасёт нас».

Новый заём не получался, и к тому времени, как мне исполнилось пятнадцать лет, отцу не было чем платить рабочим. «Я смертельно устал от всего этого», — сказал он, наконец, когда кредиторы отказались поставлять бумагу. И нормально так улыбаясь, обратился ко мне:

«Ты уже большой мальчик, Борис, берись за литографию и

спасай своих родителей».

Мне и пришлось, так как у меня не было другого выбора. С этого дня больше отец на фабрике не показывался и редко меня о ней спрашивал. Он был, очевидно, доволен, что с него свалился этот груз. Всё, что он с меня спрашивал, это семьдесят рублей в месяц на его личные расходы ежемесячно. Он стал более спокойным и проводил большую часть своего времени в его большой комнате, читая книги по истории или художественную литературу.

Оглядываясь назад, когда я против моих желаний занимался бизнесом, я допускаю, что это много помогло мне в дальнейшем. Я чрезмерно был погружён в себя и в чтение философских книг в то время. Теперь же я столкнулся непосредственно с земными реалиями. Кредиторы, неоплаченные счета, проблемы с рабочими — и мне было необходимо всё решать в срочном порядке. Девять лет моего руководства поправили положение фабрики и дали мне бесценный опыт. По крайней мере, частично я приобщился к земной жизни, хотя часть меня всё равно витала в интеллектуальной сфере. Позднее, когда, слава богу, коммунисты национализировали все предприятия, я сконцентрировался на научной работе. Я понял, что в своей научной деятельности я придерживаюсь практического подхода, который я приобрёл, занимаясь бизнесом.

Литографическая деятельность оставила след во мне ещё в одном отношении. Мы жили на третьем этаже здания, где располагался заводик. Когда мне стало лет восемь, меня заворожил процесс литографии. Я спускался вниз смотреть, как цветные картинки появляются на бумаге. В это время большие литографические камни импортировались из Германии и вставлялись в печатную машину. Я так никогда и не освоил сложную работу гравировки на камне, но остальным процессом я овладел в совершенстве. Моим учителем был примечательный человек Иван Харитонов, главный литограф нашей фабрики и прекраснейший человек, которого я когда-либо встречал. Мы были хорошими друзьями, хотя он и был на восемнадцать лет старше меня. Он был человек, наделённый добротой. Харитонов был с Севера, типичное русское лицо, тёмно русые волосы и добрая улыбка; он оказал на меня неизгладимое впечатление. Он был социалистом и председателем профсоюза литографических рабочих. С ним я встречался со многими рабочими, мы ходили по домам и решали их проблемы. Отсюда я узнал, что, несмотря на тяжёлые экономические условия, в которых жили рабочие, все они отличались большим чувством сострадания; сострадания к друзьям, к соседям, к родной стране, к родине. Русские не

привыкли жаловаться, особенно северяне, они относятся к жизни фатально, однако, тем не менее, они приняли участие в революции. Ивану Харитонову было тридцать восемь лет, когда он заболел неизлечимой болезнью, у него был рак средостения. Ему ни чем не могли помочь, он задыхался от сдавления лёгких и сердца, однако, он никогда не жаловался. Я был у него почти каждый день, и он говорил мне: «Не волнуйся, дружок. У всего есть свой конец и причина». Он умер через четыре недели после обнаружения болезни. Несколько сот рабочих пришли на его похороны. Это была смерть мужественного человека, и неспособность медицины помочь ему повлияла на моё решение посвятить свою жизнь исследованию рака.

Мой отец был человеком не без чувства юмора. Он имел обыкновение по каждому поводу употреблять русские пословицы и поговорки. Например, когда матушка жаловалась, что она не особенно красива, отец её утешал, говоря: «С лица воду не пить». А когда мы жаловались, что у нас много домашней работы, он отвечал, что «Работа не волк, в лес не убежит». Когда моя старшая сестра Лидия обручилась с секретарём Таиландского посольства, отец, вместо того, чтобы поздравить её, покачал головой и сказал: «В тихом омуте черти водятся». А когда я доложил ему, что на фабрику необходимо купить новые машины, он только сказал: «Тише едешь — дальше будешь». Мы все были обрадованы, когда младшая сестра Наталья собралась выходить замуж за молодого врача Рождественского. Всё, что сказал отец было: «Любовь не картошка — не бросишь в окошко», однако, он улыбнулся и нежно поцеловал Наталью.

Отец не был ленивым человеком, но он был пропитан чувством бесполезности. Успех? Заслуги? Деньги? Безопасность? Он ни в чём не видел смысла и обоснования борьбы за это. Он ел мало, в основном — простую, деревенскую пищу — и в этом смысле отличался от большинства людей среднего класса в России, которые сильно напирали на деликатесы.

Когда он отошёл от дел в сорок семь лет, у него настала монотонная жизнь, но его она удовлетворяла. Бесконечное чтение газет и книг и время от времени стопка водки с маленьким кусочком поджаренного, подсоленного черного хлеба. Человек, не беспокоящийся ни о чём, он был обычно в хорошем расположении духа и любил пошутить. Он не лез ни в чьи дела, когда я или кто-то из сестёр просил его помочь с домашним заданием, он всегда отказывался это делать. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — мягко говорил он. Он был убеждён, что лучший подход к воспитанию — это выработать у ребёнка чувство ответственности и самостоятельности. Они с матушкой никогда

не спрашивали нас об оценках в школе и, возможно, его теория работала в нашем случае.

За столом он всё время обсуждал политические события, однако, ни в чём не принимал участия. Четырнадцать лет он жил такой жизнью и умер, когда я был в Бутырской тюрьме (1921 год); мать сказала, что он умер во сне и с улыбкой на лице.

* * *

В то время как мой отец был из крестьян, мать принадлежал к бедному дворянству и обучалась в Смольном институте благородных девиц. Она была хорошо подготовлена к обеспеченной жизни, но не к такой, которая у неё была с отцом. Добрая и скромная, она покорялась всем прихотям отца. Как-то я спросил её, почему она вышла за него замуж. «Мне было двадцать три года, и на меня смотрели уже, как на старую деву», — ответила она.

Они познакомились через друга, а может быть, это был сводник, распространённая тогда деятельность. Хотя он ей понравился, она колебалась выйти за мужа — не за ровню: вся её родня была против. Но его тётушка, госпожа Брандт, приложила все силы, чтобы их поженить. Однако надежды тётушки ввести отца в круги материных родственников, не оправдались. Отец, наоборот, стал причиной, по которой мы вообще практически не общались с ними. У матери было два брата полковника императорской армии и третий брат, Михаил Верховцев, чиновник Государственного департамента, который позднее был назначен консулом в южную Францию. Когда редко они навещали нас, между ними и отцом всегда возникали политические распри. Они были монархистами, тогда как отец охарактеризовывал династию Романовых, отнюдь не в мягких выражениях. После того, как братья уходили, мать тихо плакала, а отец наоборот чувствовал себя победителем.

Обе материны тётки представляют интерес генетически обусловленного поведения. Одна из них, Александра Серебрякова, вдова отставного армейского генерала и владелица многих домов в Петербурге, была консервативной и очень религиозной женщиной. Всегда одетая в чёрное, она избегала светской жизни и жила в маленькой квартире в её собственном доме, не смотря на всё её состояние. Она не давала никаких вечеров и редко посылала нам, детям её племянницы, праздничные подарки.

Другая тётка была полная её противоположность. Очень

молодой она вышла замуж за владельца компании «Петровской водки». Когда Петров умер в 1904 году, он оставил своей жене Прасковье Степановне Петровой состояние, которое давало ей ежегодный доход в миллион долларов на сегодняшние деньги после уплаты всех налогов. Будучи ограниченной в тратах, когда он жил, она тут же после его смерти начала пускать состояние на ветер.

В её великолепной усадьбе на Загородном проспекте она стала устраивать такие балы, которые прославились на весь город своей роскошью. Дав — три раза в неделю, она устраивала «день открытых дверей»: сотни людей, друзья её друзей, люди вовсе ей не знакомые, заполняли огромный зал. Длинные столы ломились лососем, черной икрой, поросятами на вертеле и другими деликатесами. Вино и водка лились рекой. Балы продолжались с шести вечера до раннего утра. Оркестр играл для тех, кто хотел танцевать; и карточные столы стояли для покера или бриджа. Я был на этих балах всего два раза. Количество еды, потребляемой на этих застольях, было невероятным. Тётушке было за шестьдесят, но выглядела она потрясающе, она казалось мне не старше тридцати пяти лет. Маленькая, худенькая, не тронутая сединой, одетая по последнему писку парижской моды, она циркулировала между гостями, как бы в состоянии эйфории. Как и у Екатерины Второй, у неё была масса любовников, в основном молодые люди, которых она меняла как перчатки. Поговаривали, что многие действительно любили её, хотя в отличие от Екатерины Второй, она не делала своим любовникам дорогих подарков.

Это было в мой последний визит в её дом, когда случился этот трагический случай, и молоденький армейский лейтенант застрелил себя в её присутствии, обвинив её в том, что она предала его любовь. В это время её было уже почти семьдесят. Её управляющий, Антон Давыдов, давно предупреждал её, что она живёт не по средствам. Её ответ был кратким: «Ну и что, жизнь коротка». И продолжала кутить на полную катушку. Парадоксально, что она умерла за два месяца до революции и конфискации, спустив всё состояние без остатка. Всё её имущество было продано за долги. Один только её гардероб составлял сотни платьев. Она завещала нам несколько тысяч рублей, которые из-за долгов получить было просто нельзя.

* * *

Не смотря на особенности поведения моего отца, мы вели

жизнь нормальную для среднего класса в России. Мы ходили в гимназию. В гимназии было девять классов, с одним приготовительным, куда принимали с семи лет. Обучение было раздельным для мальчиков и девочек. Учебный год не был разбит на семестры, и в конце каждого года были экзамены. Выпускной диплом был равнозначен французской степени бакалавра. Этот диплом давал право на поступление в университет. В России, как и в большинстве европейских стран того времени, не было системы колледжей. Я ходил в Пятую классическую гимназию, три квартала от дома. А гимназия моих сестёр была немного дальше. Я до сих пор вспоминаю, как тёмным, зимним утром я бегу в гимназию вдоль канала, то и дело падая в глубокий снег. Мы редко ходили домой обедать, проводя всё время на игровой площадке. Бутерброд или два, и бутылка молока были нашим обычным обедом. Сделав домашние уроки, мы вчетвером шли кататься на каток. Это было самым любимым занятием детворы. Летом мы обычно снимали дачу на берегу Финского залива. Купания, катание на лодке и игра в теннис были обычным времяпровождением дачников.

Моя старшая сестра Лидия, высокая, стройная блондинка, весёлая и очаровательная, пользовалась большим успехом среди юношей. Она часто собирала вечеринки с танцами и играми в нашем доме. Мои младшие сёстры-близняшки и я, жили более сами по себе, углублённые в свои занятия. Утром в воскресенье мы все шли в близлежащую церковь, а на Пасху или Рождество поп сам приходил к нам домой, благословить нас и выпить стопку водки, как это было принято. Я не думаю, что жизнь семьи нашего среднего уровня, отличалась от жизни семей где-нибудь в Москве или даже Париже, Берлине или в Нью-Йорке. Это было в годы, предшествующие большевистскому перевороту.

* * *

В то время как моя жизнь в семье протекала обычно, я начал втягиваться в революционную деятельность. Внутри семьи я не распространялся. Это было время, когда я сформировал своё представление о демократии. Моё личное общение с рабочими и влияние Харитонова выработали у меня убеждение о демократии, не как о политической системе, а как о более духовном отношении между людьми, наподобие христианского понимания. Все люди одинаковые, и не должно быть комплекса личного превосходства, свойственного развитым демократическим странам. Если в этих западных странах нет духовного смирения,

то они не имеют права называться демократическими странами. Понятие их собственного социального превосходства является их глубоко укоренившимся злом. Раздутое социальное самомнение составляет отличительную характеристику стран Запада. Их безудержное самовосхваление и самовыпячивание разбивает всё наши мечты о демократическом государстве. Демократия не может существовать как система без пропитанных демократическим духом людей. Здесь — суть трагедии всех нас, людей, которые боролись за демократию. Этот взгляд на демократию только укрепился в течение моей жизни. Этот взгляд родился в старом Петербурге, и отражает интимную мечту этого великого города, которой не дано было осуществиться.

Мой арест и тюрьма

Два раза в неделю после уроков я бежал по заваленным снегом улицам Петербурга. Зимние дни были коротенькие, и к четырём часам темнота уже поглощала ледяные переулки. Я бежал, как одержимый, боясь опоздать на собрания в доме моего учителя истории. Я гордился приглашением посещать эти вечеринки, куда, как правило, приглашались только старшеклассники. Для меня, пятнадцатилетнего мальчика, дискуссии в доме Часкольского были открытием. Они открывали мир новых идей.

Длинный обеденный стол был уставлен тарелками с бутербродами, горячим чаем и вареньем, в центре стоял тихо кипящий самовар. Дюжина мальчиков, жадно вслушивались в слова нашего учителя, и не менее жадно поглощали бутерброды и пирожные. Он называл эти собрания «воспитанием демократии», для меня это было ещё большим. Моя вся философия жизни и понятие о человеке развились из этих собраний, и они навсегда остались в моей памяти.

Часкольский был, можно сказать, человеком даже радикальных устремлений, «идеалистическим революционером». Для него демократические идеалы были не просто идеалами, для него это было религией. Он считал, что если демократические принципы насильно ввести глобальным образом, то можно достичь вечного мира. В тоже время, он считал, что посягательство на человеческие права — это оскорбление человеческого разума. Что бы он не обсуждал: демократию Афин, Французскую революцию или Американскую конституцию, он постоянно подчёркивал, что политические свободы являются предпосылками экономического прогресса.

Вообще-то, он был преподавателем истории Петербургского

университета, а также брал часы в нашей гимназии. Для него история была непрерывной борьбой между демократией и недемократией. «Эта борьба будет продолжаться столетиями, — предупреждал он нас. — Но не беспокойтесь, конечная победа будет всё равно за демократией». (?)

Он был противником марксистов, он обсуждал с нами работы Карла Маркса и читал страницы из «Капитала» и других произведений. Часкольский был не согласен с тем, что Маркс не оставлял место для личности в своей экономической системе. Он особенно критиковал недавно появившуюся партию, возглавляемую Лениным. «Большевизм — это реакционное движение, которое отвергает демократические принципы. Это старое антидемократическое движение под новой вывеской», — говорил он и советовал читать Ленина тщательно.

Критикуя марксизм и варварский ленинский марксизм, Часкольский много говорил о революционном движении в России. Страница за страницей читал он нам произведения Лаврова, теоретика русского революционного идеалистического движения. «Он — русский, продукт и создание русской интеллигенции», — говорил он.

Он также подчёркивал, что Лавров, который был профессором философии Петербургского университета задолго до меня, основывал свою философию на врождённом стремлении человека к индивидуальности.

— Индивидуальность — она в нашей крови и костях. Весь прогресс человеческого рода, сама эволюция были вызваны этим стремлением к индивидуальности. Отвергать это, как это делают марксисты, значит, смыкаться с реакцией, которая рано или поздно будет разбита.

Кто-то спросил его, как он относится к террору, который пропагандировала партия Эсеров.

— Нет, — сказал он быстро. — Терроризм не ведёт нас никуда, он ничего не решает. Никогда не решил ни одной политической проблемы.

И он привел пример:

— Царь Александр Второй был либеральных взглядов, он произвёл много демократических реформ, но когда он был убит террористами, случилось что?

— Реакция.

— Правильно. Его сын, Александр Третий, был настроен продолжать демократические реформы, но, когда у него убили отца, он стал бескомпромиссным автократом и стал руководить страной жёстко.

* * *

Нас было пять друзей детства. Странная группа подростков, объединённая общим интересом к музыке и проблемам человеческого рода. Наша дружба была поверхностной, мы ничего не знали о семьях друг друга. Не было близких отношений между нами. Мы никогда не касались сокровенных мыслей друг друга. Среди нас была некая самоизоляция. И тем не мене, раз в неделю с почти религиозным усердием, мы собрались вечером у меня дома. Мы дискутировали последние книги. Говорили о неовитализме Ганса Дриша, эволюционной теории Голдсмита, интуитивизме Лосского. Мы часто не соглашались друг с другом, но держали себя в рамках и не выходили из себя. После ужина, мы часа два играли музыку. Среди нас было два скрипача, один виолончелист и один пианист, а я был слушателем. Не позднее чем в полночь, мы выходили прогуляться, продолжая наши такие абстрактные обсуждения. После того, как я проводил их по домам, я ещё не меньше часа ходил по берегу Невы. Следующие семь дней мы жили каждый своей жизнью.

Нева была тихая и неподвижная в ледяном плену, на набережной было сантиметров тридцать снега. Нечастые прохожие в длинных меховых шубах двигались как куклы, движимые неведомой силой. Бледное и мутное лицо луны, отдалённый звон церковных колоколов, мягкое похрустывание быстро бегущих саней — всё это создавало ощущение нереальности. Были эти призраки людей живые, или они только были призраками прошлого, пришедшими полюбоваться зимним очарованием нашей реки. Или может быть их реки? Этот незнакомец, стоящий там, в замерзшей неподвижности, который смотрит на снежное бесконечное одеяние реки; он вообще живое ли существо, или он путник, не могущий найти себе покоя даже в бессмертии души. Он мог быть Модестом Мусоргским, низким и толстым, с длинной бородой и нечесаными волосами и выпяченными, безучастными глазами. Он ещё до сих пор страстно любит человечество, как любил его во время своей жизни? Верит ли он до сих пор, как он заявил перед самой смертью, что по прошествии времени, именно мы, русские, скажем окончательное слово в общей гармонии человечества, в братском соединении людей в соответствии с Евангелием Христа.

Но прохожие обходят меня стороной, испуганные моим приближением. Иллюзии разбились, и надо возвращаться домой.

Мы были петербуржцами по рождению и духу, все из одной и той же гимназии, расположенной в трёх кварталах от моего дома, где я жил до войны. Мы все планировали выбрать разные

профессии или, как мы тогда говорили, занятия. Линде хотел стать математиком и, разумеется, очень выдающимся. «Как Наполеон, я буду читать логарифмы, и наслаждаться ими», — заявлял он.

Новиков позднее стал поэтом, специализирующимся на английской литературе и обещающим писателем. Ещё будучи студентом Петербургского университета, он опубликовал несколько мастерски написанных рассказов.

У Васильева был реалистичный взгляд на жизнь, и он собирался стать железнодорожным инженером, поступив в Институт транспорта.

Будущий студент юридического факультета Давыдов ещё в гимназии был красноречивым оратором. А я, соответственно, собирался на медицинский факультет. Мы никогда не называли друг друга по именам, а только по фамилиям. Это было нехарактерно, но мы и не были характерными подростками тогдашнего Петербурга.

* * *

Все мы пятеро были постоянными участниками собраний у Часкольского. И вот однажды мы все удивились, когда он попросил нас остаться после того, как остальные разошлись.

— Мне нужна ваша помощь.

— Да, — ответили мы сразу.

— Я являюсь активным членом Социал-революционной партии, её подпольного отделения. Друзья, в этой стране идёт революция, мы боремся за демократию. Мы хотим освободить эту страну от автократии и политического деспотизма. Нашей партии нужны юные члены, которые, как и я верят в революционную демократию.

Мы сидели, как оглушённые. Молчание продолжалось минуты две. Первым нашёлся Линде:

— Профессор Часкольский, я не готов вступить в революционную партию, — твёрдым голосом сказал он.

Васильев пробормотал:

— Я симпатизирую… но я — не политик.

— Настоящий революционер не является политиком, — обрезал Часкольский.

Демидов был дипломатичен:

— Я хотел бы присоединиться, но моя семья очень консервативная. Вы знаете, мой отец пишет для «Нового Времени».

— Да я знаю, — сухо сказал Часкольский и посмотрел на нас с Новиковым.

Было что-то в его взгляде, что тронуло меня. Был ли я готов стать активным революционером, спрашивал я себя? Конечно, нет. Внутренний голос говорил мне, что я сделан не из того революционного материала, чтобы стать активистом.

— Да! — с удивлением услышал я свой голос.

— Да! — тут же сказал Новиков, который часто соглашался со мной.

Часкольский поднялся и пожал нам с Новиковым руки. Наступила неловкая тишина, но Часкольский предложил бутерброды и перевёл разговор на другую тему.

Мы все вместе вышли от Часкольского.

— Ты на крючке, Соколов. — Сказал не зло Линде.

— Ты, может быть, внутри и революционер. Ты и есть революционер, но отнюдь не активный. Ты даже говорить не можешь, как надо.

Он был прав, у меня были большие проблемы с заиканием.

* * *

Через несколько дней Часкольский попросил меня и Новикова зайти к нему. Он был краток. Мы должны в определённое время прийти на набережную Невы и сесть на третьей скамейке от Адмиралтейского канала. Подойдёт человек и спросит: «Замёрзла ли река?». Мы должны ответить: «Нет, ещё не замёрзла». Он даст нам пакет и адрес, по которому мы должны этот пакет доставить.

Часкольский объяснил нам, что мы записаны в военную ячейку Социал-революционной партии, и он является её руководителем.

Новиков с подозрением спросил:

— Что вы имеете ввиду под военной ячейкой. Это что, террористическая?

— Конечно, нет. Мы заинтересованы в деморализации армии, и распространяем литовки, призывающие солдат присоединиться к революции.

Новиков побледнел:

— Армию?

— Да. Революция 1905 года провалилась потому, что армия была не с нами. Всего один полк, воспринявший революционные идеи, мог бы обеспечить нам победу. Теперь мы готовим новую атаку на правительство.

— И наша роль? — прошептал Новиков.

— Только как связных.

Он отпустил нас. Уже было поздно. Мы молча брели с Новиковым. «Не нравиться мне всё это», — пробормотал он напоследок.

Реакция Новикова, на наше участие в деморализующей пропаганде в рядах армии, была вполне понятна. Кровавая революция 1905 года, с её массовыми демонстрациями, баррикадами, стрельбой на улицах и бомбометанием, была подавлена правительством. Многие революционеры были сосланы на каторгу. Всякая ассоциация с Социал-революционной партией, которая была главной движущей силой революции 1905 года, была опасна сама по себе. Даже косвенная связь с членами Социал-революционной партии могла повлечь высылку из Петербурга, а тут мы — активные члены военной секции! Это было довольно опасно.

Моя же реакция была другой. Во мне был элемент возбуждения в предвосхищении опасности. У меня было чувство грядущего приключения, чувство внезапной свободы действий от той внутренней самопоглощённости, в которой я пребывал до этого. Годы теоретических дискуссий о демократии и, наконец, действия!

Было 30 октября, я хорошо помню этот день — это мой день рождения, мне исполнилось шестнадцать лет (1908 год). Мы рано пришли с Новиковым на указанную скамейку. Было очень холодно, пронизывающий ветер сделал наше ожидание не из приятных. К счастью мужчина был точен. В темноте было трудно распознать его лицо. На нём была шуба и большой шерстяной шарф, закрывающий пол-лица. Мы обменялись паролями. Он дал большой пакет Новикову и маленький пакет мне. «Здесь револьвер. Может пригодится».

Я хотел объяснить ему, что я даже не знаю, как им пользоваться, так как в руках не держал до этого. Однако язык прилип к моему горлу. Он дал мне литок бумаги. У первого фонарного столба мы прочитали инструкции: «Держите револьвер и пакет в своей комнате. Завтра в 6 вечера пойдёте на Обводной канал, дом 33, третий этаж направо. Товарищ Балабан даст вам дальнейшие инструкции. Бумагу по прочтении уничтожить».

«У меня нет места, где спрятать этот пакет у себя дома. У меня брат со мной в одной комнате, — сказал Новиков с раздражением.

У меня не было выбора, мне пришлось взять оба пакета. Придя домой, я быстренько пробрался в свою комнату и спрятал пакеты за диван.

Дом 33 был развалиной, лестницы были грязными и тускло освещались электрическими лампочками. Мы поднялись, на нужной двери третьего этажа звонок отсутствовал, и мы постучались. Громкий голос ответил: «Входите, дверь открыта!». Мы вошли: в маленькой комнатке два полицейских в форме распивали пиво. Несколько пустых бутылок валялось на полу.

— О! Добро пожаловать! Гимназисты! — засмеялся огромный толстый полицейский с большими усами и лысеющей головой.

Да, мы были в форме учащихся классической гимназии. На самом деле у нас не было другой одежды.

— Садитесь, ребята.

Вмешался молодой полицейский:

— Подожди, Федя. Вы к кому пришли? — спросил он нас.

Мы с Новиковым быстро сообразили, во что мы влипли. Это была засада.

— Мы ищем Петра Терепова, нашего друга. Он живёт на Обводном канале, 37, третий этаж, — сориентировался Новиков.

— Вы, сынки, ошиблись, здесь нет никакого Петра Терепова, и это не 37 дом.

— Мы извиняемся, лейтенант, ошибочка вышла, ну мы пойдем, — сказал Новиков.

— Конечно, валяйте, — полицейский постарше помирал со смеху, осушая ещё одну бутылку пива.

— Постой, Федя, не глупи, не будь дураком, они могут наврать. Надо проверить.

— Пошёл к чёрту, — пробормотал Федя, он был пьян. — Делай чего хочешь, Мишка.

Полицейский помоложе, чисто выбритый, с острыми глазами, подошёл и обыскал нас. Не найдя ничего, кроме карандаша и яблока в моём кармане, он записал наши адреса.

— Они оба с Коломны, Федя, мы должны взять их в тамошний участок.

— Балбес есть балбес, — поморщился старый полицейский. — Хорошо, ты их возьмёшь, а я остаюсь здесь.

Нас доставили в Коломненский участок. Пристав Телепев был начальником этого участка. Он прекрасно знал моего отца, так как все домовладельцы на Новый год подносили ему в конверте. Он спросил меня, часом, я не Фёдора Евстафьевича Соколова сын, и получив утвердительный ответ, решил таким образом. Один из полицейских ведёт Новикова домой, обыскивает квартиру и, если ничего нет, то отпускает его. А сам с другим полицейским тоже повёл меня домой. Мои предчувствия были гадкие. Я понял, что пропал.

Вся моя семья была дома. И увидев меня с приставом

Телепевым, отец понял, что что-то случилось. Мы все вошли в мою комнату. Я показал глазами матушке, чтобы она села на диван.

Пристав посмотрел книжные полки и шкаф довольно поверхностно, казалось, он был доволен, что всё в порядке. Внезапно он сказал моей матери: «Госпожа Соколова, пожалуйста, встаньте с дивана, нужно его посмотреть». Это был конец!

Увидев пакет листовок, призывающих солдат к восстанию против правительства, он сразу посерьёзнел и стал сугубо официален:

— Я обязан арестовать вашего сына, — объявил он отцу. — Глупый мальчишка!

— Это серьёзно? — отец спросил его.

— Очень, очень серьёзно. Попахивает военным трибуналом.

Мои мать и сёстры начали реветь. Они упаковали мне маленький мешочек, куда положили рубашки, майки, носки и другую одежду. «Мужайся, сынок», — отец пожал мою руку. Мать осенила меня крестом, который она всегда носила на себе.

Телепев молчал всю дорогу, пока мы ехали в извозчике вместе с другим полицейским, который держал в руках вещественное доказательство. В Охранном отделении меня держали два дня. Я мало что мог добавить к тому, что уже много раз повторял: что незнакомый человек попросил подержать пакет пару дней.

— Ты запомнил его лицо?

— Нет, было темно.

— Ты знал, что в пакете?

— Нет, я не открывал его.

Естественно, они мне не верили. И как можно было поверить в какую-то глупую историю. Единственно, они поверили мне, что Новиков не имеет к этому никакого отношения. К счастью, Новиков тоже всё отрицал. Позже я узнал, что они позволили ему продолжать учёбу в школе. Они даже не допрашивали его в Охранном отделении.

Скоро следователь охранного отделения, которого звали то ли Мартьянов, то ли Миронов, устал от моих бесполезных допросов. Он направил меня в Предварительную тюрьму, где содержались по политическим преступлениям в ожидании суда.

* * *

Я вообще был удивлён. Я ожидал увидеть грязную, невыносимую тюрьму, каких хватает в России. Я с ужасом думал

о камерах, переполненных уголовниками, вплоть до убийц. С ужасом думал, что не будет никаких санитарных условий.

Предвариловка была не из этого сорта тюрем. Это была современная привилегированная тюрьма для привилегированных политических заключённых. Большинство камер были одиночными. Надзиратели и охрана были очень вежливыми и внимательными. Камеры были чистые, свежевыкрашенные с центральным отоплением. Армейская кровать с двумя подушками и одеялами, маленький умывальник, стол, стул и ведро для нужды. Небольшая лампа была достаточной, чтобы читать и писать. Пища была вполне нормальная: утром лёгкий завтрак из чёрного хлеба и чая с добавленным молоком; на обед и ужин были борщ или щи с мясом, хлеб и иногда — печенье. Еда подавалась через маленькое окошечко в двери. Всегда было мыло, но бритву иметь не разрешали, однако, имелся парикмахер, который стриг всего за 25 копеек. Ножи и вилки тоже были запрещены, взамен выдавались деревянные ложки и подобие деревянной вилки. Прогулок не было, по крайней мере, те пять месяцев, что я там был. Свидания не разрешались, но письма и посылки доставлялись быстро. Отлично было то, что имелась прекрасная библиотека с огромным выбором книг, и книг можно было заказывать сколько угодно. Пока я там сидел, я перечитал столько книг, сколько никогда не читал ни раньше, ни после тюрьмы. В каталоге были полные собрания сочинений Ницше, Шопенгауэра, Эдгара Алана По, Джека Лондона, Достоевского, Золя и множества других авторов. Единственно, что отравляло моё существование, это неопределённость моей судьбы. Я плохо спал и подсознательно был испуган. Военный трибунал? Каторга? Смертная казнь? Что будет? Новостей из дома не было, за исключением нескольких поздравительных открыток от моей матери и сестёр. И в тоже время я чувствовал некую гордость, что я — часть революции. Я активно борюсь за революцию, хотя я и допускал, что не совсем удачно. Вообще была сильная мешанина преувеличенных и незрелых мыслей и чувств.

Со второго дня моего пребывания в тюрьме я начал слышать стук и с правой стенки, и с левой. Понятно, что это был беспроволочный телеграф, но я не знал кода. Только двумя неделями позже, когда я получил пищу, я нашёл в масле бумажку с кодом. Какой-то неизвестный друг послал это мне. После этого я стал тратить много времени на перестукивания с соседями слева и справа, а также сверху и снизу: в этом случае мы использовали водопроводные трубы. Слева от меня сидел университетский студент за распространение таких же листовок, как и я, но — матросам Балтийского флота. Он думал, что ему

дадут много.

— Сколько тебе грозит?

— Думаю, что не меньше десяти лет каторги.

Он не сказал мне свою фамилию, а звали его Кириллом. У меня появились плохие ассоциации: Кирилл и Борис были два брата в древней истории, которые оба были убиты один за другим.

Наступил апрель, маленькое окошечко наверху стенки теперь было открыто, принося шум улицы и ностальгию по свободе — по свободе ходить и говорить с другими людьми. Изоляция от внешнего мира стала раздражать. И вдруг 13 апреля, я не могу забыть этот день, надзиратель сказал мне следовать за ним. «Возьми свои вещи», — он был старым человеком.

С прыгающим сердцем и дрожащими руками я быстренько собрался. «Ну вот и суд!», — думал я. Надзиратель был настроен дружелюбно, он даже улыбнулся мне.

— Иди домой, — сказал он мне.

— Домой? — спросил я глупо.

Я не мог поверить своим ушам.

— Свободен, — повторил он, — Вот твои деньги и перочинный нож. Это всё, что у тебя было. Пожимая мне руку, он добавил: «Не лезь ты никуда, парень. В следующий раз так легко не отделаешься».

Мои родители уже ждали меня в прихожей. Им уже всё сообщил мой дядя, который звонил армейскому прокурору, ведущему моё дело. Тот объяснил моему дяде, что поскольку я ещё не распространил листовки, то преступление ещё не имело места. Если бы это шло по гражданской линии, то Министерство юстиции могло отправить меня в ссылку в Сибирь просто административным распоряжением; но армия не имеет такой силы и, следовательно, я свободен. Мои сёстры кричали и целовали меня. И наши собаки, два огромных далматинца, тоже приветствовали меня лаем.

Естественно, после ареста я был исключён из гимназии; однако, когда директор школы узнал, что я освобождён без суда, то он сказал, что если я сдам экзамены, то он даст мне диплом вместе со всеми. Таким образом, следующие пять недель я засел за учебники. Когда я вернулся в свой класс, то вся школа приветствовала меня, как героя: они аплодировали мне. Разве я не пострадал за демократию? Я сдал экзамены и получил диплом. И сразу подал документы в Петербургский университет.

Часкольский не захотел меня видеть: «Только не сейчас, надо подождать, за тобой может быть слежка».

Только в середине лета я встретился с ним в пригороде

Петербурга, Павловске. Мы нашли пустую скамейку на аллее недалеко от театра «Казино», где шёл концерт. «Мы вычеркнули тебя из военной секции нашей партии. Мы не хотим, чтобы ты работал в подполье. Оставайся членом партии и работай в студенческой организации, пока ты в университете». И он добавил с горечью:

«Революция всё равно в упадке. Никого не осталось, всех сослали в Сибирь. Ты молод, ты будешь следующим поколением нашей революционной партии».

Я исполнял его приказания. В течение следующих несколько лет моя активность ограничивалась университетской студенческой организацией. Кроме того, я был занят учёбой и литографической фабрикой, которой мне приходилось управлять. В 1914 году началась Мировая война, и через два года меня призвали и направили врачом эпидемиологом в 13 армию на Юго-Западный фронт.

Слов ещё недостаточно.

Русская армия была истощена и измотана. Три года кровавой бойни, в результате которой лучшие полки были уничтожены германской армией, не оставили русским никаких сил. Однако фронт ещё держался, дисциплина была строгой, солдаты находились в окопах и делали периодические вылазки. И тут наступил 1917 год, Февральская революция и падение династии Романовых. В книгах говориться, что коммунисты сделали эту революцию — в этом нет и частицы правды.

Ленин был в Швейцарии, Троцкий в Америке а Сталин — в Сибири, и никакой действующей коммунистической партии не было ни в Петербурге, ни в других частях России. Февральская революция была самопроизвольной, в том смысле, что она она не была организована политической партией, которая в последующем пришла к власти. В действительности, Линде, мой друг детства, оказался настоящим героем этой революции[3].

* * *

Я не видел Линде более двух лет, но я много читал в газетах о его драматической революционной деятельности. Когда заваривалась вся эта каша, которая впоследствии получила название Февральской революции, он служил в Петербурге сержантом Семёновского полка. В самый критический момент, когда на улицах Петербурга казаки и полиция уже брали верх над инсургентами, Линде взял на себя руководство Семёновским полком, и переломил ход событий.

В одном из последних писем ко мне он живо описал эти события:

> «Я не знаю, что со мной приключилось. Я лежал на кровати в казарме и читал книгу Джона Холдейна (английского биолога). Я нашел книгу интересной, хотя местами плохо сбалансированной. Я был так увлечен, что сначала не расслышал криков и шума с улицы. Пуля пробила стекло недалеко от меня. Я пришёл в ярость: «Что, в конце концов, там происходит?» — спросил я солдат. «Выгляни в окошко», — сказали они мне. Я выглянул — там была свалка: казаки стреляли в невооружённую беззащитную толпу, хлестали их нагайками и топтали лошадьми. Картина настолько

отличалось от состояния моего ума, когда я анализировал Холдейна, что я был потрясён. И затем я увидел девушку, которая старалась убежать от казака, но она бежала медленно и после сильного удара оказалась под ногами лошади и закричала. Это был крик, который толкнул меня. Я вспрыгнул на стол, это был огромный дубовый стол, и закричал диким голосом: «Друзья, друзья…! Через несколько минут я был окружён сотнями удивленных и сконфуженных солдат. «Да здравствует революция!» — орал я снова и снова. «В ружьё! К оружию! Вышвырнем казаков! Они убивают невинных людей, наших братьев и сестёр!». Потом они сказали, что что-то было в моём голосе такое, что было трудно устоять. Как в бреду, я бросился к оружейной и раздал винтовки. «Все на улицу! За мной!» — они последовали за мной, понятия не имея, а собственно, в силу каких полномочий я тут распоряжаюсь. Они просто побежали за мной. Наш полк имел тогда около шести тысяч человек. Они все бросились за мной против казаков и полиции. Мы убили несколько человек, а остальные отступили. Затем я повёл полк в казармы Преображенского полка, и они тоже присоединились к нам. К полуночи всё закончилось, и революция победила. Царское правительство было сброшено, а я уже в ту же ночь опять дочитывал Холдейна».

Как только было составлено коалиционное демократическое правительство, Линде дали звание капитана и направили политическим комиссаром в 13 армию. Это последнее, что я от него слышал.

В апреле Ленин и триста товарищей прибыли в Петербург через линию фронта на специальном поезде по разрешению немецкого командования. А в мае Троцкий прибыл на пароходе «Кристианафьйорд», груженым оружием и тремястами боевиков из Нью-Йорка. За ними стояли совершенно неограниченные деньги. По прибытии Ленин призвал к незамедлительному миру. Этот призыв был естественно широко распубликован продажной прессой и достиг фронта. Это было начало разложения армии — разложение, вызванное не германской армией, а коммунистами, которые послали своих агентов почти в каждую дивизию. Двоетрое коммунистов могли создать серьёзные волнения в различных местах целой армии. Однако демократическое правительство Керенского запретило поддерживать дисциплину и приказало избегать конфронтаций! Керенский послал политических

комиссаров увещевать солдат посредством слов. Одним их таких комиссаров, назначенных Керенским, был Линде.

* * *

Я осматривал больного. Он был совсем молодым солдатом, не более двадцати лет: лунообразное, чистое лицо и почти белые волосы. Он был в полубессознательном состоянии, температура была за 42 градуса. Я продиктовал сестре: «Тиф, осложнённый гипертермией. Возможно уже проблемы с почками — геморрагический нефрит. Проверьте его кровь и мочу».

Сестра была новенькой, и это был её первый пациент с тифом. Однако у неё ни один мускул на лице не дрогнул, как будто она не боялась. «Да, доктор».

Что-то в её голосе, подсказало мне, что она смертельно боится заразиться, но старается всеми силами не подать виду. Я взял кровь и мочу сам.

— Откуда его привезли?

Она проверила книгу и ответила:

— Из 443-го полка.

Я был очень расстроен этой информацией. Этот полк только недавно был придан 13 армии, а до этого стоял в Литве. Эпидемия тифа, свирепствовала там в войсках. Эпидемия эта была довольно подозрительной.

— Кто их полковой врач?

— Я думаю, это доктор В.

Это, тоже были неутешительные новости. Доктор В. только недавно окончил Самарский медицинский институт. У него не было никакого опыта работы с инфекционными болезнями, и он открыто признавал это. Я пожал плечами и проворчал:

— Я должен ехать к нему и говорить об этом случае. Позвоните ему и предупредите, что я скоро к нему наведаюсь.

Наш госпиталь находился в маленьком городке под названием Рожище, который частично был уничтожен бомбёжками. Уцелело только несколько домов, в которых и разместился наш госпиталь. Жители Рожище, в основном евреи и литовцы, были давно эвакуированы. Один или два магазинчика до сих пор торговали сигаретами и конфетами. Улицы городка были не заасфальтированные, и пыль, поднимаемая армейскими повозками, проникала в помещения и покрывала полы и кровати толстым слоем пыли. Окна в операционной были закрыты наглухо, и как там летом работали люди — я себе не представляю.

Я жил в железнодорожном вагоне, в котором находилась шикарная лаборатория, оборудованная Красным Крестом. У меня было всё, что необходимо для работы. Лаборатория была большая и светлая, с огромными окнами, специальным помещением для животных и даже с небольшой библиотекой. Во втором вагоне жили мы: я, мой помощник, медсестра и санитар. У нас там была даже уютная столовая и кухонька, и нашим условиям все завидовали. Мы передвигались вместе с войсками и отвечали за эпидемии, которые могли случиться. Мы работали в тесном контакте с главным армейским госпиталем 13-й армии, который находился недалеко от нас.

Мой поезд находился недалеко от железнодорожного моста через речку Мальту. Узкая и быстрая, с немного красноватой водой, эта речка была свидетельницей наиболее жестоких сражений между русской и немецкой армиями за много месяцев до того, как я прибыл. Теперь же фронт, находящийся в десяти верстах, был спокоен. Изредка случались небольшие стычки. В госпитале было совсем мало раненых. Большинство пациентов были с инфекциями и другими обычными пустяками. Иногда залетал какой-нибудь германский аэроплан и сбрасывал пару бомб, но это было единственное развлечение. Ближайший город Луцк, был в пятнадцати верстах, и наше единственное сообщение с ним было только посредством лошади или машины. Это не было удовольствием, ездить в Луцк, и мы редко туда ездили, а также в Ровно.

Доктора и медсёстры проводили бесконечные вечера, играя в карты, а я, не будучи игроком, обычно прогуливался по бережку Мальты. Вокруг были разбросаны крестьянские хаты с вишнёвыми садами и полями, засеянными пшеницей и овсом. Мужчины и женщины каждый день работали на полях молчаливо, как они это делали в течение многих поколений. Они не проявляли интереса к войне, которая была так близко от них. Они не читали газет, к ним даже почта не доставлялась; и у них не было ни малейшего понятия, что происходит в каком-нибудь там Петербурге.

Войдя как-то раз в вагон, я позвал своего помощника Карла Шеллинга. Он был молодым человеком немецкого происхождения. Карл был опытным бактериологом с присущей немецкой аккуратностью и любовью к науке. Для него наука была религией, и он признавал себя покорным исполнителем её заумных ритуалов. Его ничего не интересовало, если это не относилось к науке. Когда я известил его о том, что царь свергнут и образовано демократическое правительство во главе с князем Львовым, то он спокойно сказал: «Ну и что?». И возобновил дискуссию по жёлтой лихорадке. Он так и сказал, что открытие

комара, переносящего жёлтую лихорадку, интересует его гораздо больше, чем какое-то новое демократическое правительство в Петербурге.

Этот подающий надежды молодой учёный был убит этой же осенью, когда в поезд попала бомба, сброшенная с немецкого аэроплана. Лаборатория была полностью уничтожена, Карл был убит, а я отделался царапинами. Это случилось прямо перед моим отъездом в Петербург.

Но в это прекрасное утро, мы были свободны от мрачных предчувствий и обсуждали мои образцы, принесённые для подтверждения тифа. Карл был наполнен энтузиазмом: «Я постараюсь сделать культуру риккетсии Провачека, возбудителя сыпного тифа, и конечно, реакцию агглютинации. Я надеюсь на успех». Я не хотел лишать его энтузиазма. Для нас эти анализы были пустой формальностью, нужной только для записи. Мы были готовы к обеду, когда санитар объявил, что капитан Линде желает меня видеть.

— Что? Линде? Невероятно!

Но вот он уже был передо мной: высокий, мощный, красивый.

— Какими ветрами тебя занесло в эту богом забытую дыру? — спросил я его и пригласил в нашу столовую.

— Беспорядки в 443-м полку, который инфильтрирован большевиками. Полк отказывается идти в окопы, — сказал он.

— В 13-й армии не было большевиков, — заметил я.

— Да. Ваша армия находится в хорошей форме, но этот полк переведён из Вильнюса, и северный сектор фронта деморализован большевистской пропагандой.

Я сказал ему о тифе в том же 443-м полку, и мы договорились ехать вместе. Линде объяснил, что в его задачу входит выявлять большевиков и разрушать их гнёзда, как можно скорее.

— Однако это не всегда удаётся, — сказал он и улыбнулся.

— И как ты это делаешь? — спросил я.

— К сожалению, не калёным железом и револьвером, а только своим личным обаянием, — сказал он и снова улыбнулся.

Мы поговорили о наших петербургских друзьях. Линде рассказал мне, что Васильев — тоже в 13-й армии, командиром батальона бронемашин, который находится под Луцком.

— Я только на прошлой неделе видел его в Ровно. Он ярый противник большевиков и энтузиаст нашего демократического правительства.

— А ты нет?

— Конечно, демократия отличная и жизненная идея; но демократия, это что-то, что должно быть защищено, и за что надо бороться хотя бы иногда.

— Да вроде революция победила?

— Да. Люди боролись за демократию, за свободы; а теперь они достигли своей цели и расслабились и не видят опасности, которая угрожает самой их жизни.

— Ты считаешь большевиков реальной угрозой нашему правительству?

— Да. Их мало, но они отлично организованы и чрезвычайно активны. Они инфильтрировали правительственные учреждения, включая министерство обороны. Они преобладают в железнодорожном профсоюзе, в арсенале, на флоте, в полиции. В каждой мало-мальски важной организации есть их ячейка.

— Ты не говорил об этом с Керенским или с кем-нибудь из кабинета?

— Я пытался, но бесполезно. Петербург — это сумасшедший дом. Все говорят и говорят…. Бесконечные речи, обычно страстные, часто убедительные. Гигантский ораторский зал, вот что наша столица являет собой сегодня. Ты сказал бы, что у них мозговые центры, контролирующие речь, нарушились, и у них у всех начался словесный понос. Керенский, Милюков, Чернов и сотни других льют воду каждый божий день, а большевики тем временем работают, не покладая рук.

— Таким образом, самое лучшее место сейчас на фронте?

— Точно.

Я был готов с ним согласиться.

Подкрепившись, мы поехали на автомобиле Линде. Дороги были как вымершие; поля, не обрабатывавшиеся три года, заросли сорняками. То тут, то там попадались дома без окон, без дверей — печальное подтверждение абсурдности войны. Линде долго ехал молча, и вдруг он начал говорить. Его голос был тёплым и дружественным: «Ты помнишь наши собрания? Я не говорил, как они много дали мне. Они дали мне веру в человечество, в человека, в Россию…». И внезапно перейдя на другую тему: «Ты знаешь, а я ведь так и не закончил ту книгу Холдейна. Мне она не нравится. Его концепция целостности организма кажется мне наивной, жалкой попыткой возродить старый материализм. Да и хорошо, что у меня не было времени её закончить…».

Он свернул на боковую дорогу, и через несколько минут мы были у штаба 110-й дивизии. Командир дивизии В. ждал Линде. Мы вошли в большую палатку, и нас представили генералу. Он был высоким человеком с седыми волосами и короткими белыми усами. На его лице не было приветливости, когда он пожимал руку Линде. Я заметил, что и остальные штабные офицеры тоже не выражали радости.

— Капитан Линде, ситуация в 443-м полку вышла из под контроля. Это чёрт знает что!

— Так серьёзно? — спросил Линде.

— Боюсь, что да! Два месяца назад моя дивизия была в отличном состоянии. Но мне прислали подкрепление из Петербурга, состоящее из каких-то мерзавцев. Очень скоро начались беспорядки. Когда мы только были передислоцированы, 442-й и 444-й полки сразу заняли место в окопах и теперь надо заменить их 441-м и 443-м полками. 444-й полк наотрез отказался. Это — бунт. Они избрали полковой комитет, состоящий из одних большевиков. Два дня назад у меня вывели из строя бронемашины — их моторы были разбиты. У меня нет способов заставить исполнять приказы и наказать бунтовщиков.

— Сколько большевиков в 443-м полку?

— Я не могу сказать точно, может 50–60 человек, не больше, но они контролируют весь полк.

— Вы пробовали говорить с ними?

— Капитан Линде, — саркастически начал генерал. — Мы в армии не разговариваем с бунтовщиками. Мы отдаём приказы, и если они не выполняются, то мы отдаём под суд трибунала.

— Конечно, генерал, — ответил Линде примирительным тоном. — Я понимаю это. Меня интересует, пытался ли полковник Г. выяснить, что они хотят.

— Что они хотят! Они хотят незамедлительного мира с немцами! Они ранили адъютанта полковника и угрожали убить всех офицеров. Они их куда-то увезли, мерзавцы! Но я вызвал батальон бронемашин из Луцка. Они должны прибыть с минуты на минуту. А затем я покажу этим мерзавцам, как не выполнять приказы! Я дам им хороший урок!

Несколько минут была тишина, прерванная спокойным голосом Линде:

— Генерал! Мне необходимо ваше разрешение на визит к бунтовщикам.

— Вы не нуждаетесь в моём разрешении, капитан, — холодно произнёс генерал В. — Вам нужно их разрешение на переговоры с ними. Я предупреждаю вас — это опасно и безнадёжно. А впрочем, смотрите сами….

— С вашего позволения я поеду туда.

Генерал В. пожал плечами, повернулся к офицерам и коротко сказал:

— Лейтенант Сафронов, проводите капитана Линде в расположение 443-го полка!

И пожимая руку Линде, сказал уже по-дружески:

— Удачи! Будьте осторожны!

Сафронову было не больше двадцати двух лет, с открытым лицом и приятной улыбкой мне он сразу понравился. Мы поехали по дороге, полной колдобин. «Полковой штаб только в пяти верстах отсюда, — сказал Сафронов. — Поезжайте медленно».

Он рассказал, что он учился в Технологическом институте, когда его забрали в армию. Он был дважды ранен и его наградили Георгиевским крестом за храбрость.

— Я знаю о Вас всё, капитан Линде. И я восхищаюсь Вами! Это ужасно, что большевики сделали с нашей дивизией. Нам всем стыдно. Вы действительно хотите с ними переговорить?

— Определённо. Я обязан. Это моя работа. Меня прислали, чтобы поддержать дух. Мы должны избежать кровопролития, — ответил Линде.

— Могу я Вас просить разрешить мне пойти с Вами. У меня оружие, я могу защитить Вас.

Линде улыбнулся:

— Конечно, идите, но я не вооружён: при таких обстоятельствах я не верю в револьверы.

— Но они изверги, полные фанатики.

— Посмотрим….

Большая группа офицеров встретила нас недалеко от штаба. Все они были вооружены, некоторые с револьверами, некоторые с ружьями. Полковник Г., командир, был среди них. Он радостно потряс нам руки: «Капитан Линде, я вас прошу дальше ни шагу!» — и он показал рукой на большую толпу солдат, некоторые из которых лежали, другие сидели на лужайке неподалёку от лагеря всего в трёхстах метров от нас. И как только он показал на них, серая масса вдруг пришла в движение, поднимаясь с земли, как какое-то гигантское, доисторическое животное. Как будто ожидая от нас каких-либо действий и подготавливаясь к защите, они постепенно оформились в военный порядок. Они разделились на две группы: одна, рассеянная и аморфная, содержала большую часть полка; другая маленькая, но компактная как пружина, агрессивная и угрожающая, выстроилась на правом фланге толпы. Они держали ружья со штыками. Это были коммунисты.

— Благодарю вас, полковник, — возразил Линде. — Мой долг не даёт мне право выбора. Я должен идти!

— Тогда пять моих офицеров пойдут с вами, — объявил Г. — Я настаиваю!

— Хорошо, они могут идти поодаль, — сказал Линде.

Медленно наша группа из восьми человек направилась в сторону толпы: Линде немного впереди, остальные сзади. Сначала мы шли в направлении коммунистов, и когда мы были

уже близко настолько, чтобы видеть их, замершие в ожидании, лица, он вдруг повернул налево и пошёл к основной массе солдат. Он шел быстрее и быстрее, пока не осталось метров двадцать. «Всё, дальше не идите, оставаться здесь!» — приказал он.

И через несколько минут он уже стоял перед полком: «Друзья!» — произнёс он. И его голос был ясный, громкий, спокойный, но насыщенный чувством.

— Я пришёл к вам от нашего правительства, демократического правительства. Февральская революция дала вам свободу, она принесёт вам мир и процветание. Она принесёт вам всё, о чём вы мечтали. Но друзья, надо иметь терпение, идёт война. Я знаю, что ты, и ты, хотите мира, каждый из вас хочет мира. Но разве вы хотите постыдного мира? Разве вы хотите стать рабами агрессивного врага, немцев? Хотите?

— Нет! Нет! — закричала толпа.

— Нет! Я знал, что вы скажете: «Нет»! Вы честные и храбрые граждане своей великой страны, нашей демократической России. Я призываю к терпению, ещё немного терпения. Честный мир скоро будет заключён. Это для вас и ваших детей вы должны добиться честного мира.

— Точно! Ура! — заликовала толпа.

— Это такие люди, как вы и я, которые из простого народа, сделали нашу родину свободной. Друзья, да здравствует демократическая Россия!

Толпа горячо откликнулась на его призыв, сотни голосов кричали: «Да здравствует демократическая Россия!», «Да здравствует Керенский»», «Да здравствует Линде!».

Но пока Линде говорил и мастерски приобретал доверие и симпатию толпы, я заметил, как группа коммунистов медленно начала двигаться в его направлении. Теперь они были всего метрах в десяти от него. Они держали штыки наперевес. Трое из них были настроены решительнее других.

«Смотри! — схватил я Сафронова за руку. — Они могут напасть каждую минуту!». Сафронов вынул свой револьвер: «Да… о господи!».

Но Линде, казалось, не видел их:

— Именем демократической России я призываю вас подчиниться приказу и заступить в окопы. Я призываю вас сделать это!

— Да! Да! — завопила толпа. — Мы пойдем!

— Поклянитесь именем демократии! Поклянитесь…

Но он не закончил предложение: носатый коммунист воткнул штык в его спину. В тот же момент Сафронов выстрелил. Убийца

был сражён наповал, его винтовка упала рядом с его телом. На момент атакующие остановились, но один из них, который был сзади их теперь мёртвого лидера, быстро пробежал несколько метров, отделявших его от Линде, который теперь полулежал, полусидел на траве. Солдат поднял штык, его лицо было полно ненависти и решительности. Мой бедный друг пытался защититься голыми руками. Сафронов снова выстрелил, но промахнулся… и его пуля попала в кого-то в толпе. А нападавший тем временем ударил штыком моего умирающего друга: ещё, и ещё, и снова, и ещё… и так тридцать с лишним раз. Солдатская масса, которая только что приветствовала Линде, оставалась неподвижной, охваченная паникой. Никто из них не пришёл к нему на помощь, ни один из толпы в две тысячи человек не пошевелился, чтобы прийти на помощь человеку, который был провозглашенным героем русской революции.

Некоторые из коммунистов со штыками наперевес бросились в нашу сторону. В этот критический момент, когда наша жизнь висела на волоске, кто-то из толпы крикнул: «Броневики! Броневики едут!». Это были магические слова. Наступавшие коммунисты развернулись и побежали как зайцы, растворяясь в толпе. Убийца, держа в руках ружьё, со штыком покрытым кровью, замешкался на какой-то момент, а затем последовал за товарищами.

Линде был ещё жив, но истекал кровью. Вся трава вокруг него была залита кровью. Он открыл глаза. Посмотрел на меня и прошептал: «Как глупо… я знал, что буду убит….», — он умер прежде, чем я успел перевязать его раны. На нём было больше тридцати штыковых ран. Сафронов рыдал, как ребёнок. Солдаты теперь прониклись состраданием. С печальными лицами они окружили нас. Один из них проговорил: «Он был хорошим человеком… Благослови господь его душу».

Подошли броневики. Солдаты 443-го полка были построены. Ружья были проверены и штыки тоже. Оружие убийцы не нашли и сам он пропал, и никто не хотел признаться, куда он спрятался, и как его зовут. Офицеры, которые были с нами, не смогли опознать его. Солдаты 443-го полка, теперь кроткие и покорные, уже вечером заступили в окопы. Я возвратился в Рожище без всякой надежды увидеть доктора Б. и обсудить эпидемическую ситуацию.

* * *

Через три дня после смерти Линде, ещё четыре случая тифа поступили к нам в госпиталь. Ситуация становилась опасной и

требовались решительные меры. Причём все заболевшие были из седьмой роты, получалось, что там был источник. Смахивало на эпидемию. Я запросил прислать мне всю седьмую роту в Рожище. Они все прибыли в один день, двести человек, и я приказал полностью дезинфицировать их палатки и вещи.

Поскольку сыпной тиф переносится человеческой вошью, в которой живёт очень маленький микроб сыпного тифа, перед нами стояла задача освободить седьмую роту от завшивленности. Карл Шеллинг был в экстазе. Он мечтал собрать живых вшей и выделить микроба в чистом виде. Он гордо показывал мне стёкла с мазками крови нашего первого тифозного больного. «Его кровь кишела риккетсиями. Они такие маленькие, что их можно обнаружить только с помощью специальной краски», — объяснял всем Карл. Я предупредил его: «Помни, что сам Провачек помер от тифа, выделяя микроба. Будь очень осторожен. Доктор Провачек был немецким бактериологом, который умер от сыпного тифа, выделяя возбудителя». Но Карл был настолько увлечён, что шарил по солдатским шинелям в поисках вшей. Он их нашёл много, но все без микроба.

Наш дезинфекционный поезд был чудом техники. Говорили, что Красный Крест потратил на него кучу денег. Один вагон посередине поезда служил приёмным покоем, где солдаты раздевались. Затем они переводились в дезинфекционный вагон. А после этого, они переходили в помывочный вагон, где были душевые и парикмахерская для тех, кого ещё не постригли наголо. Часть помывочного вагона вообще переделали в парилку, где их хорошенько пропаривали. А после этого солдаты переходили в другой вагон, где им выдавали чистую одежду. После этого они шли ко мне на врачебный осмотр, который проводился в соседнем вагоне. Я смотрел, есть ли сыпь, которая обычно появляется через неделю после заражения. Я уже обнаружил пять больных и их тут же госпитализировали. Когда я уже заканчивал осмотр, один солдат привлёк моё внимание. Так собственно ничего не было подозрительного в этом мощном, атлетически сложенном северянине, кроме разве что скрытой враждебности по отношению ко мне. Я посмотрел на него: его лицо было обычным с узкими глазами на низком лбу, но выражение лица было пропитано ненавистью. Его пульс был частым, но температура нормальной. Я посмотрел на него снова, меня не покидало чувство, что я его где-то видел. Я напряг свою память, и внезапно меня пронзило, что это он добил Линде! Я до сих пор ясно помню это лицо. Да, передо мной был убийца. Несколько секунд я не двигался, и он стоял передо мной, тоже не шелохнувшись. Затем с усилием, стараясь контролировать свой

голос, я сказал ему: «Вы можете идти, следующий…». И быстро дообследовал остальных.

Я был в трудной ситуации. Этот солдат, которого звали Иван Бушаков, был убийцей. В этом у меня не было никаких сомнений. Я вспомнил, как доктор Б. предупредил меня: «Седьмая рота вся заражена вшами и большевиками; и это отнюдь не совпадение.

Расследование убийства Линде показало, что все зачинщики были из седьмой роты.

Я позвал своего санитара Илью. Илья был один из самых отчаянных в армии. Он был три года в ударном батальоне, семь раз награждён за храбрость, и только после серьёзного ранения приписан к моему госпиталю. Я объяснил ему ситуацию. «Я о нём позабочусь, не волнуйтесь, доктор». Он проверил свой револьвер и вызвал Бушакова. Илья объяснил ему, что так как у него может тиф, то он должен пройти в помывочный выгон, который был уже к этому времени пустым. Он запер его в вагоне, а сам, взяв пулемёт, сел у двери. Затем он доложил мне:

— Вы смотрите, господин офицер, а то может застрелить его?

— Нет. Ни в коем случае. Я буду звонить в полковой штаб.

Однако прежде чем я сделал звонок, в мой вагон вошли два неожиданных визитёра. Один из них был Игорь Васильев, который на протяжении двух последних лет командовал дивизионом броневиков. Другой был Борис Моисеенко, которого я знал только мельком. Моисеенко был личным политическим комиссаром Керенского в штабе 13-й армии.

— Таким образом, Линде был убит, — мрачно заметил Васильев, увидев меня. — Мы приехали расследовать случай.

— Я так понимаю, убийцу так и не поймали, — сказал Моисеенко.

— Преступная халатность полкового командования, — вставил Васильев.

Я поколебался и сказал им о Бушакове. Васильев вскочил с кресла и закричал: «Где он? Давайте его сюда!».

Широкоплечий, среднего роста, с тёмными волосами Васильев обладал огромной физической силой. Ещё в школе он ошеломлял нас немыслимыми трюками. Он одной рукой поднимал толстого подростка, весящего 80 килограммов, и ещё подбрасывал его в воздухе. Однако он никогда не злоупотреблял своей силой. Мягкий и добрый, он был любим своими друзьями и всегда был готов прийти на помощь. Но сейчас Васильев был в ярости.

— Где он?

— Он заперт в помывочном вагоне.

— Стой, Васильев, мы должны действовать по закону, —

сказал Моисеенко.

— А шёл бы ты со своим законом, мягкотелый интеллигент. Где он?

Его нельзя было унять. Он выбежал из моего вагона, а мы последовали за ним. Он приказал Илье открыть дверь, и приставив ступеньки, поднялся в вагон. Моисеенко, Илья и я с ещё четырьмя офицерами из седьмой роты тоже поднялись в помывочный вагон. Вагон был ярко освещён.

Бушаков сидел в углу на скамеечке и курил папиросу. Когда он увидел нас, он очень медленно поднялся, и выражение его лица стало каменным. Он не сказал ничего. Васильев подошёл к нему. Он долго смотрел на него, как дрессировщик смотрит на дикое животное, которое предстоит укротить. Тишина была тягостной. «Бушаков… Бушаков… ты зачем убил Линде…?» — Васильев говорил медленно, чеканя каждое слово, и во всём его голосе звучала угроза. Ответа не было. Бушаков молчал. В этом молчании, однако, не было высокомерия и вызова ко всем нам.

— Я расцениваю твоё молчание, как признание. Я знаю, что ты боишься. Вы, большевики, трусы, когда вас прижмёшь к стенке. Вы храбрые только убивать безоружного человека.

— Я не боюсь.

— Ой! Ты не боишься трусливая скотина! — Васильев выходил из себя.

Он дал пощёчину, но тот, вместо того, чтобы стушеваться, с силой ударил Васильева в челюсть.

— Это лучше, — взревел Васильев. — Гораздо лучше… теперь мы можем драться. Вы все! — закричал он, обращаясь ко всем нам, — Назад! Дайте нам место!

Мы подчинились. Бой начался. Я не забуду эту драку до самой моей смерти. Она была грубая и жестокая. Правил не было. Это была борьба за жизнь. Оба они были огромной физической силы. Оба они озверели от взаимной ненависти, и оба дрались как звери. Удар за ударом попадал моему другу в голову. Но казалось, что он только ещё больше свирепел и делался сильнее. «Трусливая скотина», — рычал он, — «Грязный убийца!». Васильев сбил противника на землю. «Встать!» — вскричал он. — «Встать и драться как мужчина». И как только Бушаков выпрямился, Васильев нанёс ему такой удар, что тот упал без сознания. Кровь показалась у него из носа и изо рта, и он тяжело дышал. Мы надеялись, что схватка закончена, но это было не так. Васильев поднял его вверх и со всей силы бросил в угол вагона. Я сбился со счёта, сколько раз он поднимал противника и бросал его. Пол стал скользким от крови. «Ещё не всё, не все…. иди сюда, тряпка!». И он бил в лицо выносливого врага снова и снова.

Бил жестоко и сильно…. Внезапно он остановился. «Он выживет, но он никогда этого не забудет. Вы можете забрать его в госпиталь, а затем — под суд трибунала его».

Смывая кровь, Васильев спокойно добавил: «Вот как демократия должна вести себя с большевиками. Вы, безголовые, не понимаете, что большевики уважают только силу. Пойдем Моисеенко, теперь нам не надо ехать в окопы, этот урок научит дисциплине всех в этой дивизии».

И улыбаясь, он потряс мне руку:

— Я извиняюсь за эту грязь, которую я оставляю в твоей отличной бане, — сказал он, и они с Моисеенко уехали.

— Вот это человек! — сказал Илья. — Умеет драться.

Он сказал другим санитарам взять Бушакова, или что там от него осталось, и отнести в госпиталь.

Васильев был прав, когда Бушаков стал выздоравливать, он только и говорил, что о драке.

— Он дрался как чёрт! — восхищался Бушаков. — Лучше погибнуть, чем драться с таким чёртом.

Перед судом военного трибунала Бушаков признал, что он является членом партии большевиков, и ему приказали убить полковника Г., командира полка, но неожиданно появился Линде, и их ячейка решила убить Линде вместо полковника. Бушаков был приговорён к расстрелу, и приговор был приведён в исполнение в старой крепости Луцка. Я не присутствовал при расстреле, но доктор Б. сказал мне, что он умер не произнеся ни слова, с тем же окаменевшим выражением лица, когда я первый раз увидел его.

Может ли убийство быть оправданным?

Русский Западный фронт разваливался. Число дезертиров увеличивалось не то, что каждый день, а каждый час. Большинство бежало в Петербург, где они могли затеряться от преследования и возврата на фронт. Правительство Керенского отказывалось восстановить дисциплину. Оба блестящих оратора, Ленин и Троцкий, долбили непрерывно по правительству, требуя мира любой ценой и созыва Всероссийского Конституционного Собрания. 13-я армия, к которой был приписан мой госпиталь, была в сравнительно хорошем состоянии. Линия фронта держалась, а небольшие немецкие атаки отражались.

В моей личности произошли изменения. В прошлом очень стеснительный, я не мог выступать из-за заикания. Теперь же я обнаружил, что могу выступать даже перед огромной аудиенцией. Это было открытием для меня. Всё началось с того, что политический комиссар и мой друг Моисеенко попросил меня объяснить солдатам значение и смысл Февральской революции.

Старая, но большая церковь, частично поврежденная немецким обстрелом, была выбрана местом моего выступления. Я был в ужасе, но когда я увидел тысячи глаз смотрящих на меня, я нашёл себя и произнёс сильную речь с призывом спасти демократическую Россию. С этого времени я прослыл лучшим оратором на Южно-Восточном фронте, а позднее был выбран делегатом на Всероссийскую Конституционную Ассамблею по мандату партии Трудовиков.

К концу сентября я получил необычное письмо от Демидова. Это была скорее небольшая заметка: «Что-то должно быть сделано насчёт Ленина. Демидов». Мне это ни о чём не говорило.

Я только знал, что Демидов окончил юридический факультет и сдал все экзамены прямо перед войной.

Он окончил офицерскую школу и младшим лейтенантом был направлен на Северо-восточный фронт. Он принял участие в нескольких кровавых сражениях, был серьёзно ранен и несколько раз награждён, демобилизован и начал юридическую практику в Петербурге.

О Ленине я знал, что он отчаянный экстремист и развернул бурную деятельность в Петербурге после возвращения из Швейцарии. Кроме того, однажды я лично встретил его в Женеве. Мой разговор с ним был краток, но в результате я получил о нём лучшее представление, чем бесконечные описания из третьих рук.

После моего освобождения из тюрьмы и сдачи экзаменов, родители посоветовали мне недельки три-четыре отдохнуть во Франции и Швейцарии. Я говорил по-французски свободно и хотел проверить себя. Сначала я приехал в Женеву, центр русской революционной активности. Будучи в Женеве, я решил зайти в библиотеку Societe de Lecture и посмотреть кое-какие книги.

Когда я спросил определённый том, библиотекарша сказала, что он уже на руках. И указала на человека, который сидел у окна, обложившись книгами. В библиотеке не было никого, кроме этого человека, меня и пожилой библиотекарши.

У человека была большая лысая голова, рыжеватые и седеющие борода, и усы и широкие плечи. Я заметил одну деталь: хотя был жаркий день, на нём были резиновые галоши, и его брюки были завёрнуты почти до колен. Я попросил его одолжить книгу, которая меня интересовала.

Он посмотрел на меня из под бровей почти с враждебностью. Его глаза были узкие, как у монгола. Он пробормотал:

— Возьмите, — и затем добавил, — Бесполезная книга.

— Почему бесполезная? — спросил я довольно миролюбиво.

— Сопли и слюни, этот ваш Вольтер, возьмите Робеспьера — это будет для вас лучше. Следуйте его примеру. Робеспьер знал,

чего он хотел.

— Он хотел власти, — вставил я.

— Конечно, он хотел власти. Власти над массами.

— Но массы должны самоуправляться, — запротестовал я.

— Болтовня. Массы — либо овцы, либо мерзавцы. Они должны управляться железной рукой.

— Прошу вашего прощения, а как же человеческая борьба за идеалы, права, индивидуальность? — спросил я, оскорблённый.

— Чушь. Человек дерётся только за хлеб.

— А как насчёт любви? — вскричал я в ужасе. — Человек должен любить человека!

— Ха, ха! Вы — простак, мой мальчик. Общество основано на борьбе. Любовь — это только препятствие, это сказка для детей и дураков, вроде вас, — сказал он с раздражением.

— Но любовь движет прогрессом человечества.

Он вообще расхохотался:

— История человеческого рода обусловлена экономическими факторами. Классовая борьба, ненависть между богатыми и бедными, между капиталистами и рабочими являются главной движущей силой социального прогресса человечества, — и он сделал жест показывающий, что разговор закончен.

Я запомнил только основное из нашего разговора, который на самом деле был несколько длиннее.

— Кто этот человек? — спросил я библиотекаршу.

— Он называет себя Ленин, а настоящего его имени я не знаю, — ответила она.

Много позднее я читал мемуары жены Ленина Надежды Крупской. Она писала: «Весь день Владимир Ильич Ленин сидел в библиотеке, а вечерами нам вообще нечего было делать».

Он произвёл на меня впечатление очень жестокого и односторонне мыслящего человека.

Я размышлял над письмом Демидова, что бы оно значило. На следующий день я уехал в Петербург на скором поезде.

Демидов жил в маленькой квартирке около университета. Он был доволен, что я быстро приехал и попросил зайти сегодня же вечером, чтобы встретится с некоторыми друзьями.

В квартире Демидова кроме хозяина были шесть человек: Флеккель, который был секретарём Керенского, Филоненко, Сургучёв, Истомин и ещё двое незнакомых людей, которые не были мне представлены. Я был удивлён увидеть Истомина, которого я знал ещё с гимназии. Он был учителем русской литературы и слыл человеком, не интересующимся политикой.

* * *

Истомин был странным человеком. Он любил говорить, был общительным и вежливым, и создавалось впечатление, что он был отрешён от бытовых проблем. Его открытость и терпимость, казалось, были безграничными. Он был готов оправдать и простить всё, что угодно.

— Я живу в отрезке времени измеряющемся тысячелетиями, — улыбался он, когда его обманывали или обижали. — Я измеряю человеческое поведение с точки зрения вечности.

В эмоциональной сфере он причислял себя к практическим людям.

— Но не в моих мыслях. Здесь я Платонист, — говорил он.

Он жил очень скромно, уделяя очень мало внимания материальной стороне жизни.

Он тратил большую часть своих денег на бедных студентов, платя за их обучение в университете. У него было очень много друзей. Мы все любили его и шли к нему за помощью и утешением.

Его личная жизнь была сплошным эмоциональным парадоксом. Когда он был преподавателем истории Петербургского университета, он встретил девушку, которую звали Екатерина Волчовская. Волчовская училась в неврологическом институте. Она был с Украины, из обеспеченной семьи. Катерина против воли своих родителей выбрала своей профессией психиатрию. Блестящая студентка, она была строптива до невозможности. Её дружба с Истоминым была на чисто интеллектуальной основе. Они обсуждали статьи и книги, ходили вместе на концерты и в театр, и преподавали в одной школе для детей-сирот.

— Мы просто хорошие друзья, ничего больше, — настаивал Истомин. — Между нами даже нет намёка на любовь.

Была ли она хорошенькой? Я бы не сказал. Она имела небольшой росточек, нормальное лицо и обычно одевалась во всё чёрное. Она была в своём роде интересным моралистом. Она верила, что человек должен быть честен, свободен от пороков, и иметь строгое чувство ответственности. В университете она жила спартанской жизнью: в натопленной комнате, на молоке и хлебе; много работала и ограничивала себя в удовольствиях, за исключением периодических вечеров с Истоминым. Её родители давали ей любые деньги, чтобы она себе ни в чём не отказывала, но она отказывалась и зарабатывала себе на жизнь уроками английского и французского.

Однажды летом, будучи в своём родном городишке, Катя встретила одного молодого человека с плохой репутацией,

которого звали Виктор Перлин. Он был очень красив: видный, лёгкий в общении, свой в доску парень — только немного он был постарше её. Она влюбилась в него и к ужасу своей семьи объявила, что собирается выйти за него замуж.

— Она никогда, в действительности не любила его. — Настаивал Истомин. — У меня в этом нет никаких сомнений.

Однако, Катя скоро узнала самое плохое о своём возлюбленном. Он был местным сутенёром и жил на содержании одной немолодой, богатой женщины. Для Кати, с её моральными устоями, это был просто шок. Однако, тем не менее, она была уверена, что любит его и не может совладать со своими эмоциями. Она решила перевоспитать его. В течение нескольких месяцев она проводила воспитательную работу, но он был уклончив, не возражал, но и, так сказать, не спешил перевоспитываться. Виктор был опытным обольстителем, он знал, что эта дочка богатого землевладельца и армейского полковника, влопалась в него по уши. А то, что она его пытается исправить, это он считал шуткой. Он очень скоро узнал, что ошибался.

Катя, не выдерживающая внутреннего конфликта между своими интеллектуальными убеждениями и своими чувствами, нашла жестокое и немыслимое решение. «Катя сама рассказала мне историю в деталях», — сказал мне Истомин.

Однажды утром, она пригласила Виктора пройтись прогуляться по дороге, идущей через поле. Он был доволен, но он не знал, что она взяла с собой отцовский револьвер. Он был у неё в сумочке вместе с листом бумаги и карандашом. Когда они, между прочим, гуляли по полю, она поставила вопрос ребром: будет ли он жить нормальной жизнью честного человека, работать? «Я мог бы, если бы ты обещала выйти за меня замуж», — ответил он, веселясь. — «Наивная девчонка», — думал он.

Однако она не удовлетворилась ответом, и продолжала настаивать.

— Да я люблю тебя, это что, недостаточно для тебя? — говорил он.

— Конечно, нет.

Она вытащила из сумочки револьвер и потребовала написать записку, что он кончает жизнь самоубийством. Он никак не мог поверить в серьёзность её намерений и, смеясь, написал ей эту записку, что, дескать, он устал от жизни и поэтому кончает с собой, чтобы окончить это бессмысленное существование. «А теперь, — сказал он, — иди сюда и поцелуй меня скорее, моё сокровище». Вместо этого, «сокровище» достало из сумочки шестизарядный револьвер, и хладнокровно выстрелила в упор.

После этого как в тумане она возвратилась домой, оставив револьвер и предсмертную записку рядом с телом. Бродячий торговец обнаружил застреленного и довёз его до больницы. Он был серьёзно ранен, но выжил. Интересно, что он не сказал ничего полиции. Он сказал, что сам стрелял в себя. Катя тогда же уехала в Петербург. И вот она была тут: сломанная, несчастная и жалкая. «Я предложил ей выйти за меня замуж, и она согласилась. И это вся история моей женитьбы», — закончил Истомин.

Но это был ещё не конец. Два года они прожили без приключений и были вполне нормальной парой. Но однажды она не пришла ночью домой. Она отсутствовала пять суток. Единственную информацию, которую он получил в это время, это была открытка от неё, где она кратко сообщала ему, что должна ненадолго уехать. На шестой день, когда он в одиночестве ел свой холодный ужин, она заявилась. Он сразу догадался, в чём дело. Он предложил ей ужин, и они поужинали в тишине. После того, как они закончили ужин, он зажёг свою трубку и спросил:

— Виктор приезжал?

— Да, я была с ним, — призналась она. — Я спала с ним.

Он продолжал курить свою трубку.

— Ты хочешь, чтобы я ушла?

— Ушла? Почему? — удивился он.

— Но я была неверной тебе.

— Ну и что из этого? Позволь задать тебе один вопрос. Почему ты сейчас ушла от него?

— Это всё было ошибкой. Я выяснила, что я не люблю его. Я думаю, что я люблю тебя.

Он поменял тему разговора и больше никогда к нему не возвращался. Их семейная жизнь продолжалась как обычно, в его отношении к Кате не произошло видимых изменений. Единственное изменение произошло с ней: она стала очень ревнивой к нему, и предъявляла претензии при любом женском внимании в отношении Истомина.

* * *

Но как я уже говорил, многие люди переменились в те тяжёлые времена, включая самого Демидова. Демидов кратко изложил план. Ситуация с демократическим правительством просто безнадёжная. Потворство правительства коммунистам парализовало всю возможную деятельность против них. Полная импотенция правительства делает победу коммунистов лёгкой

задачей, необходимы решительные меры, что-то должно быть сделано. Демидов объявил, что его группа решила убрать Ленина. Возможно, это выведет правительство из спячки и даст им толчок для того, чтобы подавить коммунистов. План уже составлен, покушение намечено на эту пятницу. Настоящее собрание созвано для последнего обмена мнениями перед акцией.

— Мнение Истомина, конечно особенно важно, — заметил Демидов.

Истомин немедленно отозвался:

— Вы удивитесь услышать, но я одобряю этот план. Я верю, что только решительные меры могут исправить ситуацию, которая зашла слишком далеко. Но я вам должен заявить, что уничтожение большевистского лидера таким вот способом, является предательством основных принципов демократии. Получается, вы используете те же способы достижения власти, какие используют сами большевики. «Результат оправдывает средства» — вот их лозунг; но демократия уже давно ответила, что результат не оправдывает средства. Это, как я уже тут недавно говорил, трагедия демократии. Потому что демократы боролись христианскими методами, в то время как коммунисты пускали в ход всё подряд.

Я спросил:

— А у вас есть разрешение от партии Социал-революционеров?

— Пошли они к чёртовой матери! — загремел Давыдов. — Я не член партии. Они там все конченые люди. Старые революционеры, террористы, люди, сражавшиеся на баррикадах! Что с ними со всеми стало? Страна разваливается на части, а они только дискутируют до бесконечности.

Флеккель ни сказал ничего. Но Филоненко и Сургучёв, оба старые революционеры, закивали головами. Истомин же продолжал:

— Суть в том, что это демократия заблуждается, а не большевики. Ленин — это стратегический гений. Его политика очень умная. Он объявил, что все, кто с ним не согласен — реакционеры и лакеи капитализма. Это очень эффективный лозунг, так как наши демократы и либералы могут стерпеть всё, кроме обвинений в политическом консерватизме. И Ленин этим простым лозунгом вынуждает их защищаться и, следовательно, вынуждает их одобрять его политику. Но самая большая конфузия получается оттого, что наши левые не способны различить между теорией и практикой коммунизма. Суть большевистского движения — это борьба за власть, власть полную, неограниченную, абсолютнейшую, совсем диктаторскую власть.

Это их цель, их мечта, их страсть, галлюцинация. И все методы хороши для достижения этой цели, так как власть оправдывает средства. Позвольте мне вам напомнить одну старую историю, как это у них большевиков делается. В этой истории с Сергеем Нечаевым вы увидите, насколько они неразборчивы в своих средствах.

И Истомин рассказал историю о Сергее Нечаеве.

* * *

Стоял 1869 год, и зима что-то запаздывала. Хотя был конец ноября, ручей около Московской сельскохозяйственной академии ещё не замерз. Местный сторож, обходя ранним утром территорию, увидел в ручье пальто. Потянув за пальто, он после существенных усилий вытянул тело неизвестного мужчины с пулевым отверстием в голове. Вокруг его горла был обмотан красный шарф, а к шарфу были прикреплены два увесистых камня.

Полиция сначала считала, что это обычный случай убийства с целью ограбления. Однако скоро было установлено, что убитый — студент сельскохозяйственной академии Иван Иванов, и он являлся членом революционного кружка. Было установлено, что его часто можно было видеть в компании продавца книжного магазина Успенского. Успенский был арестован и тут же сдал всех своих соучастников. Убийство, сказал он, было совершено на благо коммунистической организации. Убийц было пятеро, но только четверо были осуждены. Руководитель шайки и организатор убийства сбежал за границу через несколько дней после преступления. Соучастники на суде полностью описали этого человека.

Сергей Нечаев был узколобым фанатиком. Деспотический по натуре, он не терпел оппозиции. Сын маляра из Иваново-Вознесенска, он тоже вначале был маляром. Однако, будучи очень упорным, он выучился и сдал экзамены на учителя, и стал директором торгового училища в Петербурге. В двадцать один год он поступил в Петербургский университет и сразу влился в революционное движение. Через год он уже был лидером своего революционного кружка. Вскоре он образовал кружки не только в Ивано-Вознесенске, но в Петербурге и в Москве. Каждый кружок состоял из пяти членов, был «пятёркой». Большинство участников не вдавались в подробности революционной доктрины Нечаева, но были заражены его энтузиазмом и поддались его напору. Среди участников были не только студенты, но и дворяне,

рабочие, служащие, отставной офицер и даже девицы. Кроме этих четверых было осуждено ещё семьдесят шесть человек. Нечаев выдавал себя за эмиссара коммунистического Интернационала, находящегося в Женеве и возглавляемого Михаилом Бакуниным. Однако по ходу следствия выяснилось, что Нечаев был самозванцем, и эта организация не имеет к нему никакого отношения. Нечаев требовал абсолютного повиновения. Для этого он внедрил систему взаимной слежки. Каждый член пятёрки был обязан делать регулярные отчёты Нечаеву на остальных четырёх. Нечаев ввёл практическую этику, заключающуюся в том, что только то было хорошо, что шло на пользу организации. И он слов на ветер не бросал.

Публику больше всего интересовал вопрос, за что убили Иванова[4].

Один из подзащитных, Кузнецов, студент сельскохозяйственной академии, дал следующее описание убийства.

— Это было злодейское преступление. Иванов был моим другом. Я любил его. Он был добрый парень, но немного упрямый и независимый в своих суждениях. Между ним и Нечаевым очень скоро возникли трения. Мой друг возражал против Нечаевской диктатуры. Ему не нравились отдельные идеи и факты поведения Нечаева. Конфликт скоро стал заметен и другим членам организации. Это именно тогда Нечаев стал подговаривать убить Иванова. Он собрал членов пятёрки и сказал, что Иванова надо ликвидировать, поскольку «он опасен для нашей организации».

Кузнецов действительно раскаивался:

— Я особенно был против, но Нечаев только повторял, что он должен умереть.

Нечаев просто приказал им заманить Иванова в пустынное место, и ничего не подозревавший Иванов согласился пойти. Ему сказали, что якобы надо забрать печатный пресс.

— Как только мы вошли в беседку, Нечаев бросился на Иванова и схватил его за горло. Иванов отбивался и кусал Нечаева за руки до крови, он старался кричать. Тогда Нечаев вынул револьвер и выстрелил Иванову в висок. Остальные были слишком ошарашены, чтобы двигаться, но не Нечаев. Он обыскал карманы Иванова и послал нас за камнями. Нечаев же и привязал камни шарфом.

Но через несколько дней тело было найдено, а Нечаев с помощью фальшивого паспорта уже ехал в Женеву.

Однако, Нечаев не только не оставил своих убеждений, но и никогда не раскаялся в убийстве. Наоборот, он с гордостью заявлял, что он пошёл на убийство «во имя революции», и что он

имел на это полное право. Он верил в новую мораль, согласно которой, всё хорошо, что на пользу революции. «Дружба, любовь, честь и совесть — всё должно быть принесено на алтарь революции», — утверждал Нечаев. Человеческую мораль он обозвал «буржуазными глупостями».

В статье «Кто не с нами — тот против нас», Нечаев сказал о случае с Ивановым: «Членство в группе является вечным, незыблемым и нерасторжимым. Всякое отклонение от установленной политики означает, что данный индивидуум должен быть уничтожен как отгнивший член. Изгнание из группы означает одновременно и изгнание из числа живущих. Смерть для всех, кто дезертирует из революции или проявляет признаки непослушания. Человек, вступающий в коммунистическую организацию, должен ограничить свои привязанности членами группы».

В Нечаевском «Катехизисе революции», который нашли после ареста соучастников, он подробно объясняет всю организацию: «Коммунист может чувствовать привязанность только к тем, кто уже показал себя активными коммунистами. Степень дружбы или других обязательств по отношению друг к другу определяется единственно нужностью этих отношений революции».

Нечаев развил эти идеи в журнале «Коммуна», который появился в Лондоне в 1872 году: «Люди глупы и должны быть направляемы революционной частью человечества. Коммунистическая партия должна руководить людьми неограниченной, деспотической властью. В свою очередь, коммунистическая партия должна управляться деспотической властью небольшого комитета или единовластного лидера»[5].

14 августа 1872 года Нечаев был арестован в Женевском ресторане. Опять же интересно, что ни один из революционеров, боровшихся против русского правительства, начиная с Герцена и ранее, никогда не испытывал материальных затруднений и всегда имел возможность заниматься только революционной деятельностью и ходить по ресторанам. Швейцарский суд решил, что он никакой не борец, а просто уголовник, и выдал Нечаева России. 20 января 1873 года Нечаева привезли в Москву и приговорили к двадцати годам заключения в крепости за умышленное убийство, совершённое при отягчающих обстоятельствах, связанных с организацией и применением технических средств, а также попыткой скрыть улики преступления. Нечаев умер через девять лет в камере № 5 Петропавловской крепости. В то время в Царской России не было смертной казни.

* * *

— Таким образом, — сказал Истомин, заканчивая историю, — Нечаев действительно предвосхитил всю теперешнюю большевистскую политику. Но, возвращаясь к нашей проблеме, я одобряю ваш план, если у вас хватит мужества его выполнить.

И мы начали обсуждать приготовления к пятнице.

* * *

Было жутко холодно вечером в эту пятницу. Улицы и переулки были затянуты ледяной коркой. Наш автомобиль медленно двигался по Выборгскому шоссе, пытаясь не соскользнуть в кювет.

Я терял терпение и у меня сорвалось:

— Так мы никогда не доберёмся.

Демидов улыбнулся.

— Мы не можем избежать того, что должно случиться непременно пробормотал он.

Мы приехали. Было почти одиннадцать вечера. Дом номер 14 стоял в молчании своей зимней спячки. Все окна были закрыты, и только пара тусклых огоньков мерцала через стёкла. Мы проползли ещё четыре квартала и остановились. «Здесь, — прошептал Демидов. — Здесь у Ленина встреча с кем-то из своих. Ленин только что приехал из Финляндии и теперь живёт в квартире Фофанова. Это недалеко отсюда, но у них там сильная охрана. Мы пробовали добраться до него там, но безуспешно. Но он приходит сюда, в квартиру 23, в которой живёт Николай Кокко, большевик с завода «Айвас», чтобы встретить своего друга. Никаких автомобилей рядом с домом нет, таким образом выходит, что Ленин отправил своего шофера домой. Шофера зовут Стефан Гиль».

Демидов проверил наши револьверы. Пока он это делал, две молчаливые фигуры в овечьих армейских тулупах, откуда-то вынырнув, направились к нашему автомобилю.

— Кто это? — спросил я своего друга.

— Не волнуйся, наши люди, — ответил Демидов.

Один из них прошептал Демидову:

— Они оба там. Приехали тридцать минут назад. Ленин и другой.

— А телохранитель?

— Он уехал. Ленин сказал ему вернуться в двенадцать.

— Прекрасно! — вырвалось у моего друга.

— Парадная закрыта, но вот ключи, — сказал человек Демидову, протягивая два ключа. — Один ключ от парадной, а другой — от квартиры Кокко. Вахтёр спит крепким сном, мы выпили с ним пивка и дали ему снотворное, он был рад составить компанию.

— Вы можете отправляться домой, — сказал Демидов. — Встретимся утром в обычном месте.

И они оба уехали в своём автомобиле, который стоял в переулке.

Мы остались одни, и перед нами стояло четырёхэтажное здание. Там, в его глубине, сидели два человека, которые намеревались разрушить демократию и перевернуть мир. Мы могли предотвратить это, цена была — убийство этих двух невооружённых человек.

Несколько минут мы сидели молча и неподвижно, наблюдая за светом в квартире Кокко на третьем этаже. «Мы должны идти», — сказал Давыдов. Он открыл дверь парадной, и мы вошли в узкий и тёмный подъезд. «Ты стой здесь, а я пойду наверх», — прошептал он. Он поднимался медленно. Шаг за шагом, он достиг второго этажа. Снова поднимается. Третий этаж. Моё сердце билось. Напряжение было невыносимым. «Он открывает дверь», — сказал я сам себе. — Теперь…. должны быть выстрелы…».

Но выстрелов не было. Не было криков, не было шума борьбы. Сколько я там стоял? Время как будто остановилось. Затем я услышал шаги, спускающиеся шаги, нетвёрдые шаги, как-будто человек был больной и шёл с усилием. Шаги были все ближе. И затем я увидел или скорее почувствовал Демидова. Он не произнёс ни слова, и мы вышли на улицу. В гнетущей тишине мы дошли до автомобиля и сели в него. Только тогда Демидов начал рассказывать. Его голос был низкий, он еле говорил, как будто задыхался.

— Это было выше моих сил, — сказал он. — Я вошёл в прихожую. Дверь в гостиную была открыта, и я увидел их, сидящих в креслах и разговаривающих. Я был только в трёх метрах от них. Я направил свой револьвер на Ленина и был готов выстрелить, но что-то не дало мне нажать на спусковой крючок. Голос внутри меня протестовал против убийства безоружного человека. Несколько минут я стоял там с поднятым револьвером. Я не мог перебороть себя и выстрелить. Я знал, что это обоснованное убийство. Я знал… но всё моё воспитание не позволило мне это сделать. Если бы у него в руках было оружие…!

Я молчал, ошеломлённый его провалом. «Почему ты не

ругаешь меня? — вскричал он сердито. — Почему ты не вернёшься туда и не сделаешь то, что я не сделал, у нас ещё много времени».

Но я замотал головой:

— Я не лучше тебя, когда дойдёт до этого. Я тоже не могу убить безоружного человека, даже если я ненавижу его. Я не способен….

Внезапно Демидов стал плакать, как ребёнок:

— Но я военный! Я убил десятки немцев на войне, а тут мерзавец, по ком пуля плачет…. И я не могу… не смог!

Ночь была ясная. Светила луна. Воздух был холодным и обжигающим. Мы ехали в тишине и остановились у моего дома.

«Истомин знал, что из этого ничего не выйдет», — пробормотал Демидов, — Он знал. Мы должны признать наше поражение. Это врождённое в нас, во мне, во всех нас. «Интеллигенция…», — сказал он с горечью, — «На что мы годимся? На жертву…? Но мы ведь не борцы, не борцы, чтобы бороться с большевиками».

Я не сказал ни слова. Я вышел из автомобиля, и он уехал.

Но Демидов не оставил своего плана. Это было не в его натуре смириться с поражением. Он медленно оправился от неожиданного открытия в себе гуманных черт. До этого он был уверен, что в нём нет этой слабости, характерной для русской интеллигенции. И после падения демократического правительства он с новой энергией возвратился к начальному плану уничтожения большевистских лидеров.

Первого января 1918 года Демидов организовал новое покушение на жизнь Ленина. В этот раз я не принимал участия, так как был занят предстоящим Всероссийским Учредительным Собранием. Но Демидов информировал меня об этой попытке, которая тоже окончилась неудачей.

Вечером 1 января, много людей собралось в знаменитом цирке Чинизелли в Петрограде, огромном здании, не меньше, чем Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Солдаты и рабочие пришли слушать Ленина. Это был политический митинг огромной важности. Ленин должен был разоблачить Учредительное Собрание за его «мелкобуржуазные тенденции». Ленин приехал в восемь часов вечера в лимузине, управляемым его верным телохранителем и шофёром, большевиком из Литвы под фамилией Стефан Гиль. Ленин возил с собой как почётного гостя и человека под именем Фриц Платтен, из Швейцарии. Этот иностранец сыграл неожиданную роль в сохранении жизни Ленина.

«Я планировал покушение тщательно, — говорил мне

Демидов позже. — Я знал наизусть номер ленинского автомобиля. Это был номер 4547. Я мог повторить его даже спросонья. Я решил, что только три человека должны принять участие: Антон Спиридонов, рядовой моего бывшего полка, Сафронов — бывший студент университета, храбрый солдат и человек, печёнками ненавидящий большевиков, и я. У каждого была своя роль: Спиридонову дали мощную бомбу, а у меня и Сафронова были прекрасные бельгийские револьверы. Сначала я хотел напасть на Ленина, когда он будет возвращаться к машине. Ситуация была благоприятной, но я оставил этот план, так как от бомбы могли пострадать посторонние люди. Поэтому мы выбрали маленький мост через Мойку, через который Ленин должен был проехать на пути из цирка».

Была тёмная ночь. Луны не было. Митинг только начался. Трое человек подошли к автомобилю Ленина и удовлетворённые тем, что Ленин на митинге, заняли свои места около моста. «Как только автомобиль подъедет — бросай бомбу», — проинструктировал Демидов молодого человека. «Я брошу», — ответил он твёрдо.

Демидов и Сафронов стояли на дальнем конце моста, готовые стрелять после взрыва. Время текло медленно. Наконец, фары приближающегося автомобиля осветили мост. Он ехал медленно по глубокому снегу.

«Давай!» — закричал Демидов. Он видел как Спиридонов поднял руку, заколебался и вместо того, чтобы бросить бомбу, растворился в темноте. Автомобиль уже пересекал мост, когда Демидов и Сафронов открыли огонь. «Я видел ясно Ленина через открытое окно, он был не далее чем в трёх метрах, когда я поднял револьвер и выстрелил…. Я был уверен, что убил его».

Но он не убил его. Платтен, был быстрее: увидев револьвер, он пригнул вниз голову Ленина. Пуля задела палец Платтена, оставив просто царапину. Шофер увеличил скорость, и автомобиль растворился в боковой улице.

Из под моста появился Спиридонов, весьма несчастливый молодой человек. Он всё ещё держал бомбу в правой руке. «У меня нервы не выдержали, — пробормотал Спиридонов. — Там был невиновный человек в машине, я не мог бросить бомбу… невиновный человек….».

Демидов в ярости взял и бросил бомбу в Мойку — раздался взрыв, и поднялся столб воды.

Я встретил Демидова в Самаре, где он и рассказал мне о последней неудачной попытке покушения на Ленина, в которой он тоже принимал участие.

30 августа 1918 года он был с Фани Каплан, когда та

стреляла в Ленина. В это время я уже был в Самаре, где были чехословаки.

Со слов Демидова он ждал Фани Каплан в автомобиле на Серпуховской улице, однако её схватили и ему пришлось скрыться. Попытка тоже не удалась. Четыре пули попали в Ленина. Одна прошла через лёгкие, одна прошла близко к артериям шеи, одна сломала ключицу и четвёртая скользнула по плечу. Ленина отвезли домой в полубесознательном состоянии и он был немедленно оперирован известным хирургом Минцем. Десять дней Ленин был между жизнью и смертью, но постепенно он выздоровел.

Демидов признался, что ликвидация коммунистических лидеров не является решением проблемы. Скоро он уехал на юг, где примкнул к Врангелю. Я слышал, что он был серьёзно ранен и эвакуирован в Константинополь. Откуда он уехал в Бразилию. Последнее, что я о нём слышал, что он стал преуспевающим бизнесменом, женился на испанской девушке и живёт где-то на плантации в западной части Бразилии.

Александр Керенский

Я только что закончил вскрытие пациента, который умер от ишемической болезни сердца. Это был молодой человек едва сорок лет с сильным мышечным телом, но немного избыточного веса. Я думал о причудливых способах, какими судьба распоряжается людьми. Его сердце было практически нормальным, за исключением малюсенького места поражённого кровоизлиянием в стенку коронарного сосуда. Это убило его за какие-нибудь минуты. Может быть, он перенапрягся? Он мог бы запросто жить ещё двадцать лет. Я мыл руки в ординаторской, когда мой коллега Томилин сказал мне:

— После обеда будут оперировать Керенского.

— Керенского?

— Ты должен его знать. Блестящий оратор, либеральный адвокат и член Государственной Думы.

— А! Керенского я знаю.

Это был Часкольский, который несколько лет назад сказал нам о выдвигающейся новой политической фигуре, молодом адвокате, специализирующемся на защите революционеров: «Официально он не принадлежит к нашей партии, это препятствовало бы его легальной деятельности, но на самом деле он член социал-революционной партии».

— Что там с ним случилось?

— Ему удаляют правую почку, поражённую туберкулёзом.

— Серьёзное дело.

— Он молод и силён. Может быть, всё будет нормально.

Через десять дней я прочёл в газете, что член Государственной Думы Александр Керенский выздоравливает после операции и скоро вернётся к своей деятельности. Я решил зайти к нему просто потому, что Часкольский говорил мне о нём.

* * *

В этот же день я поднимался по лестнице на пятый этаж старого дома номер двадцать три по Тверской улице. Маленькая, просто обставленная квартира была заполнена приходящими и уходящими людьми. Тут были члены Государственной Думы, артисты, рабочие, учёные, студенты и несколько врачей. Наиболее популярный человек Петербурга лежал в своей спальне, выздоравливая после операции. Он был бледен и ещё, возможно, температурил, однако, он улыбался посетителям и показывал, что всё нормально.

Каждую минуту звонил телефон, и его жена отвечала, так как каждый интересовался здоровьем «человека мужества». «Человеком мужества» его называли потому, что он отпускал в адрес правительства такие слова, которые никто кроме него не осмеливался говорить. Его речи в Думе были событиями сами по себе. Керенский был лидером партии Трудовиков, которая имела двенадцать представителей в Думе, и на самом деле являлась легальной частью партии социал-революционеров. Он сделал свою фракцию самой активной в Думе. Оратор он был исключительный. Слушая его простые, но страстные слова, призывающие к защите прав человека, люди плакали. И не только сами слова заставляли людей плакать, но и манера, с какой они были сказаны. Постоянно живя под угрозой ареста и преследования, этот человек стойко защищал принципы свободы.

Когда подошла моя очередь, я вошёл в спальню. Он улыбнулся мне.

— Я надеюсь, вы поправитесь, — промямлил я.

— Спасибо, я поправлюсь, — ответил он.

Всего через два года этот человек с одной почкой будет возглавлять демократическое правительство новой России.

* * *

Я часто слышал от людей, изучающих русскую историю, что

если бы демократическое движение выдержало бы натиск большевиков в 1917 году, курс истории мог бы быть другим; не было бы Второй Мировой Войны, и длительный мир мог бы стать реальностью.

Александр Керенский и Владимир Ульянов-Ленин не могут быть рассматриваемы один без другого. Александр Керенский отражал в общих чертах русскую интеллигенцию в её крайнем и запредельном идеализме. Ленин, наоборот, был враждебно настроен к интеллигенции и отражал настроения тех, кого мягко можно было бы назвать полуинтеллигенцией. Эта чисто материалистическая полуинтеллигенция с её жаждой власти была абсолютно чужда русскому народу.

В силу особой иронии оба, Ленин и Керенский, родились в одном и том же городе Симбирске. Это был небольшой районный центр, расположенный в среднем течении Волги. Теперь этот город называется Ульяновск. Керенский родился в апреле 1881 года. Ленин — в апреле 1870 года и, таким образом, на 11 лет был старше Керенского. Оба они принадлежали к одному и тому же классу общества. Отец Керенского был директором начальной школы. Отец Ленина был директором средней школы. В обоих семьях поощрялось гуманитарное образование. Ленин, ещё будучи студентом, выдвинулся в революционных кругах благодаря тому, что его старший брат принимал участие в покушении на Александра Третьего и Ленин воспользовался популярностью брата, чтобы возвыситься в революционной среде. Керенский же, наоборот, не был профессиональным революционером. Он окончил юридический факультет Петербургского университета и после нескольких неприятностей с полицией по поводу своей деятельности был сослан. По возвращении из ссылки он стал адвокатом революционеров. Его практика приносила небольшой доход, и согласно его жене Ольге Львовне и его двум сыновьям Олегу и Глебу, они жили весьма скромно. Его репутация блистательного оратора и человека высокого полёта началась в 1910 году, когда он был выбран в Думу четвёртого созыва. Он был выбран по мандату партии Трудовиков. В своих страстных речах он призывал к либеральным реформам, и его беспощадная критика Романовых сделала его известным по всей России. Люди, которые знали Керенского до восхождения во власть, говорили, что он был чувствительный, семейный, умеренный во всём человек. Ему было всего 36 лет, когда он стал Премьер-министром. Он был высокий, стройный и красивый, имел моложавый вид, тёмные, коротко подстриженные волосы и был всегда чисто выбрит. Очень шустрый в манерах, он быстро двигался и вообще, казалось, не останавливался.

Керенский не был организатором. Его политический успех был результатом его ораторского искусства и искренности политических убеждений. Он был одиноким борцом за чистую демократию. Ни одна партия административно не поддерживала его. Он даже не был членом Центрального Комитета социал-революционной партии, к которой его относили. Левое крыло этой партии смыкалась с коммунистами, требуя немедленного мира с Германией.

Ленину было сорок семь лет, когда он стал главой Советского правительства. Медленно двигающийся человек, со всё время что-то вычисляющим умом, практичный и реалистичный, он не заботился о демократической идеологии и постоянно повторял, что массы глупы до тупости и должны направляться лидером. Он был опытным организатором, его очень маленькая в 1917 году политическая партия марксистов-большевиков подчинялась ему беспрекословно.

Два человека, Керенский и Ленин, решали судьбу России и мира на столетия вперёд.

* * *

Керенский достиг пика популярности. Им восхищались, и он имел поддержку большинства населения страны. Вся власть была в его руках. Общая ситуация в стране здорово улучшилась, и порядок был восстановлен в большинстве областей России. Военная ситуация, казалось, благоприятствовала России, когда Америка 6 апреля 1917 года объявила войну Германии. Керенский запросто мог сделать страну демократической и свободной и в тоже время с нормальным порядком в стране. Однако, с первых шагов на посту Премьер-министра он показал полную непригодность, не прогнозируемость действий и неспособность даже просто оценить ситуацию. Вскоре после своего назначения он вдруг решил, что на фронте необходимо предпринять наступление. Это было его личное мнение, и оно было отрицательно принято членами Верховного командования и многими политическими лидерами. Ему говорили, что фронт длиной две с половиной тысячи километров хотя и держится, но пассивным образом, и его лучше не трогать. Керенский возражал, он верил в свою харизму и способность поднять солдат в атаку. Он начал доказывать, что немедленная победа на фронте позарез необходима для престижа его правительства. «Я поведу солдат», — сказал он и как министр обороны выехал на фронт.

Наступление в Галиции стало полной катастрофой с

отступлением и существенными потерями.

20 августа 1917 года прошло шесть недель, как Керенского избрали Премьер-министром. Широкие массы всё ещё верили в него. Его речи всё ещё возбуждали энтузиазм, он всё ещё был идолом русского народа. Однако, уже началась сильная критика, исходящая от несоциалистических либеральных и умеренно консервативных кругов. Полная дезорганизация и отсутствие всякого планирования в его правительстве. Полный волюнтаризм с одной стороны, и полная нерешительность с другой стороны. Он вообще никого не слушал, и что более всего удивительно, вообще игнорировал коммунистическую опасность, как будто её и не было. Он вообще отказался рассматривать передвижения Ленина, как угрозу правительству, и отказался пресечь подрывную деятельность коммунистов в армии. В результате провала наступления враждебность между Военным командованием армии и Керенским быстро нарастала. Офицерский состав обвинил его в том, что именно Керенский разложил армию своими зажигательными речами, отрицающими дисциплину и единоначалие в армии. Эта взаимная ненависть внезапно взорвалась и подготовила всё для успешного свержения демократического правительства.

Коммунисты в армии проводили всё возрастающую диверсионную и пропагандистскую деятельность. Они проникли во все армейские полки, где они сформировали коммунистические ячейки. Керенский демонстрировал очевидное нежелание предпринять какие-либо меры по наведению порядка. Всё это вылилось в то, что Главнокомандующий армией генерал Лавр Корнилов решился на чрезвычайный шаг. Генерал Корнилов имел репутацию прогрессивного человека, героя войны, блестящего военного стратега и честного патриота. Кстати, он был назначен на этот пост самим Керенским. Керенский и Корнилов оба оставили мемуары об этом, где каждый по своему интерпретирует ситуацию. Всё началось с того, что член Государственной Думы и бывший Обер-Прокурор Святейшего Синода Владимир Львов явился к Керенскому и, со слов самого Керенского, предъявил ему что-то вроде ультиматума от генерала Корнилова. Тот запрашивал у него, чтобы в Петербурге было объявлено военное положение, чтобы Военное командование получило больше власти, а правительство подало в отставку. Эта версия Корниловым отрицалась. Керенский поймал Корнилова. Он позвонил Корнилову по телефону и изобразил, как будто он соглашается с требованиями генерала, а сам телеграммой приказал арестовать Корнилова «для того, чтобы защитить свободу и порядок в стране». Крайняя степень лицемерия!

Ответная телеграмма Корнилова была резкой:

> «Телеграмма Премьер-министра — это ложь от начала и до конца. Я не посылал члена Думы Владимира Львова к Временному правительству. Он сам пришёл ко мне как представитель Премьер-министра. Член Государственной Думы Алексей Аладин может быть свидетелем этого. Таким образом, налицо откровенная провокация, которая угрожает судьбе отечества».

Чья бы правда ни была, Керенский арестовал Корнилова и назначил себя Верховным главнокомандующим. Офицерский корпус фактически отказался выполнять приказы Керенского. Даже юные, только что из школы офицеры стали к нему настроены враждебно. Постоянная подозрительность к армии сгубила Керенского, а арестом Корнилова Керенский просто обрубил сук, на котором сидел. Теперь не только офицеры, но и рядовые плевали на его приказы. Таким образом, к концу августа Керенский был уже политическим трупом: армия была против него, умеренные и либеральные партии тоже не хотели быть ассоциированы с Керенским, а левые всегда чихвостили его и в хвост и в гриву, хотя он и не имел мужества признать это. Народная популярность, это всё, что у Керенского тогда ещё оставалось.

Полнейшим парадоксом оставшихся шести недель его правления оказалось то, что в то время как у Керенского нашлись мужество и решительность подавить военную оппозицию, но он и пальцем не пошевелил, чтобы предпринять хоть какие-то меры против большевиков.

Я приехал в Петербург утром 7 октября. У меня с собой было письмо Ленина Григорию Пятакову, представителю центрального комитета большевиков на Украине. Я получил письмо от Николая Пятакова, который был братом Григория Пятакова, но умеренным либералом. Письмо представляло из себя приказ начать вооружённое выступление в Киеве 15 октября 1917 года, очевидно, что в этот же день Ленин думал свергнуть правительство и в Петербурге. Был октябрь 1917 года, который круто изменил курс русской истории. Стоял холодный и шустрый день, светлый и необычайно солнечный для октября. Проезжая в трамвае по Невскому проспекту, я не наблюдал признаков волнения и неспокойствия, как я ожидал увидеть. На иностранца октябрь 1917 года в Петербурге производил впечатление нормальной жизни: бары и рестораны, ночные клубы и театры были переполнены хорошо одетыми, весёлыми людьми. Людей, очевидно, не трогали политические перипетии в правительстве.

Балетная премьера в Мариинском театре как всегда привлекала публику. По такому случаю можно было видеть коммунистов Троцкого и Луначарского, сидящих в ложах плечом к плечу с Набоковым, Кишкиным или Милюковым, представляющих либеральные партии.

Люди в полевой военной форме на улицах воспринимались как логическое последствие войны, которая шла где-то далеко. Стоимость продуктов питания не была дорогой, хотя и была гораздо выше, чем в довоенное время. Некоторая инфляция была, однако военврач с зарплатой в 300 рублей мог скромно, но нормально прожить в Петербурге.

Буфет, куда я заскочил, чтобы перекусить, был забит мужиками, пьющими водку и закусывающими огромными бутербродами с чёрной икрой и лососиной. Великолепная Александровская площадь, знаменитая своими военными парадами, была в полном движении. Автомобили, извозчики, кавалеристы и марширующие войска давали ощущение хорошо организованного порядка. Подходя к Зимнему дворцу, расположенному на северной стороне площади, на меня сильное впечатление произвело большое количество автомобилей. Около обочины было припарковано не меньше семидесяти автомобилей различной расцветки и разновидности.

Но спокойствие было обманчивым. Серьёзная опасность угрожала молодому демократическому государству. Ситуация была настолько запутанной, что даже опытному наблюдателю было трудно распознать все политические силы, действующие на политической арене.

* * *

Романовская династия пала 27 февраля 1917 года. Февральская революция была внезапным результатом, спровоцированным условиями войны. Это был внезапный протест против правления Романовых. Никакая политическая партия не несёт ответственности за эту революцию.

Первое правительство было сформировано второго марта. Князь Львов, человек прогрессивных и либеральных традиций, стал Премьер-министром. Павел Милюков стал Министром Иностранных дел, а Гучков стал Министром Обороны. Чрезмерную, а может быть, и трагическую роль в образовании первого правительства играла Дума, которая к тому времени существовала уже десять лет. Политически все члены первого правительства принадлежали к кадетам и другим умеренным либералам. В этом правительстве единственным социалистом был Керенский, тогда он был членом Думы и лидером партии Трудовиков. В первом правительстве ему дали портфель Министра Юстиции и по совместительству сделали заместителем Премьер-министра.

Это правительство быстро исчерпало себя и распалось всего через два месяца, просуществовав со 2 марта по 2 мая. Оно распалось вследствие нарастающей деструктивной деятельности социалистических, то есть левых, партий. За время со 2 марта до переворота 25-го октября последовательно сменилось общим числом четыре Кабинета. Все Кабинеты быстро умирали вследствие, как тогда говорили, неспособности найти общий язык. Левые были неспособны найти общий язык с правыми и взаимно нейтрализовывали друг друга. В то время как большевистским — экстремистам как бы открывалось свободное поле, и они проходили в дамки.

Политическая ситуация после Февральской революции сильно осложнилась образованием неконституционного параллельного органа власти — Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Вначале Исполнительный Комитет Советов состоял, в основном, из правых или умеренных социалистов. Керенский, например, являясь Министром Юстиции и замом Премьер-министра, был ещё, вдобавок, и замом Председателя Исполкома Петросовета. Однако, с прибытием Ленина и Троцкого ситуация в Советах быстро изменилась, вследствие того, что Советы, на самом деле, не являлись демократически выборными учреждениями. В результате Петросовет был быстро оккупирован

экстремистами.

Кроме этого, с 3 по 24 июня 1917 года проходил первый Всероссийский Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором 17 июня 1917 года было избрано, фактически, параллельное правительство — ВЦИК первого Съезда Советов.

2-го мая было образовано второе Демократическое правительство. Теперь в правительстве большинство мест принадлежало коалиции либералов и умеренных социалистов. Князь Львов оставался Премьер-министром, Керенский стал Министром Обороны, Виктор Чернов стал Министром сельского хозяйства, а социал-демократ Церетели стал Главным Почтмейстером. Это правительство просуществовало тоже всего два месяца. В то время как большевики продолжали оставаться микроскопической фракцией на российской политической арене, в рядах многочисленных социалистов нарастали разногласия. В этих условиях, как бы между прочим, появилась неумолимая тенденция потворствования большевикам, которая быстро привела к сокрушительной трагедии русской демократии.

Самой большой политической партией была социал-революционная партия, к которой неформально принадлежал и Керенский. Роль этой партии в прошлом революционном движении, поддержка рабочих и крестьянства, а так же тот факт, что в основном она состояла из пресловутой «интеллигенции», объясняют то, что эта партия играла ведущую роль в политической жизни до переворота. К сожалению, в отличие от большевиков, в партии эсеров был полный хаос. Правое крыло эсеров с Савинковым, Масловым и другими было безусловно против большевиков. К центру принадлежали как раз Керенский, Зензинов и Авксеньтьев. Виктор Чернов, одна из влиятельных фигур социал-революционеров, был, безусловно, большевистским дружком, к которым также относились все левые эсеры типа Камкова, Штейнберга и других, очевидно, большевиков в эсерском обличье.

Другой, самой большой социалистической партией, были социал-демократы, больше известные под кличкой меньшевиков. У них был тот же хаос, как и у эсеров. Плеханов был настроен против большевиков, а левый Мартов был тоже замаскированным большевиком.

Третьего июля 1917 года большевики подняли свое первое вооружённое восстание против демократического правительства. Ленин с балкона особняка балерины Кшесинской призвал к вооружённому восстанию. Улицы Петербурга быстро наполнились вооружёнными солдатами и рабочими, которые останавливали автомобили, били витрины магазинов и постепенно окружали

Таврический дворец, где шло заседание Кабинета Министров. Керенский тогда отсутствовал, так как предполагалось, что он наводит порядок на фронте. Четвёртого июля большевики усилили натиск. Однако Семёновский и Измайловский полки остались верными правительству, и к ночи четвёртого июля порядок был восстановлен. Осиные гнёзда большевиков, дворец Кшесинской, а также усадьба Дурново и Петропавловская крепость, занятые большевиками, были очищены. Сенсацией этих дней было опубликование секретных материалов, свидетельствующих о том, что большевиков поддерживает Германское правительство, то есть правительство воюющего противника.

Некоторые из министров-либералов подали в отставку, но кризис продолжался ещё три недели до 24 июля и закончился образованием Коалиционного правительства с Керенским, как Премьер-министром, оставляющим за собой пост Министра Обороны. Борис Савинков получил пост заместителя министра обороны. Чернов остался Министром сельского хозяйства, а Терещенко — Министром Иностранных дел. Это правительство уже состояло из либеральных социалистов и вообще умеренных социалистов за исключением только Чернова.

Чехарда с правительствами усугублялась бездарными поражениями на фронте, начавшимися с того момента, как Керенский стал министром обороны. В июле Керенский назначил Верховным Главнокомандующим генерала Лазаря Корнилова, однако, отношения между ними быстро испортились, что и вылилось во всю эту историю, когда Керенский обвинил Корнилова в мятеже и арестовал его. После этого Керенский, будучи Премьер-министром, назначил себя Главнокомандующим армией, и первого сентября 1917 года Керенский провозгласил Россию республикой!

История с Корниловым сильно ухудшила политическую ситуацию в стране, так как Керенский лишился поддержки армии, да и большой несоциалистической части избирателей тоже.

После нескольких дней очередного кризиса в начале сентября было сформировано последнее демократическое правительство. Сначала оно состояло только из умеренных социалистов, кроме Терещенко, но к 26-му сентября в Кабинет были добавлены некоторые несоциалисты. Это были: Коновалов, Кишкин, Бернадский и Третьяков[6].

К октябрю Советы в Петербурге и Москве полностью перешли под контроль большевиков. Это отнюдь не означало, что они завоевали доверие рабочего класса. Как раз наоборот, если судить хотя бы по отношению крупных профсоюзов к большевикам.

Однако, как только большевики провозгласили себя защитниками рабочих, они тут же напали на правительство с обвинениями в сговоре с мировой буржуазией. Они потребовали немедленного созыва Учредительного Собрания, выборы которого шли уже полным ходом.

Несмотря на всю интенсивность холодной войны, которая яростно велась большевиками против правительства, всё это было только подготовкой вооружённого переворота. Крупные отряды заговорщиков были переброшены в Петербург из Латвии, Эстонии, Украины, Грузии и других мест и городов. Интересно, что переброска большевистских вооружённых сил прошла совершенно беспрепятственно. По оценкам официальных лиц к середине октября большевики имели в Петрограде около пятнадцати тысяч штыков.

Чем правительство отвечало на происки большевиков? Оно усиленно вырабатывало различные стратегии, которые на бумаге могли бы удовлетворить все политические партии, вне зависимости оттого, что творилось за окном. Занимаясь всем этим соглашательством, правительство совсем не обратило внимание на постановление, вынесенное конкурирующим органом власти, Петроградским Советом. Петроградский Совет двадцать пятого сентября 1917 года вынес постановление, что вся власть в стране должна перейти в руки Всероссийского Съезда Советов, ещё одного антиконституционного органа. Это, по существу, уже было открытым призывом к свержению законного правительства.

И когда в этот же самый день вопрос о большевистской опасности обсуждается на Всероссийском Демократическом Совещании, Церетели, лидер умеренных социал-демократов, заявляет, что: «демократия будет бороться с большевиками только политическими мерами, считая все остальные меры неприемлемыми». 23 сентября газета Максима Горького и Суханова «Новая жизнь» высмеивает само предположение, что большевики попытаются захватить власть силой, «как абсурдное и бессмысленное»[7].

Набоков (отец писателя) своих мемуарах (Архивы русской революции, том 1) с горечью вспоминает свою каждодневную депрессию, вызванную иррациональным поведением Керенского:

> «Почти каждый день Кабинетом принималось какое-нибудь решение в присутствии и с одобрения Керенского. И это было всё только для того, чтобы через несколько часов узнать, что это решение отменено по личному указанию Керенского, и он поступил совсем по

другому».

Часто говориться, что за большевиками был народ. Однако правдой было то, что большевиков в большом количестве можно было найти только в Петербурге и Москве. Муниципальные выборы сентября 1917 года дали большевикам только три процента голосов[8].

Таким образом, за исключением того, что они были чрезвычайно организованной партией, народ за большевиками не стоял.

Седьмого октября 1917 года на Всероссийском Демократическом Совещании основных политических партий был образован так называемый Предпарламент (Временный Совет Российской Республики). Кроме монархистов на нём были представлены все политические партии. Лучшие люди нации собрались в зале Мариинского дворца. Всего было 550 делегатов. Керенский открыл митинг, Авксеньтьев председательствовал. Керенский призвал к поддержке союзников по войне, то есть Англии и Франции, и к активному продолжению боевых действий.

Троцкий, говоря от лица большевиков, объявил, что интересы революции не совпадают с интересами Демократического Совещания и поэтому большевики уходят. Он обозвал всех присутствующих буржуями и призвал к немедленному миру с Германией вне зависимости от интересов капиталистических союзников. С этим уходом большевики сконцентрировались на непарламентском методе прихода к власти.

В течение последующих двух недель на Всероссийском Демократическом Совещании дебатировались вопросы войны и мира и иностранной политики в общем. Должен ли быть подписан сепаратный мир с Германией? Русская армия связывала большое количество германских вооружённых сил, и как насчёт наших моральных союзнических обязательств? И здесь раскол был очевиден: кадеты и все, кто справа, голосовали за продолжение войны, а все левые голосовали за мир с Германией. Потрясающе, но полковник Верховский, замминистра обороны то есть зам. самого Керенского, призвал к немедленному миру с Германией. Но только несколькими днями раньше, Министр Иностранных дел Терещенко (1886–1956. Сахарозаводчик, в 1917 году сначала министр финансов а затем министр иностранных дел), выступил с осуждением мирных предложений и поддержал выполнение союзнических обязательств. Правда, после этого выступления полковника Верховского уволили 23 октября, всего за два дня до переворота.

В то время как Всероссийское Демократическое Совещание продолжало дебатировать, слухи о готовящемся большевиками вооружённом мятеже, распространялись по городу.

Коновалов, член Кабинета, министр торговли и промышленности и человек действия, постоянно запрашивал от Керенского решительные меры для подавления антиправительственной деятельности. Керенский постоянно уверял его, что все меры приняты. Однако когда Коновалов стал это выяснять с генералом Багратуни Я. Г., начальником штаба Петербургского военного округа, то оказалось, что это всё враньё, и никакие меры приняты не были.

Керенский уехал на фронт и не возвратился до 17 октября. Военное командование Петроградом было в руках полковника Полковникова, коим лучшим приятелем оказался фактический большевик Камков.

* * *

Приёмная Премьер-министра была полна людей, ожидающих аудиенции. Хорошенькая секретарша замотала головой в ответ на мою просьбу видеть Керенского: «Записаны тридцать два человека, и некоторые ждут уже три дня». Я настаивал, что у меня чрезвычайное послание, но всё было напрасно, она отказала наотрез.

Внезапно я вспомнил, что мой однокашник Борис Флеккель был одним из секретарей Керенского.

Флеккель ещё мальчиком был маленького роста, с иссиня чёрными волосами, тёмными и живыми глазами, он был одним из лучших учеников школы. Он рано присоединился к партии социал-революционеров и революционному движению. В отличие от Ленина, Флеккель с отличием кончил юридический факультет Петербургского университета. Когда вспыхнула Февральская революция, Флеккель был всего рядовым солдатом. Его взяли в команду Керенского. Он обожал своего шефа, и тем не менее, в нём было мужество признать неспособность Керенского действовать в теперешней сложной ситуации. Он оставался в Петербурге после падения правительства и был убит через год, когда пытался перейти Самарский фронт.

Служащий доложил обо мне Флеккелю, и он тут же спустился. Мы прошли в его богатый кабинет, видимо, бывшую царскую приёмную.

Я показал ему письмо Ленина. Он совсем не удивился.

— Ситуация совсем плохая, Я знаю, но он этому не верит,

вернее, не хочет этому верить. Лидеры его партии тоже этому не верят. Все они просто уверены на все сто, что большевики не предпримут попытки захватить власть. Наивно, по-детски, но это так.

— Но Керенский же не глупый человек, у него же большой опыт.

— Это долгая история. Он совершенно переменился. Он ушёл от реальности, которая ему не нравиться. Тебе нет никакого смысла видеть Керенского. Он не обратит внимания на все твои предупреждения. Ты можешь только подействовать ему на нервы. К тому же, он занят сейчас с препарламентской сессией. Я думаю, что он уедет на пару дней на фронт. Это безнадёжно….

Но я настаивал:

— Это письмо первейшего значения. Это приказ Ленина Пятакову начать вооруженный путч 15 октября, через неделю. Письмо гласит, что в этот день, а скорее всего ночью, будет восстание и в Петербурге.

Флеккель печально закивал:

— Я верю этому письму. Все знают о планах Ленина. Хорошо, я устрою встречу с Керенским сегодня в 7 часов вечера. Я тут должен помочь ему с его речью. Но это всё — бесполезно.

— Что мне делать? — вскричал я в отчаянии.

— Искренне, я не знаю. Очень не многие могли бы тебя выслушать: Кишкин, Чайковский, Плеханов, но у них нет влияния на Керенского. Ты можешь попытаться поговорить с полковником Полковниковым, командующим военным округом Петрограда. Он отвечает за военную оборону города, но я боюсь тебя тоже ждёт разочарование. Однако попробуй, я сделаю, он тебя примет. Его кабинет на южной стороне Александровской площади.

Поглощённый своими мыслями, я вошёл в Александровский дворец, когда глубокий голос внезапно оборвал меня: «Что выделаете в этом бардаке Русской революции?». Я повернул голову и увидел высокого, крепко сложенного офицера. Сначала я не узнал его, но в следующую секунду я распознал в нём Бориса Савинкова[9] в форме армейского полковника. Я объяснил, что я пытаюсь привлечь внимание к заговору Ленина.

— Это безнадёжно, мой друг, в высшей степени безнадёжно. Я не понимаю, что случилось со всеми этими революционерами. Куда девался их революционный пыл? Где их мужество и готовность к решительным действиям. Где они? Они улетучились сей момент, когда стали у власти. Ленин и компания должны были быть арестованы уже давно. Я настаивал, я умолял Керенского… всё напрасно, никакого ответа. Я умываю руки. Везде самое вызывающее потакательство большевикам.

— Ну, не везде…, — запротестовал я.

— Везде в нашей партии…, — и он внезапно ушёл так же, как и появился.

Полковник Полковников, моложаво выглядящий человек, которому было лет под сорок, принял меня душевно. Я показал ему письмо Ленина. Письмо не произвело на него впечатления.

— Может это подделка, — сказал он.

Я подробно объяснил ему обстоятельства, при каких мне досталось это письмо. Он заколебался.

— Оставьте письмо мне, и я донесу его до сведения Керенского.

Я наотрез отказался.

— Это документ первейшей важности. И не хочу, чтобы он затерялся в ваших бумагах, полковник.

— Вы можете мне доверять. Во всяком случае, мы проводим истинно демократическую политику. Мы боремся с нашими врагами демократическими методами, а не полицейскими репрессиями.

— Не имеете ли вы ввиду, что вы боретесь с заговором против правительства с помощью примирительных жестов и дискуссий?

— Да, — допустил он. — Мы не можем арестовать Ленина и его сообщников.

— Почему нет?

— Мой дорогой друг, они же наши братья по демократической революции.

— Да что вы говорите? — я уже почти кричал. — Если они завтра подымут вооружённый путч, что тогда вы будете делать? Будут они с вами говорить? Вы будете объяснять им, что они действуют недемократическими методами?

— Они никогда не сделают эту глупость. Это всё воспалённая фантазия испуганной буржуазии.

— Спасибо, полковник, за содержательную беседу, — и я ушёл, даже не попрощавшись.

После обеда я наткнулся на Камкова, красивого жгучего брюнета, которого я знал ещё по университету. Он был левым социалистом и примкнул к большевикам в атаке на правительство Керенского.

— Что ты тут делаешь, Камков? — спросил я его. — Ты ведь должен быть в Смольном?

Интересно, что он ответил, вздрогнув от неожиданности:

— Я тут к своему другу, полковнику Полковникову пришёл.

Через две недели, 25 октября в три часа дня полковника Полковникова сняли с должности начальника командующего войсками Петроградского военного округа за неэффективность и

потакательство большевикам. Это было уже в день свержения демократического правительства и было уже поздно[10].

В семь я был на аудиенции. Керенский появился через несколько минут. Флеккель представил меня ему. Керенский, казалось, думал о своём и не очень слушал то, что я ему докладываю. Я дал ему письмо.

— Похоже на подделку, — сказал он после некоторого молчания.

— Но, Александр Фёдорович, смотрите! Совпадает с ленинским почерком в нашем досье, — заметил Флеккель.

Керенский посмотрел ещё раз на письмо, на этот раз с несколько большим вниманием:

— Откуда вы знаете, что это почерк Ленина?

Флеккель вмешался:

— Мы имеем копии ленинских писаний — один к одному, — и он достал из папки одну копию.

Керенский согласился, но добавил:

— Я не верю, что Ленин снова решиться на мятеж.

— Но ситуация изменилась.

— Что вы имеете ввиду? — он был почти что злой.

— У Вас уже нет поддержки армии, или какой либо партии.

Теперь он уже был злой, однако держал себя в руках.

— До свиданья, Соколов. Я очень занят. Передайте мой привет товарищам на фронте.

* * *

Вскоре после того, как я прибыл в Петербург, у меня был случай переговорить с членом правительства Кишкиным.

— Почему правительство ничего не делает против коммунистов? — спросил я его.

— Весь корень зла, в самом нашем правительстве — полное отсутствие политического мужества. Вокруг слишком много слов, которые покрывают полное бездействие. Наши решения, неважно насколько они решительные и определённые, просто не выполняются, никогда не оканчиваются действием. Пассивность и нерешительность — это симптомы психической болезни нашего правительства. И… именно наш Премьер-министр виновен во всей этой катастрофической ситуации.

Слухи о неизбежном коммунистическом мятеже нарастали с каждым днём. Армейская разведка докладывала, что большевики назначили день мятежа на ночь 16 октября (по старому стилю). Однако большевики отложили этот день. 17 октября Троцкий

провозгласил образование Военно-Революционного Комитета. Троцкий даже не делал из этого секрета. Фактически, он объявил об устранении военного командования Петербурга и замене его Военно-революционным Комитетом. Военно-Революционный Комитет составили коммунистические представители различных полков. Троцкий без устали объезжал полки и заводы, призывая солдат и рабочих присоединиться к приближающейся атаке на правительство.

Правительство бездействовало. Керенский вообще уехал и возвратился в город только 17 октября. Полковник Полковников, командующий войсками Петроградского военного округа, человек без военного опыта и откровенно сочувствующий большевикам, отвечал за военную оборону города. Все его действия ограничились изданием прокламации, запрещающей всякие митинги, направленные против правительства. Его вообще никто не слушал, и вообще никто ему не подчинялся. Ситуация в Петербурге была хорошо описана в газете «Русские Ведомости» за 20 октября:

> «Агитация большевиков за восстание против правительства проводится с огромным размахом на всех крупных заводах. За последние несколько дней небывалое количество дезертиров прибыло в город. Варшавский вокзал был забит подозрительного вида солдатами с бегающими глазами. В предместьях была та же гнетущая картина, а также толпы пьяных матросов вдоль Обводного канала. Начальник полиции Нарвского района сообщал, что большая банда пьяных матросов, агитирующих за коммунистов, появилась в районе».

23 октября Военно-Революционный Комитет Петроградского Совета, организованный Троцким и располагающийся в Смольном институте, разослал телеграммы во все полки, что теперь они выполняют приказания Военно-Революционного Комитета, а не военного командования. Это действие пробудило правительство от спячки. В тот же день собралось заседание Кабинета Министров под председательством заместителя Керенского Коновалова. Керенский тоже присутствовал. Все пришли к выводу, что действия коммунистов являются беззаконными и преступными. Полковник Полковников получил нагоняй, и было выдвинуто предложение заменить его. Ему же было приказано явиться на вечернее заседание правительства. Его доклад не внушал оптимизма: он обрисовал мрачную картину мятежа в действии, доложив, что коммунистами захвачен арсенал.

Коновалов предложил немедленно арестовать членов Военно-

Революционного Комитета. Керенский вместо этого говорил, что «Надо подождать ещё». Он предложил Генеральному Прокурору Малиантовичу завести уголовное дело против коммунистов.

24 октября Совет рабочих и крестьянских депутатов издал прокламацию, которая была открытым призывом к мятежу против правительства. Солдатам и всему населению в целом предписывалось выполнять приказы только Военно-Революционного Комитета, возглавляемого Троцким. Это был акт гражданской войны, объявленной коммунистами. В тот же день Керенский сделал речь перед Государственным Совещанием, она оказалась его последней речью:

> «Несмотря на все наши обсуждения с представителями Военно-Революционного Комитета, мы не получили определённого ответа от них, который бы говорил, что они отменили все свои декреты неподчинения правительству. Таким образом, они являются преступниками».

Сидя на галерее Мариинского дворца, я был ошарашен глупостью этого заявления. Его ум юридического человека, казалось, останавливался только на юридической стороне дела. Он, вроде, как удовлетворился провозгласить, что преступная и уголовная деятельность коммунистов теперь вне всякого сомнения. Не удивительно, что из аудитории от участников конференции слышалось: «Как наивно…», «Как абсурдно…!».

> — «Я потребовал, чтобы правовые меры были предприняты и были проведены соответствующие аресты, — сказал Керенский и с эмоциональным подъёмом продолжал, — Наше правительство может быть обвинено в слабости и огромном терпении, но ни один не имеет права сказать, что наше правительство за всё это время, когда я был его главой, когда-нибудь обращалось к резким мерам, если не было угрозы существования самой нашей республике…. Я обращаюсь к тем членам Государственного Совещания, которые обвиняли наше правительство в неспособности и бездеятельности».

Возгласы с места: «Полнейшее бездействие…», «Игнорирование!».

> «Я напомнил им, что наш демократический режим, режим свободы, должен быть полностью свободен от

подозрений в репрессивном и жестоком подходе».

В то время как, Керенский доставлял свою речь, его секретарь Флеккель вошёл в зал и предал ему записку. Керенский остановился. Он пробежал листок и слегка дрожащим голосом прочёл вслух, это было воззвание заместителя председателя Военно-Революционного Комитета Подвойского:

> «Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в опасности! Я приказываю вашему полку быть готовым к действиям и ожидать дальнейших инструкций. Всякая задержка и не повиновение этому приказу будет рассматриваться как измена революции».

Вместо решительных действий Керенский ещё двадцать минут изгалялся со своей речью. Он взывал к здравому смыслу коммунистов, он оправдывал своё собственное поведение, он обещал дать русскому народу всё то, что обещали и коммунисты. Речь была абсолютно лживой в её отрыве от реальности. Всё это звучало, как абсолютная вера в демократические принципы. Керенский закончил свою речь призывом ко всем политическим партиям, которые верили в демократию и были противниками диктатуры, дать свою полную поддержку демократическому режиму, которому грозит коммунистическая опасность. А вот этого, как раз, другие партии и не сделали. Вместо этого, левые представители всех партий решили провести «мирные переговоры» с коммунистическими лидерами. Это как раз давало время Троцкому для организации их военных сил в виде «красной гвардии».

«Мирные переговоры» продолжались всю ночь с вечера 24 октября до полудня 25 октября. Левые были полны надежд, как это они потом везде демонстрировали в Европе и во всём мире. Они настаивали, что договориться с коммунистами вполне возможно; но чтобы вообще с ними разговаривать, лучше всего делать так, как говорят коммунисты. «Мирные переговоры» быстро кончились безрезультатно по причине победы большевиков в городе Петербурге.

Поздно ночью 24 октября Керенский держал совещание с лидерами умеренного крыла социалистических партий. Авксеньтьев и Гоц были от его собственной партии, а Дан и Скобелев — от социал-демократов. Он обвинил их в отсутствии поддержки. Дан ответил, что они, дескать, более информированы чем он, а реакционно настроенные военные преувеличивают опасность ситуации. Он уверил Керенского, что большевики почти готовы сдаться.

Через два часа в 1.30 утра 25 октября к Керенскому пришли представители казацких полков. Казацкие полки имели какой-то иммунитет против коммунистической пропаганды и представляли существенную силу, которая могла запросто спасти ситуацию. Казаки потребовали, как условие их участия в подавлении коммунистического восстания, немедленного ареста Троцкого, Ленина, и других коммунистических лидеров, а Керенский не дал им этих гарантий. Вследствие этого, казаки не проявили особого интереса в плане защиты Керенского, а под конец они и не стали защищать его, кроме чисто условного участия в защите Зимнего дворца.

25 октября в 10 часов утра Военно-Революционный Комитет издал явно преждевременную прокламацию о том, что правительство свергнуто.

Патрули большевиков только начали появляться в центре города, приходя откуда-то из предместий. К полудню они оккупировали центральную телефонную станцию и Государственный банк. Керенский, информированный о безнадёжности ситуации, решил ретироваться в Гатчину, где находились несколько кавалерийских полков, преданные правительству. Слухи о том, что Керенский сбежал, быстро разнеслись по городу и произвели угнетающий эффект на тех, кто ещё хотел оказать сопротивление. Самое интересное во всём этом деле, что Керенский, затягивая до последнего, сбежал самый первый.

Я ещё спал после этой, всю ночь продолжавшейся конференции, когда позвонил телефон. Это был Демидов. Он сказал мне немедленно идти к Зимнему дворцу: «Посмотришь, как мы умрём за демократию» — сказал он. На часах было 11.30 утра 25 октября 1917 года.

* * *

Однажды после обеда я возвращался из больницы и проходил мимо Исаакиевского собора. Улицы были покрыты свежим снежком, которого насыпало уже сантиметров пятьдесят. На углу я нерешительно остановился, перед тем как пересечь заснеженную площадь. «Вот он!» — пробормотал рядом стоящий прохожий. Я взглянул и увидел фантастическое зрелище: роскошные сани восемнадцатого столетия, запряжённые шестью белыми арабскими скакунами проплывали мимо моих изумлённых глаз. Кучер, огромный детина с большой чёрной бородой и в красном кафтане, вёз своего хозяина, красивого

молодого человека с бакенбардами и в цилиндре, который комфортабельно устроился в санях.

— Кто этот кретин? — спросил я прохожего.

— Князь К. — ответил тот с чувством уважения. — Он праправнук князя К., фаворита Екатерины Великой.

— Он не сумасшедший, это молодой человек?

— Совершенно нет. Мне сказывали, что он блестящий человек, великолепно образованный и знаток изящных искусств. Он переоборудовал часть своего прадедушкиного дворца под великолепный музей.

— Но почему он так странно одет? — настаивал я.

— Я думаю. Он демонстрирует своё отрицательное отношение к сегодняшней цивилизации и предпочитает оставаться в старом времени. Он отказывается покупать автомобили и ездит на прадедушкиных фаэтонах. Он одевается в одежды того времени и своих слуг одевает также.

— Комплекс неполноценности?

— Не знаю какой комплекс, но денег у него куры не клюют. Его предки копейку берегли.

Заинтригованный этим необычным молодым человеком я попросил своего дядю сделать мне к нему аудиенцию.

Князь смирился с моим вторжением, когда я объяснил ему, что я интересуюсь всем необычным и, вообще, человеческой природой. Он предложил мне шампанского столетней давности и свежую чёрную икру. Было четыре часа дня, и он заметил мне, что он пьет шампанское, так как не признаёт современные напитки типа чая и кофе, и что шампанское — единственный напиток, который «показывает мне жизнь в её истинных красках».

Он показал мне его собрание прекрасных картин и обстоятельно говорил об искусстве. Его знания в этой области были исключительные. Он получил своё образование в Кембридже и провёл несколько лет в Париже, изучая искусство. Его кабинет был огромный. Окна до потолка, стены, покрытые портретами предков, которые все впечатляли своей мужественностью и были высокими, широкоплечими, прекрасными, русоволосыми богатырями из русских сказок.

— Вы удивлены, почему я маленький и чёрненький и не похож на них? Что за ирония быть потомком таких образцов с такой непримечательной внешностью как у меня. Да, это тяжёлое наследство. Ночами, когда я работаю в кабинете, я слышу их громкие разговоры. Их смех и шутки. Я знаю жизнь каждого из этих разбойников наизусть. Я живу с ними вместе снова и снова. Они в моей крови и в моей душе. Я завидую их рыцарскому духу, их способности превращать свои эмоции в немедленные действия.

Они жили, и они взяли от жизни всё, что хотели. Они умерли также легко, как они и жили, совершенно не отягощённые своей смертью, грехами, моралью. И они в моей крови, и делают её горячей и беспокойной. Эта наследственность отравляет меня. Я хотел бы жить жизнью своих предков.

Он нервно ходил туда сюда по кабинету.

— Я, конечно, трансценденталист не столько логический, сколько из опыта. Наследственность во мне нечто гораздо большее, чем простая передача признаков. Я верю в бога и человеческую душу, и я уверен, что душа одного из моих предков передана мне. И вот я здесь, с этой душой и без их мужества; я даже не умею сражаться, я даже не могу принять никакого решения без колебаний и долгих раздумываний. Вместо того чтобы быть как они, разбойником, я всего лишь эстет, эстетический дилетант, сибарит, человек, живущий чувствами по преимуществу. Я живу жизнью нереальной, в прошлом моих предков. Я знаю, что это по-детски одеваться в такие одежды и претендовать на то, что я, дескать, в прошлом. Но это сильнее меня, это род психоза, назовите это как угодно. Этот маскарад делает меня ближе к моей реальности, или нереальности. Я консультировался у психиатра. Он сказал, что-то о шизофренической личности, но добавил, что если я не представляю опасности для окружающих, то лучше пользоваться термином — эксцентрическая личность.

Через двенадцать лет я встретил князя К. в Ницце, одетого в обычный костюм двадцатого столетия.

Его состояние было конфисковано, и он стал обычным человеком. Он зарабатывал себе на жизнь перепродажей предметов искусства.

* * *

Несколько недель Керенский прятался в одном из Романовских дворцов в Гатчине, национализированных правительством самого Керенского, как памятники архитектуры и искусства. Смотрителем дворца был граф Валентин Платонович Зубов, бывший профессор истории искусства в Петербургском университете. Потом Керенский с чьей-то помощью улизнул в Финляндию и оттуда, переодетым матросом, его перевезли в Англию. Его бегство было хорошо организовано.

Я встретил его за шесть лет до его смерти в Лондоне. У нас был неплохой обед вместе с его сыновьями Олегом и Глебом. Он был почти что слеп, но по-прежнему очень подвижен. Он

отказался взять на себя ответственность за трагедию демократической России. Он продолжал доказывать, что он сделал всё в его власти, чтобы спасти Россию. Он умер в 1970 году в Нью-Йорке в возрасте 88 лет. С одной почкой он пережил Ленина на сорок шесть лет. Говорят, он был самый эффективный английский агент за всю историю Британской Империи.

Когда всё проиграно.

Я ожидал, конечно, что большевики нападут на правительство, но я не никак себе не мог представить, что победа будет настолько лёгкой и практически бескровной. В соответствии с тем, что я слышал от Демидова, единственным местом, где было хоть какое-то сопротивление, был Зимний дворец. Всё было настолько абсурдно — как кошмар.

Я быстро шёл из моего дома в направлении Зимнего дворца. Утро было серым, и небо было сильно облачным. Жизнь вокруг текла, казалось, как обычно: почтальоны разносили письма, девушки, секретарши или продавщицы, спешили на работу. Только потом я заметил вдалеке красный патруль. Это были четыре человека с красными повязками на руке. Они шли медленно и неуверенно, оглядываясь, незнакомцы в чужом городе. Я дошёл до Александровской площади, когда снова наткнулся на красный патруль.

— Куда вы идете, гражданин?

— Я иду в госпиталь.

Я был в форме капитана медицинской службы.

— Пусть идёт. Он доктор, — сказал который постарше.

Я пересёк Невский и достиг Дворцовой площади, на которой не было никаких красных. Группы курсантов из военных училищ формировали кордон вокруг Зимнего дворца. Там и сям несколько орудий стояли с дежурившими возле них курсантами. Они не возражали, чтобы я прошёл в Зимний дворец.

Там был полный хаос. Залы были полны солдат, офицеров и гражданских. Они без дела слонялись туда сюда, разговаривая между собой. Казалось, никто не отвечал за порядок. Я тут же разыскал Флеккеля:

— Это бардак, никто не знает, что делать, — горько пожаловался он.

— Где Демидов? — спросил я.

— Он и Пальчинский одни из немногих, которые хоть что-то делают. Я думаю, он патрулирует правое крыло дворца, примыкающее к Эрмитажу. Как можно вообще защитить Зимний дворец, где миллион входов и выходов со всех сторон? Пойдём

наверх.

Он привёл меня в огромную комнату потрясающей роскоши. Это была комната Николая Второго, а затем её занимал Керенский.

«Вот наше правительство минус Керенский», — заметил Флеккель иронически.

В креслах, на столах, на подоконниках сидели министры и другие правительственные чиновники. Не было никакой общей дискуссии, так только, если кто разговаривал между собой. Все внезапно замолкали, когда кто-нибудь приходил со свежими новостями. Высокий усатый мужчина в состоянии возбуждения пытался убедить группу людей, слушавшую его без особого энтузиазма: «Мы должны, мы должны защитить Зимний дворец во что бы то ни стало, — повторял он снова и снова. — Не позднее 48 часов, я вас уверяю, мы получим подкрепление. Казачьи полки идут из Пскова и других мест. Я умоляю, я умоляю, давайте драться, стоять насмерть». Это был Терещенко, Государственный секретарь, он пытался зародить энтузиазм в своих коллегах.

Грузный человек с молодым лицом, русоволосый, перебил его: «Конечно, мы должны защищать Зимний дворец. Это место нашего правительства. Как только большевики его возьмут, всё — сражение проиграно. Но позвольте, как, как это бесконечное здание можно оборонять? Три сотни окон, каждое величиной с дом, и двадцать два входа. Вы, господа, много разговаривали в последние два месяца. Теперь настало время пожать урожай посеянный нашим многоуважаемым другом Керенским, который оставил нас в этом дерьме», — это был Сергей Маслов, секретарь по сельскому хозяйству, один из ярых противников коммунистов.

Было два часа пополудни, когда вбежал Кишкин. Он был встречен шквалом вопросов: «Что нового?», «Где казаки?», «Что в генеральном штабе?». Кишкин был злой.

— Генеральный штаб ни черта не делает…. Они сидят и ждут…. Спрашивается чего…? Бог их знает. Я уволил полковника Полковникова, мерзавца и потворщика. Я принял на себя защиту Петербурга. Боюсь, только слишком поздно. Демократические партии в полном замешательстве. Невский проспект под контролем большевиков, у них броневики. Они движутся по направлению к дворцу. Они также подтягиваются со стороны Миллионной улицы….

Он был прерван только что вошедшим офицером.

— Крейсер «Аврора» только что видели в устье идущим вверх по реке, — доложил он Кишкину.

— О, господи! — воскликнул Маслов. — Это конец! «Аврора» в руках большевиков. Они будут стрелять по дворцу.

Вместе с Флеккелем мы покинули зал и начали циркулировать между многочисленными комнатами. С прибытием Кишкина определённый порядок восстановился.

Мы нашли Демидова с его кадетами в правом крыле. Он баррикадировал входы со стороны Эрмитажа. На Александровской площади кадеты спешно возводили баррикады вокруг здания. «Жалкое подобие обороны, — сердито пробормотал Демидов. — Мы проиграли… мы … мы заслуживаем этого… слюнявая интеллигенция… мы должны испить чашу до конца… наша судьба пасть со славой, как первые христиане».

Темнота спустилась на несчастный город. Напряжение выросло настолько, что курсанты военных училищ Ораниебаума и Петергофа, составляющие большинство оборонительных сил, решили созвать митинг по поводу того, что вообще-то, имеет ли смысл обороняться. Все они были университетскими студентами, призванными в армию и посланными в офицерскую школу. «Да, — сказали они. — Мы готовы драться, но нам необходимо сильное руководство». Они жаждали действий, а не гнетущего ожидания атаки большевиков. «Они нас перережут как котят в этом дырявом здании», — жаловались они. Кишкину пришлось полчаса уговаривать их выполнить свой долг по защите демократии.

Пришло подкрепление. Их было всего человек двести: казаки, армейские ветераны с георгиевскими крестами и женский ударный батальон. Демидов, стоя со мной в вестибюле, воскликнул: «О, господи! Ольга привала их сюда!».

Командиром женского батальона была его сестра, которая смотрелась очень воинственно в форме армейского капитана. Я встречал её до этого: русоволосая, высокая с прекрасной фигурой, она очень серьёзно относилась к идее Керенского организации женского батальона. Все девушки были высокие и спортивного вида. Они правильно несли свои ружья и маршировали по военному. На их погонах был чёрный череп на белом фоне — знак, что они готовы отдать жизнь за родину. Полные мужества, они промаршировали через мрачный Дворцовый зал, улыбаясь и подбадривая защитников.

Однако, надежды связанные с появлением подкрепления были кратковременными, к семи вечера ситуация стала критической. Дворец был окружён со всех сторон, и сильная группа большевиков вошла во дворец со стороны Дворцового канала и проникла далеко внутрь здания. Несколько курсантов были убиты, некоторые захвачены в плен.

Я был в передней части дворца, выходящей на набережную, когда «Аврора» открыла огонь. Оконные стёкла полетели в разные

стороны, и пули впились в стены. К счастью, это был только пулемётный огонь. Одна пуля сделала дырку в портрете Екатерины Второй, который висел на стене, ирония судьбы — пуля пробила её сердце. Защитники молчали, не было смысла отвечать на огонь врага, находящегося под защитой крейсера.

В вестибюле началось какое-то движение. Флеккель подбежал ко мне: «Девицы сошли с ума! Они хотят выйти из дворца и атаковать большевиков. Останови их! Это сумасшествие! Они всех их перебьют!». Но ни я, ни Демидов, не могли их отговорить от этого самоубийства. «Мы должны спасти демократию!» — ответила Ольга своему брату.

Площадь была в полумраке. Несколько газовых фонарей отбрасывали тусклый свет на людей, которые образовали гигантский круг вокруг дворца. Как осьминог, большевистские группы, медленно двигаясь, направляли свои щупальца то туда, то сюда. Где-то позади Имперского монумента была постоянная возня, движение людей, приходящих и отбывающих в большевистский штаб.

Женский батальон выдвинулся в боевом порядке с ружьями в руках. Девушки пересекли линию баррикад, охраняемую курсантами. Прозвучал женский голос: «Ружья к бою! Огонь!».

Они дали залп и побежали вперёд. Продвигаясь всё быстрее и быстрее, они целили на левый фланг большевиков. Удивлённые неожиданностью атаки, большевики отошли; некоторые быстро, некоторые медленно. Несколько человек было убито или ранено. «Они в опасности! — закричал Демидов, который вместе со мной беспокойно наблюдал за боем. — Смотри! Мерзавцы окружают их! Большевики атакуют их правый фланг».

Большая группа большевиков быстро передвигалась со стороны реки, заходя девушкам в тыл. Выстрелы и нечеловеческие вопли раздались в тишине звёздно-синей ночи, когда атакующие большевики начали расстреливать девушек. Появились убитые и пленные[11].

Видя жестокость нападающих, Демидов обратился к курсантам: «За мной!».

Я последовал за ним, прихватив ружьё. Мы бежали, как будто в нас вселился чёрт. Мы даже позабыли стрелять. Это получилась штыковая атака. С яростью мы атаковали превосходящие силы врага. Кого-то мы убили, и они отошли, ошарашенные неожиданным ответом. Курсанты освободили часть пленённых девушек, приведя их обратно во дворец. Несколько девушек было серьёзно ранено, но большинство отделалось царапинами. Сестра Демидова была среди тех, кого удалось вызволить. Вся её форма была изорвана, в крови и грязи. Сильно кровило и её пробитое

пулей плечо.

Мы взяли их в одну из спальней царицы. Они лежали на кровати и на полу, выдохшиеся и испуганные, но полные воодушевления. «Мы должны отыграться!» — пробормотала Ольга, когда я перебинтовывал её рану.

После неудачной попытки женского батальона, спокойствие снова опустилось на Александровскую площадь. Ситуация внутри Зимнего дворца быстро ухудшалась. К полуночи всем стало ясно, что помощи ждать неоткуда. С мрачными лицами, молчаливо, полностью измотанные, члены Кабинета Правительства поняли, что они проиграли. Один Кишкин пытался ещё найти помощь. Он позвонил Хрущёву, исполнительному секретарю партии социал-революционеров, и умолял его прислать несколько сот человек. «Что стоит вся ваша политическая партия, если вы никого не можете мобилизовать в случае необходимости!» — потребовал Кишкин.

Отказ Хрущёва был последним сообщением защитников дворца с внешним миром.

В спальне царицы Демидов держал совещание с несколькими офицерами и девушками.

— Мы должны найти способ бежать из дворца прежде, чем его захватят коммунисты. Мы не можем отдать девушек на растерзание этим животным.

Мы все согласились, но дворец был окружён, и все выходы контролировались большевиками.

— У меня есть план, он может сработать, — сказал Демидов и ушёл куда то с двумя помощниками.

Через тридцать минут он вернулся радостный:

— У нас есть шанс! Маленький шанс, но может получиться.

И он объяснил, что на чердаке есть дверь на крышу. Он нашёл её и выломал замок.

— И что? Куда вы попадёте с крыши? — спросил скептически Флеккель.

— На восточной стороне дворца есть задняя лестница, ведущая к подземным коммуникациям. Оттуда мы можем проникнуть в Эрмитаж, — сказал Демидов.

— Ну и что, что мы доберёмся до подземных коммуникаций, большевики наверняка уже там, — не унимался Флеккель.

— Надо пробовать, у нас нет другого выхода.

По одному девушки покинули спальню царицы, за ними последовали несколько курсантов Павловской офицерской школы, замыкали я и Флеккель. Мы быстро выбрались на крышу и медленно и тихо, то и дело спотыкаясь, передвигались к восточной стороне дворца. Мы достигли конца и спустились по

лестнице, а затем в полнейшей темноте, по туннелю, прорытому ещё во время Екатерины Великой, мы пробрались в Эрмитаж. Вёл нас Демидов, позднее я узнал, что он был частым посетителем этой сокровищницы искусств. «Мы здесь будем в безопасности, — прошептал он. — Это Египетская комната. Сюда редко кто заходит». Он запер дверь и с облегчением в голосе добавил: «Мы должны здесь отсидеться, поэтому расслабьтесь и постарайтесь отдохнуть».

Мы расположились на полу, рядом с неподвижными фигурами египетских принцесс. Мы старались заснуть. Кто-то громко зевнул и сказал:

— Какая слава сражаться за демократию!

— По крайней мере мы сегодня в такой интересной компании, — ответил кто-то из девушек.

— Тихо! — потребовал Демидов.

Было солнечное и яркое утро. Все ещё спали, ворочаясь и храпя, только Демидов уже сидел в удобном кресле, читая книгу по Египетскому искусству. «Интересное чтиво», — сказал он, но я не был в настроении обсуждать египетское искусство.

Скоро он вышел, заперев нас внутри. Через два часа он возвратился, принеся бутерброды и кофе.

«Всё под контролем, — провозгласил он. — Эрмитаж свободен от недружественных элементов. Большевики ушли из него. Они оккупировали Зимний дворец».

И он сказал, что нам лучше оставаться тут еще, по крайней мере, часов десять, а затем с наступлением темноты постараться выскользнуть на свободу. Он предложил прочесть лекцию о египетском искусстве. Его предложение было встречено холодным отказом. Время тянулось ужасающе медленно, кто-то иногда переговаривался друг с другом. Я стоял с Демидовым у окна открывающегося на Неву. Мы молчали, охваченные одним и тем же чувством. Наша Россия, Россия идеализма, Россия мучительно ищущих душ, Россия страстной любви была потеряна навсегда.

В семь вечера пришли две женщины, принеся гражданские платья для девушек. Они сказали нам, что Зимний дворец сдался рано утром; и что девятнадцать членов правительства и другие высокопоставленные чиновники были арестованы Антоновым, комиссаром Военно-революционного комитета, и их посадили в Петропавловскую крепость, что было сделано с остальными защитниками Зимнего Дворца было неизвестно, и скорее всего с ними произошло самое худшее из того, что могло случиться. Они рассказали также, что сформировано новое правительство, состоящее из большевиков и представителей левых партий.

Мы покинули зал, одна из женщин провела нас в подвал, через который мы добрались до Летнего сада и достигли свободы. Свободы? В два кратких дня Петербург, цитадель демократии, превратился в мрачные и ужасные застенки.

Жизнь как обычно

Я был разбужен ранним звонком в дверь. Почтальон отдал мне почту. Изумлённый, я спросил его: «Что, почта сегодня работает?».

Было утро 26 октября 1917 года. Почтальон, которого я знал ещё со школьных лет, широко улыбнулся:

— Конечно работает, а почему нет?

— А что в городе нет переворота?

— А, это.… Вообще-то есть.

— Новое правительство?

— Да, говорят, Керенский бежал, — прошептал он мне на ухо, как будто это был большой секрет.

— И кто победил? — выпытывал я.

— Ленин и Троцкий с товарищами.

— Что ты думаешь об этой перемене?

Он почесал свою голову и с робкой улыбкой ответил:

— Лучше… хуже… кто знает?

Было письмо от моего друга доктора Александра Л., который работал в больнице Святой Елены. Он просил меня срочно зайти к нему в больницу. Было два новых случая рака, и требовалась моя консультация. В этих политических событиях я совершенно забыл, что люди продолжают болеть.

На улицах Петербурга не было никаких признаков революции. Трамваи ходили абсолютно также, только пассажиров было меньше. Пекарни и бакалейные магазины были открыта, и газетные киоски предлагали газеты как всегда. Главной новость было новое правительство, которое объявляло себя народным правительством. Никаких известий о Керенском. Кабинет Министров под арестом.

Невский проспект был пуст. Никакого признака шумной и праздной толпы, которая обычно в это время уже наполняла тротуары. Вместо этого, группы матросов патрулировали проспект.

Я нашёл больницу в обычной её деятельности. Сёстры и врачи работали, операционные готовились принять пациентов, в родильном отделении слышались крики новорождённых.

Я нашёл доктора Л. в ординаторской. Он обсуждал случай острого нефроза с двумя молодыми врачами.

— Я рад, что ты пришёл. Пойдём, — сказал он мне, пожимая мне руку.

— Что случилось вчера…, — начал я.

— Да, да, страшные дела, — перебил он меня нетерпеливо. — Большевики захватили власть…. Надо торопиться, доктор К. умирает и хочет тебя видеть. Он вчера несколько раз спрашивал о тебе. Я не мог дозвониться до тебя по телефону.

— От чего он умирает?

— Рак лёгкого.

Доктор К. действительно умирал. Конец был близок для этого изумительного человека. Врач и философ, он был моим профессором патологии. Мы провели с ним много времени вместе, обсуждая проблемы науки и медицины. Мы всегда не соглашались. Его острый, аналитический ум уводил его в материалистическую философию, делая его сторонником крайнего материализма в биологии. Он был бескомпромиссным и суровым атеистом. Он знал Бэкона и Демокрита наизусть и часто мне цитировал их. Он не находил ничего ошибочного в последних биологических теориях Вейсмана и Ру, приверженцев материалистического направления, поэтому, при всём моём уважении к нему, я был не уверен, что он мне на самом деле нравиться.

И вот он умирал. Мне было удивительно, что он хочет от меня, думал я, следуя за доктором Л.

Истощённый и очень бледный, он лежал на кровати, читая книгу.

— «Я рад тебя видеть», — с трудом произнёс он. «Я счастлив, — добавил он с необычным для него чувством. — Из всех людей ты более всего сейчас мне нужен. Это мне нужно для того, чтобы сказать несколько слов перед тем, как я покину этот мир».

Я заметил, что он читал «Разум и мировой порядок» Льюиса.

— Интересная книга, — заметил он. — Она воодушевляет. Американский философ Дьюи во многом соглашается с ним[12].

— Но я вижу очень мало общего в мышлении Льюиса и Дьюи. Льюис более последователь Канта или, если угодно, неокантианец. Однако, — и он улыбнулся, — Я позвал тебя не для того, чтобы говорить о книгах. Это очень странно, как люди могут быть охвачены идеями. Я долго думал над этим ночами и мне очень захотелось видеть тебя, и рассказать тебе о себе. Я знаю, что мы никогда не были друзьями, и я всегда подозревал, что ты меня недолюбливаешь. Нет, не меня лично, а всё то, чему я учил и проповедовал. Теперь настал день раскаяния.

Я смотрел в его большие серые глаза, добрые и ласковые,

спокойные и проникающие.

— Я знаю, что я умираю. Я знаю это уже три месяца. Даже, когда у меня был только кашель — я уже был уверен, что у меня рак. Сначала не было никакого объективного подтверждения раку, но я знал на сто процентов, что у меня рак. Я готов уйти. Я признаю, что это потребовало некоторого времени, чтобы я смирился с этим фактом. Очень болезненный для меня факт. Человек никогда не может согласиться с необходимостью своей смерти, сколько бы он не жил. И столько работы остаётся неоконченной. Она никогда не будет окончена.

С того момента, как три месяца назад я узнал, что у меня смертельная болезнь, я как-то плохо свыкался с мыслью о смерти, моей смерти. Я понимал, что после моей смерти ничего от меня не останется. Полнейшее разложение моего истощённого тела на отдельные молекулы. И постепенно во мне начал расти протест против этого основного факта, который я проповедовал всю свою сознательную жизнь. Нет, — сказал он, как бы боясь, что я прерву его, — Я не боюсь смерти. Я уже слишком болен, чтобы бояться смерти. Жизнь уже слишком болезненна для меня. Смерть для меня уже облегчение. Смерть — это спасение во всех таких случаях, когда болезнь является пыткой.

Он замолчал на несколько минут.

— Когда моё тело стало терять жизненную силу, и мои силы иссякли, у меня появилось престраннейшее чувство. Это чувство росло по мере того, как прогрессировала болезнь. Это ощущение стало преобладающим и не зависело от того, о чём я вообще думаю. Это чувство было чуждым моему образу мышления и логике. Оно началось со смутного ощущения, и я сначала отбросил его. Но затем оно развилось в веру более сильную, чем все мои прошлые интеллектуальные убеждения. В веру в бессмертность моей души. Как биолог, я попытался проанализировать своё новое убеждение. Моё тело почти умерло, однако, мой ум ясен. Логически я не могу допустить никакую степень бессмертия моей и ничьей души. Но внутренним чувством я ощущаю, что моя душа бессмертна. Я помню, как я спорил с тобой по поводу интуиции, а сейчас я так ясно ощущаю в себе эту интуицию, как будто я рассматриваю клетку под микроскопом. Это очень странное чувство.

Я стараюсь понять его научное значение. Может быть, только когда жизненные силы человека снижаются ниже критического уровня, только тогда он начинает ощущать бессмертие своей души.

Он начал тяжело дышать, и говорил с трудом.

— Это всё, что я хотел сказать тебе…., стать друзьями… я

выдохся, но я очень счастлив рассказать тебе о моих последних часах на этой земле…. До свидания….

Я наклонился и поцеловал его в лоб. Я не мог выговорить и слова. Когда я уходил, он заснул.

Доктор Л. встретил меня в коридоре.

— Как он?

— Я не осматривал его, но осталось немного.

— Почему он хотел тебя видеть? — доктора Л. разбирало любопытство.

Я не был настроен на разговор:

— Это насчёт его работы.

— Мне нужно твоё мнение насчёт второго случая, — сказал доктор Л.

— Мы поставили диагноз саркомы средостения. Однако мы не уверены.

— Кто пациент?

— Молодой человек по фамилии Харитонов.

— Харитонов? — спросил я с беспокойством, — не Иван ли?

— По моему, Иван.

— Не может быть. Год назад он был совершенно здоров.

Но сомнения отпали, это был мой давний друг Иван Харитонов, сражённый смертельной болезнью.

* * *

Когда я ещё был школьником, я два лета провёл работая в литографической мастерской. Это было здорово. Было очень интересно изучать искусство литографии и заработать немного денег.

Я был помощником у литографического пресса. С самого начала в мастерской мне понравилось всё: запах скипидара и краски, и отношение рабочих к своей работе как к искусству. Я был изумлён множеством цветов и красок и их разнообразными комбинациями, получающимися на отпечатке на камне. Моим мастером был Иван Харитонов, он любил своё искусство. Посмотреть хотя бы его прекрасные литографии старых датских мастеров. Часто эффект мог быть достигнут только сочетанием десяти или более цветов.

Харитонов сначала отнёсся ко мне с подозрением.

— Твои руки, это руки никогда не работавшего мальчика, — сказал он сухо. — Почему тебе вдруг взбрело в голову стать литографом?

Что я мог ему ответить? Я старался как мог, и на следующее

утро он был уже более дружелюбен. Он показывал мне секреты литографического искусства.

Он был замечательным человеком во всех отношениях. Ему было тогда под тридцать. Он был красив, с добрым лицом и добродушной улыбкой. Сын литографского рабочего, он был хорошо образован и начитан, хотя у него и не было возможности закончить школу. Он рано женился и столкнулся с необходимостью обеспечивать семью. Однако, он никогда не сожалел, что остался рабочим. С его хваткой и памятью, он легко мог бы стать врачом или адвокатом. Но у него не было амбиций и материальных устремлений. Он жил со своей женой и двумя маленькими детьми в трёхкомнатной квартире в старом кирпичном доме. Когда мы познакомились, он организовывал международный литографический профсоюз. Он был избран председателем и скоро сделал профсоюз одним из лучших в России.

Харитонов любил говорить со мной. Когда я с ним работал над сложным заказом, он рассказывал мне своим глубоким, музыкальным голосом о своих идеях и планах. Он любил говорить так:

— Некоторые люди думают, что есть люди плохие, и есть люди хорошие. Это, дружок, большая ошибка. Нет самих по себе плохих и хороших людей, но все могут быть плохими или хорошими. В каждом человеке есть семена хорошего. Проблема нашего цивилизованного общества заключается в том, что мы должны растить именно семена хорошего. И это почему-то оказывается проблемой. Это каждый так может сказать, что он верит в демократию. Но это, на самом деле, очень долгая дорога к тому состоянию, когда каждый человек думает и действует как демократ. Демократия накладывает очень высокую ответственность на того человека, который объявляет, что он демократ. Она означает пожертвование своими личными амбициями и желаниями. Она означает любовь к своему ближнему, добрую волю и ограничение всех эгоистических мотивов. Это легко заявлять, что я демократ, когда демократия означает только качание прав. Почему то никто не подчёркивает значение ответственности членов, так называемого, демократического общества. Эта ответственность должна быть гораздо больше, чем у членов монархии или вообще диктатуры. Да, дружок, ещё надо дорасти до демократического общества.

Харитонов был против марксизма, который становился популярным среди рабочих классов.

— Марксизм чужд русскому народу и русскому духу, но к несчастью, идёт под популярной вывеской классовой борьбы.

Иногда Харитонов брал меня на политические митинги. Обычно они происходили в зале культурного общества «Наука». Как правило, дебаты были яростными и шумными и вращались, в основном, вокруг марксизма и идеалистического социализма. На одном из таких митингов Харитонов указал мне на одного человека: «Вон там сидит необычайный человек, Мигунов. Он был очень богатым человеком, но он отдал всё своё состояние на строительство вечерних школ для рабочих в Петербурге и его родном городе. Теперь он беден. У него ничего нет. Он работает механиком на Франко-русском заводе».

После митинга он представил меня Мигунову. Мигунову было лет сорок, очень высокий, чисто выбритый, с тёмными, глубоко сидящими глазами. Его седеющие волосы были коротко подстрижены. Мигунов посмотрел на меня и сказал Харитонову:

— Этот мальчик ещё слишком юн, Иван Михайлович, чтобы ходить на эти дурацкие митинги.

— Он настоящий рабочий человек, зарабатывает себе на жизнь, — ответил Харитонов, — Он очень хочет всё узнать.

— Иди сюда, сынок, — Мигунов обратился ко мне. — Я хочу поговорить с тобой, о тебе.

Мы нашли два пустых кресла снаружи зала и сели. Он смотрел на меня несколько минут, не говоря ни слова.

— Да, ты принадлежишь к нашему семейству бродяг. Я сомневаюсь, что ты когда-нибудь угомонишься, если не найдёшь свой интерес. А это не легко, очень не легко. Мы русские — очень странная раса. Наши мозги относятся к Западу, а сердце — к Востоку. Отсюда мы такие. Мы сидим между двух стульев. Мы не знаем, что мы хотим. Мы живём иллюзиями, и эти иллюзии зачастую приобретают такую силу, что заменяют нам реальность. Это трагедия русского народа, и моя личная трагедия тоже. Благослови тебя господь, сынок, — и он ушёл.

Я не понял его, но он произвёл на меня сильное впечатление. Я рассказал Харитонову о нашей беседе.

— Он очень хороший человек. Он сам себя сделал. Родился в Сибири, рос среди бедных людей. Окончил горное училище, и скоро сделал себе состояние где-то на Урале. Но он не мог жить зажиточной жизнью, в то время как его собратья, русские люди, живут в бедности. Он христианин. Он поступил так, как это делали первые христиане. Он отдал своё состояние. Всё отдал до последнего рубля.

В университете я редко видел Харитонова. Я только раз в месяц заходил к нему, и мы болтали часок-другой. Но больше всего я запомнил свою летнюю работу с ним. С ним я не только выучился литографии, но и получил уроки человечности.

И вот теперь этот человек в больнице с безнадёжным заболеванием.

Увидев меня, Харитонов вскочил с кровати и затряс мне руку.

— Меньше всего думал тебя здесь увидеть.

Он совсем не хотел говорить о своей болезни:

— К чертям эту болезнь. Конечно, я умру. Ну и что? Мы все умрём. К чему тогда вся эта суета? Эти медицинские люди, — и он указал пальцем на моего друга. — Вот он с коллегами приходят ко мне с угрюмыми лицами каждый божий день. Они стучат по моей грудной клетке. Слушают моё сердце и мрачно качают головами. Что за глупость! Скажи им, что я живу сегодняшним днём и меня не волнует будет ли день завтрашний, — и он засмеялся.

Он был очёнь расстроен победой коммунистов:

— Это сатанинское дело. Бедный русский народ. Это отбрасывает русскую цивилизацию на сто лет назад. Я знаю этих мерзавцев. Всё, что они хотят — это власть. Им наплевать на маленького человека, бедного человека, любого человека. Я был в бешенстве, когда болезнь держала меня здесь последние четыре недели. Я умолял доктора отпустить меня, чтобы я мог сражаться с ними, но они забрали мою одежду. Эти доктора, что они знают о человеческой психологии?

И он начал расспрашивать меня о событиях последних трёх дней.

Доктор Л. ушёл, попросив меня зайти потом в ординаторскую.

— Мне ещё много пациентов смотреть, — сказал он.

Я рассказал Харитонову о событиях в Петербурге.

— К сожалению, меня не было с тобой и Демидовым, когда вы покушались на Ленина, я бы сумел выстрелить.

И я вполне поверил ему.

Когда я снова перешёл на его болезнь, он вообще отказался обсуждать это.

— Как я могу обсуждать мои болячки, когда вся страна болеет смертельной болезнью. Я не хочу жить при большевиках.

А когда я уходил, он повторил, что часто говорил мне раньше:

— Не всякая демократия годится, только мало это кто понимает.

Доктор Л. спросил моё мнение.

— Он вообще не дал себя осмотреть, — ответил я.

— Вот его история болезни, — и он передал мне папку с историей болезни.

Семь месяцев назад, где-то в апреле, Харитонов перенёс

ангину: больное горло, высокая температура. Ему вырезали гланды. Всё вроде было нормально, но через шесть недель у него вспухли все шейные лимфоузлы, и снова воспалилось горло, и поднялась температура. А потом это уже почти не прекращалось. Врач Людмилов поставил диагноз инфекционного мононуклеоза, но кровь никто не смотрел. 14 сентября его положили в больницу уже с одышкой и кашлем. Уже можно было прощупать опухоль средостения, повышенный лейкоцитоз до 22 000, и был поставлен предположительный диагноз саркомы средостения.

Моё мнение было, что высокая температура и увеличенные лимфоузлы при невыраженном лейкоцитозе говорят больше за болезнь Ходжкина, которая является заболеванием крови, а не средостения. Молодые доктора согласились с моим диагнозом. Единственное лечение, которое можно было предложить в то время, было лечение соединениями мышьяка. Это лечение не излечивало, но могло немного продлить жизнь.

Доктор Л. предложил мне ещё один интересный случай.

— Это случай психоза связанного с боязнью рака, — сказал он. — У пациентки, которой под сорок лет, появилась опухоль на правом плече. Она была уверена, что это рак. Мы удалили образование, которое оказалось при анализе доброкачественной фибромой, но она отказалась верить в это. И через несколько месяцев ещё одна такая фиброма появилась у неё на шее. Мы снова удалили образование, и снова это оказалась фибромой. Однако она отказывается этому верить. Она заявляет, что чувствует боли в животе и груди, и как рак путешествует по всему её телу. Каждый месяц она ложиться в больницу на обследование.

Мы пришли к пациентке. Это оказалась красивая женщина с большими коричневыми глазами и темными волосами. Увидев меня, она сразу заявила, что у неё рак.

— Можете мне ничего не говорить, — она была на грани истерики. — Я знаю, что у меня рак. Они не хотят говорить мне правду. Но я хочу знать правду о своём состоянии.

Она казалась достаточно интеллигентным человеком, и я начал с ней разговаривать.

— Опухоли на плече и шее, которые вам удалили, они ведь не росли быстро?

Она допустила, что они росли несколько недель.

— А теперь постарайтесь понять факт, что при микроскопическом анализе клетки ваших опухолей оказались не раковыми, а соединительно-тканными. Люди с такими опухолями живут всю жизнь и ничего. Эти опухоли доброкачественные и не влияют на продолжительность жизни. Поэтому можете расслабиться и жить спокойно.

— Я постараюсь, доктор, — ответила она смущенно.

Я и доктор Л. направились к выходу.

— Я надеюсь, что ты вылечил эту пациентку от «рака», — сказал доктор Л. — До свиданья, старик. Занимайся-ка ты лучше своей профессией, это гораздо безопасней чем политика.

* * *

Неподалёку находилась лаборатория физиолога Павлова, и я решил зайти к ним тоже.

Опыты шли полным ходом. Собаки выли и лаяли, и эксперименты по условным рефлексам проводились одновременно во многих комнатах. То тут, то там вспыхивали ожесточённые дискуссии, но о политике не было слышно ничего.

— Можно ли безусловный рефлекс превратить в условный? — спрашивал молодой студент.

— Конечно, можно, — отвечал доктор Зелёный, которого я знал уже несколько лет.

Я вмешался:

— Вы что-нибудь слыхали о событиях последней ночи? — спросил я у Зелёного.

— Что слыхали? — переспросил он с изумлением.

— Ну там, Зимний дворец… газеты читали? — наводил я, видя недоумение на его лице.

— Да я обычно не читаю газет. У меня сегодня операция на собаке, надо было наложить печёночную фистулу. О чем ты говоришь?

— Это не относится к области печёночных фистул, — ответил я недовольно. — Большевики свергли правительство Керенского.

— А если они действительно свергли? — Зелёный был озадачен. — У меня всё равно было впечатление, что Керенский не тянет.

И поменяв тему, он повёл меня показывать трёх новых собак.

— Вот сегодня мы оперировали на этой собаке. Она ещё чувствует себя неважно. Мы перевязали печёночную вену и таким образом создаём фистулу. Это, конечно, была идея Иван Петровича (Павлова). Он хочет доказать, что центральная нервная система имеет решающее значение для деятельности печени. Взгляни на этих двух собак.

Другие две собаки были свирепого вида, они угрожающе рычали на Зелёного и меня.

— Всего три недели назад эти собаки были милейшими созданиями. Теперь, после операции, их поведение полностью

изменилось!

— Ну и как вы это объясняете? — наивно спросил я.

— Честно? Я не знаю. И Павлов тоже не знает. Может быть, количество желчи в крови увеличилось? Мы проверим. Пойдём, я что-то ещё тебе покажу.

В следующей комнате были пять или шесть полностью истощённых собак. Собаки были разных пород, маленькие и большие, и находились они в клетках. Все они были в состоянии страшного возбуждения. Они лаяли, рычали, стонали и плакали. Они всё время двигались и не стояли на месте.

— Что с этими несчастными созданиями? — спросил я. — Почему они такие все взвинченные.

Зелёный засмеялся.

— Это наш главный проект. Иван Петрович придаёт ему огромную важность. Как ты знаешь, он считает центральную нервную систему основной системой в организме. А теперь он хочет, чтобы мы доказали, что рак тоже является болезнью центральной нервной системы. И сейчас мы доказываем, что нервные должны, по идее, чаще болеть раком.

— Да, амбициозный проект, — заметил я.

— Мы надеемся проследить происхождение рака от различных изменений нервной системы. Мы начали первые опыты. Видишь, я вывожу этих собак вне себя.

— Как? — изумился я.

— Используя технику условных рефлексов. Сначала мы добиваемся их положительной реакции на свет или звонок, а затем нарушаем всё. Это приводит их в исступление. Ты сам видишь, что они в сумасшествии.

И они действительно были в сумасшествии.

— Теперь, — продолжал Зелёный, — будем считать случаи рака у этих собак. Можно ждать и год, и два.

Более двадцати лет продолжалось это истязание животных. Только после смерти Павлова и Зелёного, Мария Петрова опубликовала результаты, которые оказались неубедительными, поэтому эта теория не нашла практического выхода, несмотря на правительственную поддержку.

* * *

В тот же день, 26 октября, на вечернем поезде я убыл на фронт. Забравшись на верхнюю полку полупустого вагона, я проспал всю ночь. Из Киева я телеграфировал в свой госпиталь и попросил своего санитара Илью встретить меня в Ровно. Он

встречал меня в Ровно на автомобиле, улыбаясь, и счастливый снова меня увидеть. Но он не смирился с поражением правительства Керенского.

— Ещё не всё проиграно, — провозгласил он, пока мы ехали. — Наши армейские части восстановят демократический порядок.

И он рассказал мне, что тринадцатая армия против большевиков и поддерживает Керенского.

— Почему Керенский не позвал нас на помощь? — Илья никак не мог понять этого.

— Там что-то было не так. Я уверен.

И затем, сменив тему, он информировал меня о том, что наш вагон-лаборатория полностью восстановлен и готов к работе.

Мы прибыли в Рожище вечером.

— Пропустили ужин, — скорбно вздохнул Илья.

Народ играл в бридж в большой комнате. Все со мной поздоровались и пожали руки.

— Какие новости в столице? — спросил Луховицкий. — Черви! — объявил он, не дожидаясь моего ответа.

— Правительство свергнуто.

— Это ужасно, — заметил главный хирург. — Три пики.

— Четверо червей, — ответил Луховицкий. — Где Керенский?

— Полный набор пик, — объявила главная сестра.

Я молча покинул комнату и вышел на улицу. Была холодная, спокойная ночь и первый снежок покрыл землю. Я пошёл прогуляться по бережку реки Мальты и зашёл в старую церковь. Я сел на скамейку. Через дырку в церковной крыше, которая была проделана немецкой бомбой, я видел мерцающие издалека звёзды. Тишина ночи, не нарушаемая никаким звуком, создавала иллюзию полной отрешённости. Я был далеко от человечества с его проблемами и заботами, с его беготнёй, с его победами и поражениями. Я попытался собрать и проанализировать события последних трёх недель. Были оголтелые большевики — агрессивные и жестокие, без всяких угрызений совести в чистой драке за власть. И была демократия — неспособная ничего противопоставить агрессору. И было огромное большинство народа, погружённого в свои обыденные дела и безразличные ко всему, что выходит за рамки их повседневных дел.

Я постарался отвлечься и увидеть теперешние события в свете отдалённых столетий, как маленький отрезок пути, по которому движется человечество.

В этом свете человечество представилось мне, как борьба двух цивилизаций. Одна цивилизация — это продукт звериных инстинктов человека: жестокая, кровавая и полная насилия. И

другая цивилизация, которая стремиться к согласию и взаимному счастью, которая идёт от гуманности, демократических принципов и христианства.

Пусть большевики наслаждаются временной победой. Их победа — это шаг назад на пути, где конечной цель является царство божье на земле, в котором не будет ни войн, ни кровавых конфликтов, и где человек получит возможность для своего творческого самовыражения.

— Сие будет! — сказал я громко, и мои слова гулко отозвались под сводами старой церкви.

* * *

События, описанные в последующих трёх, рассказах подробно описаны мною в статье «Защита Всероссийского Учредительного собрания», опубликованной в «Архивах Русской Революции», том 13, Берлин, 1924 год, стр. 5-70.

Революционный пыл умер

История большевистского переворота 25 октября полностью искажена. Большевики имели достаточно время и средств, чтобы сделать это. Историю пишут победители. Все они описывают, что переворот был поддержан широкими массами, и что победа была окончательной. Это абсолютно не соответствует действительности. Никто практически не упоминает о Всероссийском Учредительном Собрании, созванном через два месяца после переворота, а ведь это было центральное событие того времени.

Интересным фактом является то, что Социал-революционная партия, многие члены которой прошли через каторгу, и которые выказывали мужество при борьбе с царским правительством, вдруг внезапно потеряли весь революционный пыл, как до, так и после переворота. А может быть, у них на самом деле были другие цели?

Ленин ещё в апреле 1917 года, сразу по приезде в Петербург, объявил, что Всероссийское Учредительное Собрание должно быть созвано немедленно. И на протяжении всех последующих месяцев большевики постоянно повторяли этот лозунг.

Троцкий ещё 7 октября провозглашает: «Буржуазия… поставила своей целью не допустить Всероссийского Учредительного собрания. Это есть главная цель капиталистических элементов».

Через день после переворота большевистская «Правда» пишет: «Товарищи! Своей собственной кровью вы обеспечили немедленный созыв Учредительного Собрания».

Но когда, были обнародованы результаты голосования, коммунисты и левые социалисты круто изменили своё отношение к Учредительному собранию, так как на выборах они провалились. Выборы в Учредительное собрание проводились ещё в сентябре и на демократической основе. Коммунисты получили всего 7,2 % голосов в больших городах и не выше 2 % в маленьких городах, которые составляли российское большинство. Восемнадцать миллионов голосов было отдано только за одну партию Социал-революционеров — 55 % избирателей отдали ей свои голоса. А вместе с другими не левыми партиями это были 22 690 202 избирателя. За коммунистов же проголосовало всего 9 562 358 избирателей. Из 701 места в Учредительном собрании коммунисты вместе с левыми социалистами получили только 175 мест, то есть всего четвёртую часть.

Таким образом, к концу ноября картина стала ясной: маленькая группа коммунистов удерживала власть против желания подавляющего большинства русского народа. А вот этот момент как раз историки и не акцентировали.

* * *

20 ноября я снова ехал в Петербург уже как новоизбранный член Всероссийского Учредительного собрания, причём самый молодой из всех его 701 членов. В этом же самом поезде, уже набитом солдатами, вместе со мной ехало тридцать два вооружённых человека с пулемётами. Задача этого маленького отряда была охрана Учредительного собрания, этой воплощённой мечты русского народа, которое было созвано на 5 января 1918 года.

Когда я приехал в Петербург, я тут же позвонил Васильеву и попросил его прийти на вокзал. Он пришёл сразу, и я был рад видеть его снова. Он был такой же, как и всегда: энергичный и полный планов. Он был командиром батальона Семёновского полка и обрадовался, когда обнаружил со мной целый отряд, который я ему тут же и передал.

— Мы разместим их в наших казармах, — сказал Васильев.

Он пришел вечером ко мне домой и долго рассказывал мне о ситуации в Петербурге.

Коммунисты разочарованы результатами выборов, и они начали кампанию по дискредитации Учредительного собрания.

Васильев сообщил мне о разговоре Ленина с Натансоном, одним из лидеров левых социалистов. Натансон сам рассказал Васильеву о том, что его вызывал Ленин.

— Как насчёт того чтобы силой разогнать Учредительное собрание? — Ленин в упор спросил Натансона.

— Да, — ответил тот, — неплохо было бы его разогнать.

— Браво! — вскричал Ленин, — Что верно, то верно; но как насчёт ваших рабочих? Они согласятся с этим?

— Некоторые колеблются, но под конец, я думаю согласятся[13].

Коммунистическая газета «Правда» открыла огонь из всех орудий по Учредительному собранию. Затем большевики издали указ о запрещении лидеров конституционно-демократической партии. «…Как враги народа, они должны быть арестованы». — Гласил декрет.

Трое только что выбранных членов Учредительного собрания от этой партии были арестованы и посажены в тюрьму. Это были: Павел Долгоруков, Шингарёв и профессор Кокошкин. Все он были политические деятели умеренного толка и пользовались огромным уважением. Никаких обвинений им не предъявили, но в результате этого ареста, они практически лишились возможности принимать участие в Учредительном собрании. Этим актом большевики только начали войну против Учредительного собрания. Вскоре четыре лидера Социал-революционной партии были отправлены в тюрьму. Это были: Авксеньтьев, Аргунов, Гуковский и Питирим Сорокин, а Шингарёва и Кокошкина вскоре убила пьяная матросня прямо на кроватях в больнице, куда их переправили из крепости. Это случилось вечером того же дня, когда открылось Учредительное собрание.

Ленин лихорадочно готовил идеологическое обоснование разгона Учредительного собрания и постоянно обсуждал этот вопрос на своих летучках. Ленин постоянно давил на лидеров правого крыла своей же партии, которые сначала не хотели идти против воли своего народа. Однако Ленину удалось их уломать, и вопрос с разгоном Учредительного собрания стал решённым делом.

На следующий день я пошёл искать других делегатов моей партии по Учредительному собранию. Мне сказали, что они располагаются в здании на Болотной улице, где до этого был госпиталь Красного Креста. Я подходил к штабу Социал-демократической партии по проведению Учредительного собрания с чувством замирания сердца. Только старые революционеры, прошедшие царскую каторгу, были выдвинуты и

были избраны членами Учредительного собрания. Я чувствовал себя юнцом в такой солидной компании. Однако, общаясь с ними на протяжении пяти недель, я с ужасом обнаружил, что от их революционного пыла не осталось и следа. Их как будто подменили.

Наше здание было довольно мрачным, грязное и некрашеное оно производило угнетающее впечатление.

— «Конечно», — сказал мне потом Васильев, — «большевистские делегаты заняли лучшие гостиницы».

Я зашёл в маленький вестибюль, который раньше, очевидно, был приёмным покоем госпиталя. Там толпилось человек двадцать.

— Чего вы ожидаете? — спросил я бородатого старика.

— Еды, естественно. — И он объяснил, что столовая, располагается в подвале и не может принять зараз более двадцати человек, поэтому люди стоят часами, ожидая скудный паёк.

— Советское правительство не очень щедрое, — отпустил я своё замечание.

— Да, я бы не обвинил их в щедрости, — ответил он.

Это был Лазарев, образец совершенного человека, депутат от Поволжья, человек с исключительным чувством юмора и знаменитый революционер. Он провёл меня в свою комнату, которую он занимал с тремя другими депутатами. Комната была маленькая с одним окном. В комнате стояли четыре железные кровати, две тумбочки и одно кресло. Туалета не было.

— Где вы держите вещи? На чём вы сидите? — спросил я в замешательстве.

Лазарев засмеялся:

— Сидим на кроватях, а вещи держим в корзинках под кроватями. Настоящая демократия.

Я рассказал ему о ситуации в Петербурге и зловещих планах большевиков.

— Я уже чувствовал, что тут не так всё просто, — сказал он мрачно.

— Как мы собираемся защитить Учредительное собрание от разгона?

Мне хотелось слышать его мнение.

— Защищать Учредительное собрание? Самих себя? Что за смешная идея, любезнейший!

В его голосе был сарказм.

— Вы вообще соображаете, что вы говорите? Вы вообще понимаете, что мы являемся представителями избранными народом, и что мы облечены честью писать законы новой

демократической республики? Мы здесь творцы новых законов, строители великой, новой демократии. А защищать Учредительное собрание, защищать нас, его членов — это обязанность народа. А что, не так? Народ обязан нас защищать. Вот как считает большинство из нас. Я, конечно, более реалистичен, но моё мнение тонет среди большинства.

Я был потрясён. Я, конечно, ожидал всего, но не такого. Я надеялся, что Лазарев в меньшинстве, но после нескольких дней бесед с другими делегатами; я убедился, что они думают так же, как и он. Они видели в себе законосоставителей, парламентариев, составителей конституции. Они были готовы сражаться посредством законов и ради законов. Уже были избраны множественные комиссии и подкомиссии. Уже существовали комиссия по сельскому хозяйству, по иностранным делам, по образованию, по бюджету и множество других. Среди прочих особенно важной была регламентационная комиссия, которая составляла программу первого дня. Депутаты в этой комиссии работали, не покладая рук. Депутаты отшлифовывали каждую деталь предлагаемых законов, как будто само будущее России зависело от этого. Они были искренни. Они верили, что от того, как они исполнят свои депутатские функции, действительно зависит будущее России.

Могло создаться впечатление, что эта лихорадочная пре парламентская активность происходит где-нибудь в Англии или Америке, где парламенту не угрожает никакая опасность. Депутаты разве что не молились на Учредительное собрание. Многие отказывались вообще от всего, что могло быть мало-мальски не демократичным. Многие хотели избегнуть любых актов, которые большевистское правительство могло посчитать враждебными. Они отказывались видеть, что коммунисты играют по совсем другим правилам. Они оценивали коммунистов с точки зрения своих стандартов поведения. Политика ублажения большевиков особенно была в ходу у всех левых. Чернов и его многочисленные сторонники верили, что кооперация между демократией и коммунизмом не только возможна, но и необходима. Как результат, основная масса депутатов заняли нейтральную или, лучше сказать, пассивную позицию в отношении разворачивающихся драматических событий.

Наша маленькая группа армейских депутатов была единственной, настаивающей на действии. Напрасно мы кричали до хрипоты, что большевики готовят заговор против Учредительного собрания, что вся пресса в их руках, и оппозиционные газеты закрыты, и что у большевиков на руках все средства, чтобы повернуть события в их пользу. Напрасно мы

указывали, что рано ещё спорить о законах, когда до законов дело ещё может не дойти. Напрасно делегации от различных гражданских и профессиональных организаций настаивали на координации между ними и депутатами для того, чтобы помешать коммунистам заблокировать Учредительное собрание. Их призыв получил холодный приём от бюро партии, составляющей большинство Учредительного собрания. Напрасно делегация русских кооперативов, мощная организация с сорока тысячами членов, призывала к активным действиям. Эта организация возглавлялась Чайковским и Биркенгеймом, оба они имели отличную репутацию и предлагали объявить всеобщую забастовку. «Мы можем парализовать всю страну практически за одну ночь, — Биркенгейм объявил на бюро. — Эта всеобщая стачка может произвести впечатление на большевиков и отбить у них желание препятствовать Учредительному собранию. Однако для проведения стачки нам нужно иметь положительную резолюцию».

Положительную резолюцию им так никто и не дал. Наша маленькая армейская группировка была очень настойчивой. Мы снова и снова требовали действий или, по крайней мере, разрешения действовать на свой страх и риск. Наконец, нам удалось выбить от Бюро Учредительного собрания разрешение на создание военной комиссии и получить право «обеспечить и подготовить все средства для защиты Учредительного собрания».

Делом комиссии было организовать военные и гражданские элементы для того, чтобы предупредить и противодействовать любой попытке помешать нормальному проведению Учредительного собрания. Я был избран председателем этой комиссии, и перед нами стояла трудная задача. Только четыре недели оставалось до начала собрания, а наша группа была очень маленькой. Нас было всего десять человек военных, и против нас была вся организация большевистской партии.

Ситуация в Петербурге была неблагоприятной, но не безнадёжной. Оставались ещё армейские подразделения, состоящие из ветеранов, и преданные старому правительству. Эти ветераны имели больше опыта и благоразумия, чем новобранцы. С этими ветеранами мы смогли найти общий язык и создать ядро нашей оборонной организации.

В целом Петербургский военный гарнизон находился в состоянии полной деморализации. Тем не менее, несколько полков сохраняли воинскую дисциплину. Мы сосредоточили свои усилия на этих полках. Среди них Преображенский и Семёновский полки находились в самом лучшем состоянии. В течение нескольких дней мы установили тесные контакты с этими

полками, а также с дивизионом бронемашин, в котором также преобладали демократические тенденции. Мы получили заверения, что эти подразделения окажут активную поддержку планам защиты Учредительного собрания. Красной армии в то время ещё не существовало. Единственное, на что могли рассчитывать большевики, это на банды реэмигрантов, дезертиров и выпущенных из тюрем, которые получили название «Красной гвардии», и которые, собственно, и произвели Октябрьский переворот. В это время у коммунистов просто не было наличных сил, чтобы подавить любое выступление. Троцкий пишет об этих днях: «Ленин был обеспокоен Учредительным собранием. Он настоял, чтобы в Петроград вызвали отряд из Латвии. Ленин не доверял русским». Троцкий говорит заведомую ложь. На самом деле все эти «латыши» были реэмигрантами и импортированными боевиками, но в то время всех, кто плохо говорил по-русски звали «прибалтами» или «латышами». На самом деле эти «латыши» были теми самыми боевиками, которых сам же Троцкий и привёз с собой из Нью-Йорка. В самом Нью-Йорке ни для кого не было секретом, что это Троцкий с их отрядом делает революцию. Ленин заявил, что: «Русские могут заколебаться, а тут нужна полная решимость».

Латвия на тот момент уже была иностранным государством. Легенда о латышских стрелках, полностью высосана из пальца. Стрелки то были, но Латвия здесь была не причём. Латыши спокойный, рассудительный и медленный на подъём народ, и за пределы своей республики никогда не выезжает. Большевиками просто надо было срочно объяснять явный факт обилия плохо говорящих по-русски людей среди красных комиссаров. Поскольку пресса вся уже была запрещена, то им было легко запустить легенду, что, весь этот иностранный сброд, якобы, из Латвии, хотя на самом деле они все были реэмигранты из Нью-Йорка, которые приехали с Троцким, плюс может быть какое-то количество из Европы. Им даже некоторым действительно сменили фамилии на прибалтийские, типа «Петерс», власть уже была их, что хочу — то и делаю.

Максима Горького поставили руководить новой и одной из немногих незапрещенных газет «Новая жизнь». Эта «Новая жизнь» постоянно нахваливала большевиков, особенно в последние десять дней перед Учредительным собранием. Максим Горький говорит тогда в своей газете: «Совнарком пребывал эти дни в сильном беспокойстве. Пришли новости, что Преображенский и Семёновский полки решили поддержать большинство Учредительного собрания и будут участвовать в демонстрации под лозунгом «Вся власть Учредительному собранию!». Те же

тенденции — и во Втором Балтийском полку».

Тревога охватила всю большевистскую власть. Комиссар Кузьмин, начальник всего военного гарнизона Петрограда подтвердил всю шаткость военной силы, находящейся в его распоряжении.

А что же насчет жителей Петербурга? Жители Петербурга полностью поддерживали Учредительное собрание. В дни, предшествовавшие октябрьскому перевороту, а также во время и сразу после его, петербуржцы были сконфужены и апатичны вследствие раздражения, вызванного пассивностью Керенского и отсутствием всякой надежды на восстановление порядка. Теперь же они были твёрдо на стороне Учредительного собрания. Рабочий класс, ремесленники, торговые люди, студенты, женщины — все были готовы защитить первую русскую конституционную ассамблею. Большевики прекрасно это знали, и не смотря на то, что они установили военное положение и закрыли все газеты, они понимали, что власть их еле держится. Не было никакого сомнения, что люди уже были очень недовольны большевистскими методами.

* * *

Четыре недели лихорадочной активности нашей военной комиссии принесли свои результаты. Наши планы на 5 января были практически готовы. По мере приближения собрания у нас появлялось всё больше энтузиазма. 3 января мы ещё раз прикинули ситуацию. Власть была в руках большевиков, но ещё не окончательно. Они получили некоторое количество мест от Петербурга, но это не означало, что люди проголосовавшие за большевиков, были против Учредительного собрания. Многие люди и отдали свои голоса большевикам потому, что у них были лозунги «Немедленного мира» и «Немедленного созыва Учредительного собрания». Парадокс ситуации и состоял, как раз в том, что многие избиратели, проголосовавшие за большевиков, полностью поддерживали Учредительное собрание. Франко-Русский сталелитейный завод, а также Измайловский и Литовский полки, поддерживающие большевиков, в тоже время были против вмешательства в дела Учредительного собрания. Всякий раз, когда большевистский оратор пытался коснуться Учредительного собрания, раздавались возгласы: «Руки прочь от Учредительного собрания!».

По нашей оценке, за исключением боевиков Троцкого, и разного сброда, насчитывающих от десяти до пятнадцати тысяч

человек, ни у кого не было никакого намерения атаковать Учредительное собрание. А каковы были настроения в лагере большевиков? Многие из них готовились бежать из города в преддверии победы Учредительного собрания. Все документы большевиков, опубликованные впоследствии, подтверждали их критическое положение.

Оценка нашей комиссии показывала, что шансы приблизительно равны. С нашей точки зрения, победа Учредительного собрания зависела от готовности участников бороться за само его существование. Для всех людей, кроме социал-революционных парламентариев с Болотной улицы было ясно, что судьба Учредительного собрания решиться на улицах Петербурга, а не в Таврическом дворце. Мы тщательно рассмотрели свои планы на 5 января, и как всегда Васильев снабдил нас информацией о планах большевиков. Он доложил:

— Большевики осознают трудность своего положения. Они реалисты и ожидают демонстрацию не менее двухсот тысяч человек в поддержку Учредительного собрания. Они решили разогнать её. Однако у них нет регулярных войск. Поэтому они решили мобилизовать все имеющиеся в их наличии силы, примерно двенадцать-пятнадцать тысяч человек, и сделать вооружённый кордон вокруг Таврического дворца. Очень продуманная тактика. Все прилегающие улицы будут заполнены красными дружинниками, пропускаться будут только члены Учредительного собрания. Вы понимаете вообще насколько это умный план?

Мы все ясно это видели. Большевики намеревались изолировать Учредительное собрание от всего остального города и не только, таким образом, лишить его городской поддержки, но и фактически сделать депутатов узниками в своём Таврическом дворце.

— И это ещё не всё, — продолжал Васильев. — Большевики понимают, что их успех зависит от того, насколько в демонстрации будут принимать участие невооружённые люди. Поэтому Ленин оказывает сильное давление на Чернова, чтобы в демонстрации принимали участие только невооружённые демонстранты.

— Я отказываюсь этому верить, — сказал член нашей комиссии Сургучёв.

— Во всяком случае, наш план ясен, — резюмировал Васильев. — Мы должны прорвать кордон и позволить людям подойти к Таврическому дворцу.

Мы все согласились. Наш план был прост: самая широкая улица, ведущая к Таврическому дворцу, это Литейный проспект.

Наши два полка, расположенные у Фонтанки, образуют клин демонстрации. Бронированный дивизион, поможет полкам пробиться через большевистские кордоны к Таврическому дворцу. За ними пойдут люди. Многие профсоюзы, гражданские и ремесленные организации изъявили желание принять участие в демонстрации. Когда Таврический дворец будет освобождён, то Учредительное собрание получит возможность работать в нормальной обстановке. К сожалению, мы не видели просчётов в нашем плане.

В то время как наша военная комиссия пыталась мобилизовать силы на защиту конституционного собрания, жизнь на Болотной улице текла своим чередом. Один за другим вырабатывались проекты будущих законов, и если бы Учредительное собрание выжило, то как знать, быть может, наша страна получила бы прогрессивное законодательство. Например, был выработан обширный закон по всеобщему образованию, затем новый закон о землевладении, который совсем по другому распределял землю в стране, и который был выработан с мельчайшими подробностями. Существенная автономия предоставлялась различным национальным областям России. Общее предположение было такое, что страна как бы приобретала форму новых Соединённых Штатов России. И люди, которые всё это составляли, уже мнили себя входящими в историю «отцами-основателями нации» по образу и подобию «отцов-основателей» Америки. Право на частную собственность было сохранено и были выражены надежды, что частная инициатива быстро разовьёт промышленность и коммерцию. Делегаты выказали мало интереса к тому, что пыталась сделать наша оборонная комиссия. Казалось, они полностью отрешились от всего того, что происходило в городе.

Мы были в приподнятом настроении, когда собрались на квартире Васильева вечером 3-го января и делегировали Сургучёва доложить наши планы президиуму и получить окончательное добро. Он возвратился поздно ночью. Мы сразу поняли, что что-то случилось. Он был мрачен и молчал.

— Всё потеряно, — сказал он наконец. — Васильев был прав. Чернов, потакатель, под давлением Ленина согласился продать нас на корню.

И он объяснил, что в связи с тем, что основных лидеров партии правых социалистов большевики пересажали, этот Виктор Чернов оказался вдруг в лидерах партии. Он сразу завозражал против принятия участия в демонстрации вооружённых людей. «Мы должны избегать всех враждебных актов, которые могут вызвать неудовольствие большевиков. Мы должны

демонстрировать наше стремление кооперировать с ними. Мы ведь также являемся и их представителями, и это наша задача начертать будущее России» — разглагольствовал Чернов.

Большинство скрытых агентов в президиуме и в национальном комитете согласились с Черновым. Некоторые отказались даже допустить саму возможность, что большевики конспирируют за спиной Учредительного собрания. «Это авантюра, эта вооружённая демонстрация, — настаивал Марк Вишняк, который был генеральным секретарём бюро. — Это может испортить всё открытие конвенции. Нас избрали, чтобы представлять законы, а мы чем тут будем заниматься?» — продолжал он.

Чернов уверил всех, что дескать, Ленин довёл до его, Чернова, сведения, что никаких посягательств на Учредительное собрание не будет.

— Кто конкретно сказал вам об этом? — сердито спросил Сургучёв Чернова.

— Мартов и Натансон информировали меня о данной позиции Ленина.

— Это что было официально объявлено? — настаивал наш делегат.

— Да, более или менее, и если вы хотите знать, я сам попросил их выяснить это у Ленина, — признался Чернов. — Ленин не имеет никаких задних планов в отношении Учредительного собрания. Всякая вооружённая демонстрация спровоцирует конфликт с властями большевиков. Мы должны избежать этого любой ценой.

Напрасно старался Сургучёв защитить наши планы. Он обрисовал мрачную ситуацию в Петербурге. Он указал на развёрнутую большевиками кампанию против Учредительного собрания, на аресты депутатов, концентрацию вооружённых банд вокруг Смольного и полное запрещение оппозиционной прессы. Но все эти доводы не произвели никакого впечатления на президиум ассамблеи. Было принято решение, что участникам демонстрации не разрешается приносить с собой оружие на демонстрацию.

— Невооружённые солдаты и гражданские лица, конечно, приветствуются, — заключил Чернов.

— Вам мало было уже одного урока, — закричал Сургучёв. — Вы получите горький урок послезавтра. Вы слепы как кроты. Разве вы не понимаете, что вопрос между большевиками и демократическими партиями будет разрешён не в Таврическом дворце, а на улицах Петербурга?

И он ушёл, не попрощавшись. Мы были раздавлены

решением. Невероятно! Было ясно, что все надежды на демократию перечёркнуты одним наивным решением Вишняка, Чернова и им подобным. Однако, нам, вроде, как надо было подчиниться, и мы подчинились.

* * *

После того, как с этих событий прошли дни, недели и месяцы, когда мы подчинились решению Центрального Комитета партии, меня постоянно мучило растущее чувство вины. Это чувство вины и ощущения собственной слабости, отсутствия лидерства и мужества. Как председатель оборонной комиссии Учредительного собрания, моей обязанностью было игнорировать запрещение президиума ассамблеи и осуществить тот план, который мы задумали. Это была моя обязанность, мой долг 5 января привести войска, верные демократии, и рассеять кордон красных наёмников, окружавших Таврический дворец. Конечно, был риск, но и, конечно. Были хорошие шансы. Ведь события, происходившие 5 января, явно показывали волю народа, но я не оправдал надежд. Я упустил возможность предотвратить захват власти большевиками и установление режима уничтожения русского народа. Нет оправдания моей пассивности. Довод, что, дескать, у меня не было высокой должности в партии, отвергается моей совестью. Как человек, глубоко верящий в демократию, я был обязан руководствоваться моими убеждениями. И даже теперь, спустя столько десятилетий с момента разгона Первого Учредительного Собрания 5 января 1918 года, моё чувство личной вины я ощущаю также остро, как и тогда, пятьдесят лет назад.

«Серая Шинель»

Было очень холодно, этой декабрьской ночью. Васильев и я шли по набережной Невы. Стояла полночь. Река была покрыта толстым слоем льда и полуметровым слоем снега. Улицы были пустыми, за исключением нескольких извозчиков, развозящих припозднившихся людей по домам. Мы находились в угнетённом состоянии, если не сказать, в отчаянии после проведения вечера с делегатами на Болотной улице.

— Я не могу понять, — пробормотал мой друг, прикрывая рот ладонью, чтобы не застудить горло.

— А кто может?

— Революционеры… славные революционеры русской революции! А теперь, как дети, играющие в парламентские игры.

— Может быть, они выдохлись. Устали от всех этих лет, проведённых в ссылке и тюрьмах.

— Слабое оправдание, — горько заметил Васильев.

— Может, они старые. Они намного нас старше?

— Может быть. Во всяком случае, всем им за сорок.

— Ну не всем, но большинству.

— Террористы, которые ждали смертной казни. А теперь — как ягнята.

— Ну что мы можем сделать? — воскликнул я в отчаянии.

— У меня есть идея, — ответил мой друг.

Мы приближались к Дворцовому мосту.

— В этом богом забытом городе нет ни одной газеты, которая бы не принадлежала большевикам. Мы должны иметь независимую газету, которая будет говорить свободно и громко, и атаковать тиранов.

— Мечты, мой друг. Они закроют её прежде, чем она выйдет.

— Не обязательно, если это будет подпольная газета, издающаяся в одном из полков, у нас есть шанс.

Так родилась знаменитая газета «Серая Шинель». Целых три недели «Серая Шинель» бесстрашно атаковала большевиков. Это была единственная независимая газета в те дни.

Издателями были объявлены солдатские комитеты Преображенского и Семёновского полков. Главный редактор был Борис Петров, рядовой Семёновского полка. Я был, собственно, редактором. Моё знание печатного дела существенно помогло мне в этом предприятии. Но главным двигателем всё равно был Васильев. Он отвечал за распространение. Он раздобыл несколько армейских грузовиков, и только тираж был напечатан, он тут же развозил его по разным местам. Газета продавалась на заводах, в казармах, в ресторанах и везде, где удавалось продать, не рискуя быть схваченным. Наша газета была откровенно антибольшевистской. Мы подчёркивали важнейшую роль Учредительного собрания в судьбе нашей страны. Мы обнародовали планы большевиков силой разогнать Учредительное собрание. Мы раскрывали глаза людям на то, что большевики являются реакционерами и их вся цель — это ничем не ограниченная власть.

Успех газеты был фантастический. Все десять тысяч копий продавались за несколько минут, хотя цена поднялась до нескольких рублей. Второй выпуск мы увеличили до двадцати тысяч копий. Газета «Правда» сразу напала на нас, разоблачив нас, как капиталистических холуёв. Мы прекрасно понимали, что если бы не прикрытие военной силы двух полков, нас бы схватили в первый же день. С силой двух полков большевиками ещё приходилось считаться. Поэтому мы решили не заниматься самоцензурой, а кричать что есть силы. На третью ночь они, однако, прислали отряд бывших моряков и конфисковали весь

третий выпуск.

Но мы на этом не сдались. Мы нашли ещё одну типографию и продолжили выпуск под названием «Простреленная Серая Шинель» Мы усилили нападки на большевистское правительство. Мы обвинили их в подавлении прессы и использовании диктаторских методов. Однако теперь мы соблюдали меры предосторожности. Дежурный отряд от обоих полков круглосуточно охранял нашу типографию на улице Чернышёва.

Эти дни и ночи мы были в состоянии лихорадочной активности: Петров, Васильев и я. Вместе с тремя другими солдатами, которые были раньше журналистами, мы всё время писали заметки. Один из нас рисовал хорошие карикатуры. На одной из карикатур Ленин сидел с короной на царском троне и говорил: «Я есть диктатура пролетариата». А безногий солдат спрашивает его: «А сам то пролетариат где?». А Ленин отвечает: «Меня это не интересует. Главное — это вывеска».

Спрос на газету всё возрастал. Теперь она продавалась солдатами из обоих полков и по понятным причинами было только немного попыток помешать её распространению. Но после того как вышло двенадцать выпусков и тираж достиг сорока тысяч экземпляров, большевики решили предпринять энергичные меры. Второго (2) января Крыленко, который, несмотря на его фамилию, не был украинцем, а был одним из большевистских лидеров и тестем Макса Истмана, известного троцкиста из Америки, этот Крыленко (кличка «Абрам») появился в казармах Семёновского полка и созвал митинг[14].

Крыленко был отличный оратор. Я помню его еще с тех времён, когда я учился в Петербургском университете. Он хорошо владел искусством демагогии. Он говорил сердито и не контролировал себя. Он обвинил полк в том, что он приютил врагов пролетариата и пособников мировой буржуазии, то есть нас. Он назвал нашу газету грязным листком, который настолько грязен, что его нельзя даже использовать в сортирах. «Вы хотите быть в рабстве у кровожадных международных банкиров? — вопрошал он, сам являясь агентом этих самых банкиров.

— Тогда закрывайте вашу антипролетарскую газету!».

Но Крыленко сделал одну большую ошибку, он начал угрожать в случае, если полк не повинуется. Это вызвало отрицательную реакцию солдат, которые под конец речи освистали его.

Затем выступил Борис Петров, редактор. Он не был оратором. Он говорил очень просто и без обиняков. Он признал себя главным редактором и протестовал против гнусных обвинений Крыленко:

— Кто вы, собственно говоря, такой Крыленко, чтобы учить нас и угрожать нам? Вы узурпировали власть и закрыли все газеты, кроме своей собственной. Всё, что вы говорите о нас, ложь от начала и до конца. Сегодня вы говорите одно, а завтра вы говорите другое. Вы используете лозунги, рассчитанные на полностью не информированных людей. Вы считаете, что мы сами вообще ничего не понимаем. Что это за ваши обвинения про международных банкиров? Что они Семёновскому полку деньги дают? Они вам, большевикам, деньги дают. С вами, большевиками, тут всё ясно. Более трёх месяцев вы требовали созыва Учредительного собрания, имея виду свержение демократического правительства. Выборы вообще произошли под вашим руководством и давлением. Я сам свидетель того, как ваши люди фальсифицировали результаты выборов в свою пользу. Я лично знаю ситуации, когда тыловые армейские подразделения, находящиеся под вашим контролем, объявляли в четыре раза больше избирателей, чем у них в действительности есть солдат по штатному расписанию. И, несмотря на всё ваше жульничество, вы проиграли выборы. И теперь вы хотите разогнать силой Учредительное собрание, избранное народом. А когда нашлись ещё мужественные люди в этом полку, готовые защитить своё, да, именно своё Учредительное собрание, вы, Крыленко, осмеливаетесь угрожать им, как будто они уже ваши рабы. Постыдились бы, Крыленко!

Единодушно Семёновский полк решил продолжить публикацию газеты и обеспечить ей полную охрану. Эти ночи в типографии, эта работа под прикрытием пулемётов от возможной атаки большевиков, теперь вспоминаются как удивительное время. Замёрзшие окна, метровый снег, покрывающий площадь. В типографии, которая обогревалась только одной «буржуйкой», было очень холодно. Потребляя огромное количество горячего чая, чтобы согреться, мы горячо обсуждали проекты статей и карикатур. Наибольшим успехом пользовались карикатуры.

— Что вы думаете об этой карикатуре?

И Сергей, художник, показывал нам карикатуру на Камкова, левого социалиста, с длинным хвостом и на четырёх лапах, лижущего руку Ленину. «Пошёл прочь, пёс! Ты больше мне не нужен», — говорил Ленин.

— Отлично! Камков будет вне себя.

К четырём часам утра наша четырехстраничная газета сходила с типографского станка. Мы тут же будили охранявших нас солдат и читали газету им. Нам нужен был их отзыв.

— Хорошо, хорошо… — говорили солдаты.

Когда мы, таким образом, получали добро, мы были уже

готовы распространить газету.

* * *

Второго января вместо «Серой Шинели» вышла уже «Простреленная Серая Шинель. Последний выпуск «Простреленной Серой Шинели» был свёрстан ночью 4 января, а 5 января газета прекратила своё существование вместе с разгоном Учредительного собрания. Этот выпуск был составлен нами в состоянии полного отчаяния. Половина первой страницы была набрана огромными буквами: «Да здравствует Учредительное собрание!». И в самом низу страницы в чёрной рамочке объявление: «Революционный пыл умер».

Много позже мне сказали, что Виктор Чернов, когда ему показали последний выпуск «Простреленной Серой Шинели» сказал:

— Соколов поссорил меня с Лениным.

* * *

Васильев был арестован утром 5 января, когда распространял последний выпуск газеты около Варшавского вокзала. И я тоже ожидал ареста каждый момент.

Уничтожение русской интеллигенции

События 5 января (по старому стилю и 18 января по новому), как я описал их в «Архивах», и как они описываются в этой главе, рассказаны почти одинаково Марком Вишняком, который был секретарём собрания, в его книге «Всероссийское Учредительное собрание».

* * *

Этот день был облачный и холодный. Город, покрытый толстым слоем снега, был в мрачном и сердитом настроении. Лица прохожих были обеспокоены. То тут, то там небольшие группы людей двигались в сторону Невского проспекта. Группа рабочих и служащих шла с плакатами. Все плакаты имели одинаковую надпись: «Да здравствует Учредительное собрание!». Среди сотен плакатов и транспарантов я не видел ни одного в

пользу разгона Учредительного собрания. Много невооружённых солдат и матросов примкнули к шествию, и люди скандировали: «Долой большевиков!».

При подходе к Невскому проспекту народу стало больше. Настроение участников демонстрации было на грани возмущения. К одиннадцати часам дня толпы заполнили не только Невский проспект, но и все улицы, ведущие к Таврическому дворцу. Сотни транспарантов с надписью «Долой большевиков!», «Долой тиранов!» медленно двигались в сторону Таврического дворца.

Авангард демонстрации достигли красного кордона, находившегося на Литейной улице. Этот кордон был маленьким, не более пятидесяти вооружённых большевиков. При виде движущейся на них огромной толпы они не выдержали и скрылись, но тридцать метров дальше уже более многочисленный отряд «прибалтов» перегораживал путь. Между ними и толпой не было ни каких баррикад, только стояло двадцать пулемётов. Толпа в тридцать тысяч человек встречалась с пятьюстами головорезами, специально экспортированными Троцким из Америки. Когда расстояние между толпой и кордоном уменьшилось до пятнадцати метров, нью-йоркские гангстеры открыли огонь, целясь в тех, кто был со знамёнами и плакатами. Студент из Технологического института, ведущий группу своих коллег, был убит моментально. Два рабочих с завода «Треугольник» упали, серьёзно раненные, но всё еще держали транспарант «Долой убийц демократии!» Толпа в панике подалась назад, оставляя десятки убитых и раненных. Однако, всё новые толпы людей, идущих со стороны Невского проспекта, напирали вперёд. Боевики, подкреплённые отрядом бывших моряков, открыли смертельный огонь на поражение. Теперь основные потери несли рабочие Обуховского завода, известного за его демократические тенденции. Известный член кооперативного союза рабочих Логунов был ранен в грудь, и около двадцати рабочих и зевак было убито или ранено. В этот раз толпа уже не смогла противостоять огню, медленно она откатывала назад. То тут, то там раздавались возгласы: «К оружию! К оружию!». Старый рабочий в треуголке сказал мне: «Если бы у нас был хотя бы маленький отряд солдат, мы бы легко смяли этих жидов».

Но на стороне демонстрации не было никакой военной силы. Еврейские лидеры русской демократии запретили всякое оружие на стороне демонстрации. Я оказал первую помощь Логунову и помог занести его в частный дом. Он ещё дышал, но потом умер от внутреннего кровотечения. Я оставил его и вышел на улицу.

Расстояние между нью-йоркскими боевиками и

демонстрантами было около шестидесяти метров. Обе стороны оставались пассивными, как будто, ожидая нового развития событий. Но и на остальных улицах, ведущих к Таврическому, дворцу была та же ситуация: нигде демонстранты не могли прорваться через кордоны. От многих людей, участников демонстрации, я слышал ту же самую историю. Баланс силы колебался между двумя сторонами. Более двухсот тысяч человек участвовали в демонстрации, требуя передачи власти в руки Учредительного собрания. Против этих возмущённых масс, большевики имели силы только-только, чтобы не допустить их до Таврического дворца. Одного бы полка было достаточно, чтобы переломить ход событий в пользу народа. В частных разговорах это признали потом многие лидеры большевиков. Они страшно боялись вспышки народной ярости.

Было двенадцать дня. Город был взбешён от невозможности прорваться к дворцу. Однако пик недовольства уже был пройден, и народная ярость пошла на убыль. Холод тоже работал на большевиков. Толпы народа всё еще окружали улицы в районе Таврического дворца. Но апатия и безнадёга стали овладевать людьми. Теперь стало ясно, что только чудо может спасти Учредительное собрание. Неохотно, только из-за того, что, вроде, как по обязанности, я решил идти в Таврический дворец. Чтобы быть убитым? Я ожидал всего.

Я подошёл к кордону, и был сразу же остановлен боевиками.

— Какого чёрта тебе нужно? — на ломаном русском спросил их главный.

Я был в своей форме армейского врача.

— Я член Учредительного собрания.

— Мандат.

Я вынул красную книжечку за подписью комиссара, Урицкого. Боевик ничего не сказал, но позволил мне пройти.

Идеи имеют магическую власть над людьми. Когда какая-нибудь сильная идея овладевает людьми, они теряют чувство реальности. Они становятся рабами своей идеи, и она парализует их способность видеть очевидные вещи. Идея Учредительного собрания доминировала в жизни русской интеллигенции в течение последних десятилетий. Конституционная ассамблея, выбранная на основе всеобщего участия народа, была целью упорной борьбы, которая велась интеллигенцией. И, наконец, цель достигнута. Через несколько часов историческое Учредительное собрание должно было открыться. Несмотря на нехорошие слухи и все обстоятельства, глубоко в сердцах членов собрания, гнездилась вера в мистическую силу этого политического учреждения. Они были представителями народа,

выбранные в соответствии с законом. Они были готовы умереть за идею Учредительного собрания. Однако они не были готовы к тому, что стало происходить в стенах Таврического дворца. Они не ожидали, что их просто оставят в дураках. Они плохо знали Ленина и его компанию.

Таврический дворец выглядел, как военный лагерь. Вооружённые моряки, реэмигранты, выдающие себя за прибалтов, группы людей в штатском с револьверами и пулемётами присутствовали везде. Несколько пушек стояли наготове перед дворцом. Все двери были закрыты, кроме одной. Снова военный отряд проверил мои документы. Я вошёл в приёмный зал дворца, и снова вооружённый отряд проверил мои документы. Я прошёл дальше в зал собрания, где предполагалось открытие заседания. Зал был наполнен бывшими матросами и этими, якобы «прибалтами». Они разгуливали вокруг и оккупировали галереи. Члены Учредительного собрания тоже бродили вокруг и спрашивали друг друга тихими голосами: «А вообще-то собрание откроется? Может, они разгонят его до открытия?».

В зале собрания было не топлено и очень холодно. Фракция коммунистов отсутствовала, проводя где-то своё собственное собрание. Часы проходили один за другим, но ничего не менялось. Только позднее мы узнали, что Ленин специально затягивал открытие, чтобы точно знать, чем разрешилась ситуация в городе. Он прекрасно знал, что демонстраторы могли прорваться к дворцу, и поэтому именно на улицах Петербурга решилась судьба Учредительного собрания.

Только в четыре часа по полудни, ровно через четыре часа, как должно было открыться собрание, появились какие-то признаки деятельности. К этому времени Ленин уже имел информацию, что кордон выдержал, и что народ начинает расходиться. Теперь он мог действовать по своему хотению. Ленин уже выиграл свою битву. Однако чтобы сделать победу более убедительной, он решил подвергнуть Учредительное собрание полному унижению. «Никакого кровопролития!» — Ленин не хотел делать из депутатов мучеников за демократию. Однако, поведение его приспешников и всей этой специально пригнанной публики, указывало, что они решили сделать из Учредительного собрания посмешище.

Зал собрания постепенно наполнялся. Кресла слева заполняли большевики, а центр и кресла справа — представители демократических партий. Несколько ведущих коммунистов заняли места на сцене. Среди них был Павел Ефимович Дыбенко, будущий палач в гражданской войне, был также и Стеклов (Нахамкес). Несмотря на русские фамилии, многие из них, как

например тот же Стеклов, не были русскими. Ленин сидел в ложе слева от сцены. Он был бледен и заметно нервничал. Время от времени к нему подходил Сталин и затем удалялся. Троцкий отсутствовал. Он в это время спешно продавал Россию немцам, ведя с ними переговоры где-то на Западном фронте[15].

Я поднялся на галереи. Они все были заполнены бывшими матросами и реэмигрантами. Вооружённые до зубов, матросы были призваны производить устрашающее воздействие на собрание. Многие из них были пацанами, не видевшими фронта. Большинство вообще были дезертирами. Некоторые были пьяны. Там и сям они играли в карты. Я спросил одну из групп:

— Вы члены партии большевиков?

— Нет.

— А почему вы здесь?

— Нам приказали быть тут на всякий случай.

Их начальником был рыжий матрос с «Авроры», и я слышал, как он инструктировал их:

— Когда я подниму руку, всем кричать «Долой буржуазных наймитов!». Вы можете угрожать им оружием. Но не стрелять. Строгий приказ, сегодня больше никакой крови. Вы всё поняли?

И нескольким матросам постарше он добавил:

— Посматривайте за своими.

Я попробовал поговорить с одним из юных матросов с открытым детским лицом.

— Вам известно, что это за собрание тут будет?

— Нет, — сказал он, смущённый моим вопросом. — Я ничего не знаю о собрании. Они меня послали, но я не знаю почему.

Десять минут четвёртого. Высокий, седеющий человек, Лоркипанидзе, представитель Грузии, предложил, чтобы старейший участник собрания открыл его. Сергей Швецов, социал-революционер, с седой бородой и длинными седыми волосами поднялся на сцену. Он был встречен улюлюканьем, и с большевистской стороны раздались крики «Узурпатор» и «Капиталист». Швецов позвонил колокольчиком, призывая к порядку. Напрасно. Крики и улюлюканье продолжалось. Рассердившись, Швецов прокричал:

— Я объявляю Всероссийское Учредительное Собрание открытым!

Его слова утонули в организованном крике и гаме с галёрки. В этот момент Аванесов, секретарь большевистского Центрального комитета, перехватил колокольчик из рук Швецова и передал его Свердлову. Как по мановению руки шум стих. Наступила тишина, за которой последовали аплодисменты с галёрки и с левой, большевистской, стороны. Это продолжалось

несколько минут.

— Да здравствует Ленин!

— Долой капиталистов!

— Долой интернациональных банкиров! — кричали моряки с галёрки.

Наконец, Свердлов позвонил в колокольчик и провозгласил конвенцию открытой. В его речи, которая как мы узнали, была написана Лениным, Свердлов выразил надежду, что Учредительное собрание одобрит все декреты, произведённые властью большевиков. Он требовал одобрить «диктатуру пролетариата» и отказаться от всех притязаний на демократическое государство и демократические свободы. Он предложил, в действительности, чтобы Учредительное собрание отказалось от своих целей и предало их Совету Народных Комиссаров и оставило себе функции консультативного органа при Совнаркоме. Но даже это предложение не было искренним и не отражало истинных намерений Ленина. В этом предложении Ленин просто подготавливал почву для того, чтобы несколько дней позже провозгласить, что Учредительное собрание отказалось признать «власть народа» и предпочла липнуть к власти её «капиталистических друзей». Именно поэтому он, дескать, был вынужден распустить Учредительное собрание для блага народа.

Пока Свердлов читал декларацию, я видел, как Ленин пишет записку. Он послал записку одному из лидеров своей фракции. Немедленно после речи Свердлова этот лидер встал и предложил запеть «Интернационал». Опять же этот умный приём, ставил конвенцию в подчинённое положение. Поэтому всем, хочешь, не хочешь, пришлось встать и петь «Интернационал», впрочем, большинство не пело. Речь Свердлова окончилась аплодисментами с галёрки. Из центра и правой стороны зала раздались крики: «Стыд!», «Срам!».

Последовали выборы председателя Учредительного собрания Виктор Чернов, бывший секретарь по сельскому хозяйству в правительстве Керенского, был избран 244 голосами против 151 голоса при большинстве воздержавшихся. Его вступительная речь ожидалась быть антибольшевистской. Вместо этого Чернов призывал к сотрудничеству с большевиками. Тем не менее, его речь была встречена галёркой враждебно. С галёрки неслось:

— Буржуйский лакей!

— Хватит!

— Капиталистическая гадина!

Снова и снова Чернов призывал к спокойствию и к уважению Учредительного собрания. В ответ шум и крики только нарастали

и, наконец, оратора заглушили таким образом, что его слова вообще утонули в диком шуме и гаме. Я хотя и сидел спереди, во втором ряду кресел, мог слышать только часть того, что пытался сказать Чернов. Он выразил надежду, что между разными фракциями может быть найден общий язык, и Учредительное собрание означает окончание борьбы между фракциями.

Однако не только галерка продемонстрировала своё отрицательное отношение в речи Чернова, демократические партии восприняли эту речь с молчаливым раздражением; так как все они понимали, что никакого потворства, а только сильная позиция собрания могла ещё что-то спасти.

Вскоре говорил Бухарин, один из людей Ленина, и он не оставил никаких иллюзий собравшимся. Он сказал:

— Существует огромная пропасть между вами и нами. Мы хотим полной диктаторской власти над всеми политическими функциями в этой стране… а вы защищаете вшивую демократическую республику.

И он окончил мощной декларацией: «С этой платформы мы объявляем смертельную войну всем и везде демократическим идеям!».

Дальше уже было некуда. Это означало, что большевики подписали смертный приговор Учредительному собранию.

А Бухарин и Чернов не были русскими людьми, впрочем, как и Аванесов не был кавказцем.

Наиболее блестящая речь была произнесена Церетели, социал-демократом из Грузии. Его речь тоже была встречена криками.

— Предатель!

— Убить его!

— Капиталистический холуй!

Однако его сильная речь привлекла внимание и даже заставила притихнуть галёрку.

— Члены Учредительного собрания! Сегодняшние события будут иметь трагические последствия для демократии во всём мире. Это трагический день для всех свободолюбивых наций. История не простит позора, которому мы все свидетели, неслыханного и бесстыдного поведения фракции меньшинства. Да, я повторяю, — и он сделал ударение, обращаясь конкретно к большевикам, — Вашего мерзкого и отвратительного поведения. Нет никакого оправдания вашему бесстыдству… нет никакого оправдания людям, которые объявляют себя правительство этой страны. Это не правительство!

И шаг за шагом Церетели описал всю бесстыдную тактику большевистской партии.

— Вы, депутаты, избраны народом, вы отвечаете перед народом. Вы, большевики, тоже избраны народом и тоже отвечаете перед народом, чтобы защищать, а не замышлять против Учредительного собрания. Вы были посланы сюда, чтобы писать законы для этой страны, демократические законы, а не пытаться установить диктатуру меньшинства, называя себя большевиками. Вы — предатели не только перед этой конвенцией, но и перед всем народом, которые избрали вас и поручили работать над демократическим законами.

И он развил мысль, что даже большевики связаны обещанием писать демократические законы.

Разве они не были избраны в соответствии с демократическими законами? Разве они не уверяли людей, что они сделают всё для созыва Учредительного собрания? Разве не они пытаются теперь разогнать Учредительное собрание, набрав меньшинство голосов и конспирируя самым наглым и неприкрытым способом?

— Кто такие вы, что осмеливаетесь поднять руку против самого священного права любой нации — права распоряжаться своей собственной судьбой, права писать свои собственные законы? Что вы можете дать людям такого, что не может дать Учредительное собрание? Собрание готово писать законы, которые поставят Россию на дорогу прогресса и процветания. Нет ни одной социальной реформы, которая не будет рассматриваться здесь. Есть только один фундаментальный принцип, где мы не имеем права идти на компромисс — это фундаментальные принципы демократии. В этом и только в этом существует огромная пропасть между вами и нами.

Он объявил, что партия меньшинства, то есть большевиков, требует власти и больше ничего. Декреты большевиков являются набором демагогических деклараций и не стоят бумаги, на которой они написаны.

— Если вы хотите власти, имейте мужество так и сказать.

Он обвинил большевиков в обмане людей посредством любых лозунгов и обещаний, без внутреннего смысла и служащих только цели обмана людей.

— История рано или поздно накажет вас за ваше политическое шулерство.

Его речь была встречена долгой и горячей овацией. Большевики злобно молчали в эти короткие минуты триумфа демократии.

Ленин молча слушал речь Церетели. Его лицо, как у сфинкса, ничего не выражало. Если ему не нравилось то, что он слышал, то он не подал и вида. Церетели был политическим лидером

безупречной репутации и был уважаем не только друзьями, но и врагами. Он был человеком высокого морального мужества и неколебимых убеждений. Его было не так то просто игнорировать.

Сталин подошёл к Ленину, и двое шептались несколько минут. О чём они шептались, я не знаю, но после этого поведение вооружённых банд стало ещё более разнузданным. Некоторые моряки спустились с галёрки и заняли депутатские кресла. Их поведение было не только наглым, но и мешало проведению собрания. Каждый раз, когда представитель большинства демократических партий поднимался на сцену, раздавались такие крики и шум, что услышать ничего было нельзя.

Крики «Застрелить его!», передёргивание затворов, направление ружей на ораторов, создавали нарастающую напряжённую атмосферу. Это была психологическая атака. Уже для всех стало очевидным, что вопрос об Учредительном собрании закрыт. Мы все осознали, что собрание обречено. Вопрос оставался только о сохранении лица и достоинства Учредительного собрания. Всё можно было вынести, кроме этой медленной пытки со стороны юных большевистских хулиганов. Некоторые из нас были на грани провоцирования кровопролития. Некоторые депутаты действительно были готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы пресечь дальнейшее издевательство.

Чтобы выразить наши внутренние чувства депутат Ефремов внезапно забрался на сцену. Он был простой крестьянин и говорил, как крестьянин. У него была длинная борода и лицо как у Льва Толстого. С громким, я бы сказал, даже музыкальным голосом он производил внушительное впечатление. «Братья!» — и это обращение было так неожиданно, что наступила неожиданная тишина. «Братья! — повторил он, обращаясь не к собранию, а к галёрке. — Вы угрожаете нам, своим представителям. Ваши отцы и матери послали нас на это священное собрание, и теперь вы угрожаете нам своим оружием. Мы не боимся, мы не боимся умереть. Стреляйте, если у вас есть смелости! Стреляйте в меня! — закричал он со всей силы. — Я буду рад умереть за Учредительное собрание, о котором мы мечтали десятилетия. Стреляйте. Но не смейте оскорблять нас!».

Некоторое время бандиты молчали. Никто ему не ответил, никто не выстрелил, но тишина была не надолго.

Было десять часов вечера, и собрание превращалось в полный хаос. Левые кресла большевиков были почти пусты. Они ушли, видимо зная, чем это всё закончится. Несколько вооруженных моряков, развалившись на креслах, курили, громко разговаривая между собой. Некоторые спали.

Я поднялся на галёрку. Там был вообще ужас. Многие моряки были пьяны в стельку и валялись на полу. Другие играли в карты, не обращая ни на что внимания. Пол был усеян окурками и пустыми бутылками из-под водки и пива. Я искал молодого матросика, с которым говорил несколько часов назад. Я нашёл его с двумя его дружками, слушающих речи депутатов.

— Что ты думаешь об этом Учредительном собрании? — спросил я его.

Его лицо выражало смятение, и его друг быстро ответил на мой вопрос. Он тоже выглядел молодо и дружелюбно, как и его товарищ.

— Что-то не в порядке, господин доктор. Мы обеспокоены… Нам это не нравиться….

— Старик, который сказал застрелить его, он хороший человек, он как мой отец. Он так просто говорил, что мы всё поняли, — сказал первый матросик.

— Да, он говорил от всего сердца, — добавил второй.

— Но кто прав и кто виноват? — настаивал я.

— Мы точно сказать не можем, — ответил второй матросик.

— Мы чувствуем, что собрание правильное.

— Они, я имею виду наших товарищей, не должны так себя вести, — пожаловался первый матросик.

— Что ты скажешь своему отцу. Когда увидишь его? — спросил я первого матросика.

— Я не знаю, не знаю. Если правду, то он рассердится, что мы тут тихонечко сидели.

— Что ты имеешь виду, сидели тихонечко? Что вы могли?

— Мой отец прямой человек. Он ничего не боится. Он бы вёл себя также как это депутат, который порвал на себе рубаху и сказал застрелить его. Мой отец рассердится, узнав, что мы не защитили Учредительное собрание, — матросик готов был расплакаться.

— Ладно, — сказал я.

— Когда-нибудь люди России поймут, что они потеряли в этот день. Передай своему отцу привет от меня. Он, должно быть, правильный мужик.

— Да, господин доктор, он хороший. До свиданья.

Я спустился в зал немного в лучшем настроении. Разговор с двумя матросиками дал немного надежды, нет, не на сегодня, быть может для завтра.

Несмотря на продолжающийся шум, заседание продолжалось. Депутат за депутатом говорили речи, полные надежды на демократическую Россию. Однако, кризис, похоже, приближался. Каждую минуту теперь мы ожидали чего-то со стороны

большевиков. Около одиннадцати вечера большевики запросили перерыв. Они захотели обсудить между собой вопрос о дальнейшем участии в собрании. Им дали разрешение, и они собрались в отдельной комнате[16].

Ленин сделал инструктаж на этой большевистской летучке. «Центральный комитет партии, — сказал он, — предлагает оставить Учредительное собрание после оглашения специального обращения».

Григорий Пятаков высказал некоторое сомнение относительно мудрости оставления собрания большевиками.

— Идея Конституционного собрания глубоко врезалась в сознание русского народа, и оставление собрания кажется не очень мудрым решением.

Бухарин говорил в пользу ленинского варианта.

— Не имеет смысла здесь оставаться, — настаивал он.

Другие тоже согласились, и было решено оставить конвенцию.

Ленин предложил резолюцию, в которой большинство Учредительного собрания названо врагами народа и предателями революции. Говорилось, что уход с Учредительного собрания был вызван нежеланием большевиков кооперировать с контрреволюционными партиями, которые не пожелали признать диктатуру пролетариата и достижения Советского правительства.

Раскольников, член Учредительного собрания, был выбран огласить большевистскую резолюцию. Большевики готовились возвратиться в зал, как вдруг вмешался Ленин.

— Вы что, товарищи, хотите возвратиться в зал и уйти, после того как Раскольников огласит резолюцию?

— А что такое? — спросили его.

— Вы должны понять, что это невозможно. Когда резолюция будет зачитана, и вы уйдёте, это может произвести такое впечатление на галёрку, что начнётся стрельба. Я не хочу ни какого кровопролития в зале.

— Нет никакого вреда, если подстрелят пару меньшевиков или эсеров, — заметил Аванесов.

— Вот этого как раз я и не хочу, — сердито возразил Ленин. — Я не хочу делать святых мучеников из членов Учредительного собрания.

— А многие из них хотят погибнуть, чтобы записаться в святые, — сказал Бухарин, поддерживая Ленина.

— Люди на галёрке находятся в состоянии полной распущенности, — заметил Пятаков.

— Жуткая банда мерзавцев, — сказал Ленин раздражённо. — Где вы раскопали такой сброд, товарищ Дыбенко?

— Выбрал самых лучших, — ответил Дыбенко.

— Кстати, товарищ Дыбенко, меня информировали, что вы приказали своим бандитам разогнать собрание. Это правда?

— Да, — допустил Дыбенко. — Я дал приказ товарищу Железнякову.

— Позовите сюда Железнякова, — приказал Ленин.

Через несколько минут дезертир и бывший матрос Железняков вошел в комнату. Ленин при нём написал и подписал следующий приказ, подписанный также комендантом Таврического дворца Урицким:

> «Я приказываю товарищам матросам и солдатам не допускать никакого нападения на контрреволюционных членов Учредительного собрания и позволить им свободно покинуть дворец. Никто также на должен допускаться во дворец без специального разрешения».

Кроме этого приказа всему своему войску Ленин также написал Железнякову письменный приказ, подтверждающий устный приказ, который тот получил до этого. «Учредительное собрание не должно разгонятся до окончания сегодняшнего заседания. Начиная с завтрашнего утра, никто не должен допускаться в Таврический дворец».

Однако Железняков не выполнил этого приказа[17].

Было давно за полночь. Мы все сидели в зале, ожидая возвращения большевиков. Напряжение росло с каждой минутой. Наверно, подсудимый, ожидающий приговора, чувствует также. Я думал о Французской революционной конвенции. Отличаемся ли мы от них? Робеспьер, Марат и жирондисты. У них было много крови, жестокости и драки, но иногда были великие драматические моменты, когда сама смерть казалась привлекательной и влекущей неувядаемую славу. А здесь: шайка полупьяных малолетних юнцов, которые абсолютно не имеют понятия, что происходит, и главное, и не интересуются. С кем бороться? Кто нас услышит? Мы были изолированы. Не было свободной прессы. Не было сообщения с внешним миром. Железный занавес делал все наши речи бессмысленной тратой времени. В нас варилась холодная ярость. Минуты проходили быстро, и какое-либо действие казалось необходимым.

Только после часа ночи заседание было возобновлено. Большевики отсутствовали. Нам было ясно, что они больше не вернутся. Кресла по центру и справа были всё ещё заполнены.

Раскольников зачитал большевистскую декларацию. Она была короткой и ясной. Мы провозглашались врагами народа, и как таковые, объявлялись вне закона. «Вот оно, начинается, —

сказали мы себе. — Теперь они будут нас кончать со всей присущей им жестокостью».

Они окружили нас со всех сторон. Мы сидели невооруженные и беззащитные. Мы сидели в напряжённой тишине, как вдруг галёрка взорвалась звериным рёвом. Это был ад. Воздух был наполнен ругательствами, которые я никогда не слышал в течение всей своей жизни. «Капиталистическая сволочь» было самым мягким ругательством. Мяуканье и свист оглушали нас. Многие были снабжены полицейскими свистками. Некоторые моряки спустились с галерки, направляя ружья на участников конвенции.

— Капиталистические убийцы! — кричал один.

— Прикончить их!

— Наёмники французского капитала!

— Лакеи Ротшильда!

— Прикончить их!

Это был кошмар. У нас была полная уверенность, что сейчас они начнут нас убивать.

Однако шум внезапно стих, также как и возник, и заседание продолжило работу в гораздо более спокойной обстановке, чем до этого.

Вскорости левые социалисты раскрыли своё настоящее лицо. Они объявили, что они полностью поддерживают большевиков. Их лидер Штейнберг зачитал декларацию. Он обосновал это таким образом, что, дескать, демократическое большинство отказалось подписать мир с Германией, за который выступали левые социалисты. Они ушли в тишине, и их уход не вызвал с галёрки никакой ответной реакции. Судьба левых социалистов была довольно жалкой. Большевики кинули им подачку и дали им несколько мест в правительстве. Однако, как только выявилась их дальнейшая бесполезность, большевики ликвидировали их. Борис Камков и многие другие лидеры левых социалистов стали одними из первых жертв Красного террора.

В течение долгих часов собрание жило в ожидании кровавой развязки. Несколько раз было ощущение, что мясорубка вот-вот начнётся. Но ничего не было, и после многих часов противостояния упадок, истощение и усталость начали проявляться в Учредительном собрании. Речи продолжались в атмосфере, в которой уже не было ни революционного энтузиазма, ни вообще никакой страсти. Мы были полностью истощены от этой длительной и абсолютно бесперспективной борьбы.

Было четыре часа утра. Депутаты начали обсуждать закон о земле. Этот закон полностью менял существующие земельные

отношения и наделял крестьян землёй, в которой они так нуждались. Тем временем на сцену поднялся моряк. В его виде не было ничего примечательного, кроме отпущенных длинных волос, какие были свойственны дезертирам. Довольно высокий и широкоплечий, он не отличался от других матросов, наполнявших галёрку. Он подошёл к председателю конвенции Чернову, который давал указания, кто в каком порядке выступает. Моряк ждал минуты две, а затем легонько коснулся руки Чернова. Мы не могли слышать его слов, которые тот произнёс очень тихо, но мы видели, что Чернов сердито замотал головой. Моряк снова обратился к Чернову уже более громким голосом:

— У меня инструкции от товарища Дыбенко. Вы должны покинуть зал заседания.

— Я отказываюсь подчиняться этому приказу, — ответил Чернов. — Гражданин матрос, Учредительное собрание может быть распущено только вооружённой силой.

— Я настаиваю, чтобы вы немедленно покинули зал заседаний, — упрямо повторял моряк.

— Я отказываюсь, отказываюсь, — повторял Чернов снова и снова.

В течение нескольких минут между ними продолжался возбуждённый спор. Подключились другие члены президиума собрания. Они решили, что нет смысла провоцировать кровопролитие, так как сила была на стороне моряка.

Закон он земле был принят тут же, меньше чем за пять минут. Наспех зачитали и приняли единогласно обращение к странам союзникам. Этим манифестом Учредительное собрание отказывалось идти на сепаратные переговоры с Германией, и провозглашалась верность союзническому долгу. И, наконец, был принят специальный закон, где Россия провозглашалась Федеративной Демократической республикой.

Всё это время, пока собрание проводило это законы, моряк терпеливо стоял и ждал на сцене. Он не говорил ничего. Это был товарищ Железняков. Тот самый, которому Ленин дал приказ не прерывать заседание насильственно. Так случилось, что Железняков не был большевиком: он был анархистом[18].

В 4:42, утром 6 января по Русскому календарю, первый день заседаний Учредительного собрания был объявлен закрытым. Было решено открыть второй день заседаний сегодня в пять часов вечера, хотя никто и не верил в то, что это будет так.

В траурной тишине мы покидали зал, ожидая нападения со стороны бандитов, которые спустились с галёрки и провожали нас до выхода. Повернув голову назад, я увидел позади себя трех матросиков, с которыми я недавно разговаривал.

— Что вы здесь делаете? — спросил я их.

— Мы подошли защитить вас на всякий случай, — пробормотал один из них.

Так, под охраной, я и покинул Таврический дворец. Как оказалось, в охране не было необходимости, ни над кем не надругались. Всем участникам Учредительного собрания позволили уйти спокойно в темноту этой зимней ночи.

Через несколько дней я зашёл на Болотную улицу попрощаться со своими друзьями и коллегами. Подходя к зданию, я увидел топу зевак.

— Что происходит? — спросил я.

— Большевики арестовывают членов Учредительного собрания, — сказали мне.

Всех участников, которые не покинули город, пересажали. Всероссийское Учредительное Собрание, мечта поколений русской интеллигенции, скончалось.

* * *

Большевики выдали ордер на мой арест. Я этого ожидал. Дом, в котором я жил, находился под наблюдением двух подозрительных типов. В тот момент Чека еще не была толком организована, и их деятельность ещё не была эффективной. Перед приходом домой я позвонил матери, и она сказала мне, что она заметила из окна этих типов.

— Миша, (дворник) узнал, что они посланы арестовать тебя. Домой не приходи, — предупредила меня мать.

Я запротестовал. Было жутко холодно, а я был без тёплой одежды и денег.

Мать сказала, что она подошлёт ко мне мою сестру Наташу с деньгами и одеждой.

Я ответил, что я не хочу подвергать опасности сестру, и предложил, чтобы Наташа вышла прогуляться около дома с нашими двумя огромными собаками-далматинами, которые не очень дружественно настроены к посторонним. Я сказал, что я позже перезвоню.

Когда я перезвонил минут через десять, мать была обрадована.

— Сработало, — сказала она. — Холод и собаки, это оказалось для них слишком. Они ушли, но ушли они в пивной бар на Садовой улице. У тебя есть минут тридцать, чтобы собраться.

— Держите собак на улице, — взмолился я.

Быстро я добежал до дома, быстро собрал вещи и оставил

родительский дом, даже толком ни с кем не попрощавшись. Петербургская Биологическая лаборатория, где я работал, располагалась по Английскому проезду, всего в нескольких кварталах от нашего дома. Я добрался до работы нормально. Шестиэтажное здание было огромным. Часть подвала занимала анатомичка, где находились банки с формалином и законсервированными в нём человеческими частями. С помощью моей помощницы Марты, я нашёл место, где спать. Она принесла мне одеяла, подушку и бутерброды. В данной комнате находилась экспозиция, посвящённая сравнительному изучению строения сердца. Сердца людей любого возраста, начиная с эмбриона и кончая сердцем девяностопятилетнего старика; а также сердца самых разнообразных животных от рыбы до обезьяны, сотнями в банках размещались на полках и прямо на полу.

У Марты было чувство юмора, она оставила мне книгу Аристотеля «История природы».

— Хорошо почитать в твоей ситуации, — сказала она мне. — Аристотель утверждал, что сердце является центром умственной активности человека.

— Возможно это и так, — мрачно заметил я. — Если сердце перестало биться, и помещено в банку с формалином, то мыслительный процесс конечно прекращается.

Воздух в комнате был насыщен парами формалина, что наводило меня на мрачные мысли, выражающиеся русской поговоркой о том, что всё есть «Суета сует». После десяти дней в этой комнате я частично проникся правотой этой поговорки, и ночами держал длинные диалоги с сердцем девяностопятилетнего старика. После двух недель в этой комнате я решил, что уже можно уезжать из Петербурга. Я пошёл на вокзал и без всяких происшествий сел на поезд в Киев, забитый демобилизованными солдатами. Народу в поезде было как килек в банке. Я с трудом кое-как втиснулся между людьми. Моё присутствие произвело неожиданный эффект: народ отодвинулся от меня как можно дальше, а некоторые вообще ушли. Я опешил:

— Что случилось?

— Ты чего из больницы, что ли? — спросил один.

— Какой больницы?

— Вы жутко воняете, товарищ, — и он тут же исчез.

Только тут я понял, что я настолько пропах формалином, что вполне могу удовлетворяться пословицей: «Нет худа без добра».

* * *

На фронте было спокойно. Война, в действительности, закончилась. Троцкий уже подписывал мирный договор с немцами в Брест-Литовске от лица нового советского правительства. От армии остался один скелет, солдаты дезертировали тысячами. Все он были крестьянами, которые торопились домой принять участие в разделе земли, обещанной большевикам лозунгом «Земля — крестьянам». Прошло несколько лет для того, чтобы они поняли, что коммунисты взяли власть, чтобы не дать, а отобрать у них землю.

Илья снова встретил меня в Ровно. В мрачном молчании мы доехали до госпиталя, не проронив ни слова.

— Когда ты уедешь, Илья? — спросил я.

— Я не в спешке, командир. Старуха и моя дочь держат моё маленькое хозяйство в порядке. Пока я вам тут нужен, я буду здесь.

И он спросил:

— Как там, совсем плохо?

— Совсем, — ответил я.

В госпитале было всего несколько пациентов с лёгкими инфекциями. Делать было нечего, и персонал играл в бридж с обеда и до позднего вечера.

Скоро мне пришёл приказ, чтобы мы передислоцировались в сторону Киева для демобилизации. Ночью перед отбытием я снова пришёл в старую церковь. Была ранняя весна. Через дырку в потолке я снова видел тёмно-синее небо, усеянное далёкими, спокойными звёздами.

Красный снег.

Стояла весна 1918 года. Киев был в праздничном настроении. Весёлые толпы народа гуляли вдоль Крещатика. Река Днепр шумно несла свои вольные воды дальше на юг в манере, совершенной отличной от спокойного и самоуглублённого течения моей любимой Невы. Националистическое движение на Украине было в полном разгаре. Русский язык был запрещён в государственных учреждениях, и все перешли на украинский. Вдобавок, я был безработным и не мог найти работу по причине моей русской фамилии. Потом я нашёл работу в Киевской лаборатории микробиологии, но я не был готов возвращаться к спокойной научной жизни. Я приступил к работе, но мои мысли были далеко от трихомонад, которых я начал изучать. Моя страна страдала как огромный раненый медведь, истекающий кровью.

Однажды в конце марта я зашёл на работу к моему другу доктору Михаилу Майданскому, который руководил медицинской службой Юго-Западной армии.

— Ну что?

— Ничего.

Ему не было нужды рассказывать обо всей этой истории с Учредительным собранием. Вся эта горечь была написана у него на лица.

— Я давно тебя ждал. Я знал, что ты благополучно добрался до Киева.

— Я…..

Я попытался объяснить моё плохое настроения. Однако в этом не было нужды. Майданский вполне понимал это.

— Некоторые новости для тебя.

И Майданский протянул мне клочок бумаги. Это была записка от Васильева. Она была краткой: «От варваров сбежал, теперь прячусь». Был ещё номер телефона. Ну, слава богу, что Васильев живой. Это было первое облегчение.

— Ты читал газеты? — прервал мои мысли Майданский.

— А мне это нужно?

— Почитай сегодняшнюю «Украинскую Звезду».

— Она на украинском, а я не понимаю ни слова.

— Слушай.

Заголовок гласил: «Всероссийское Учредительное собрание живо! Чехословацкая армия, сформированная из военнопленных, восстала против Советского правительства. Они сформировали новый фронт под Самарой».

— А здесь вот написано то, что касается тебя, мой друг, — сказал Майданский.

Газета была прислана мне для передачи членам Учредительного собрания.

В заметке говорилось: «Все члены Учредительного собрания должны немедленно прибыть в город Уфу. Возобновление Учредительного собрания намечено на август 1918 года в Уфе».

— Это означает позади чехословаков, — объявил Майданский.

— Но как? — я был ошарашен.

Как кто вообще может добраться до Уфы? На границе с Сибирью, тысячи вёрст территории, контролирующейся большевиками. По всей центральной России царил красный террор: люди арестовывались толпами без всяких объяснений, тысячи ликвидировались ежедневно.

— Трудно, мой друг, но не невозможно, — и он подбадривающе улыбнулся.

Я решил сразу:

— Я еду. Это мой долг.

— Подходи через несколько дней, и мы выработаем план.

Майданский сообщил мне киевские новости:

— Старший Пятаков, Николай, был убит 26 октября, на следующий же день после Октябрьского переворота.

— Кто убил его? — удивился я.

— Поговаривают, что это брат Григорий застрелил его. Три пули в грудь. Я читал протокол вскрытия.

— Григорий арестован? — спросил я.

— Не будь дураком. Григорий — это теперь власть в этом городе. Он представляет здесь самого Ленина.

* * *

Компромат на большевиков относительно дня начала восстания передал мне Николай Пятаков. В тот раз я только мельком видел Григория. Пятаков-отец умер за несколько лет до этого. Он был человек, который выбился сам. Бригадир на маленьком сахарном заводе, он построил свой заводик, который со временем стал самым большим на Украине. Отец-Пятаков стал одним из самых богатых людей в Киеве. Однако старик жил скромно и оставил всё состояние своим трём сыновьям.

Старший, Николай, продолжал отцовское дело. Средний, Григорий, стал коммунистом, и время от времени попадал в тюрьму. Он ненавидел Николая, и их ненависть была взаимной. Младший сын Михаил был моим другом. Первый раз я встретил Михаила Пятакова в зоологической лаборатории Петербургского университета. Я был ещё на младших курсах, и Михаил был моим соседом по лабораторному столу. Очень высокий, где-то около метр девяносто, у него были длинные русые волосы, а также усы и борода. Он выглядел, как типичный чеховский герой. Он был молчалив и работал очень хорошо. Я знал, что он сын очень религиозного отца, и был удивлён материалистическими взглядами Михаила, которые он свободно высказывал.

* * *

Через два дня я был готов к путешествию в Уфу. Сначала мне предстояло вернуться в Петербург. Я позвонил по междугороднему телефону Васильеву, и, к моему удивлению, я на него попал. Я сказал, что выезжаю, но когда буду, не знаю, так как с поездами теперь плохо.

— Не беспокойся, я тебя встречу, — сказал он мне.

Майданский сделал мне кое-какие документы, которые хоть как-то могли защитить меня. Состряпанные им документы

гласили, что я демобилизован и возвращаюсь домой, в маленький город возле Самары.

— Если они тебя задержат, а это и произойдёт, то эта бумажка может продлить твою жизнь на пару дней, — усмехнулся он. — А это мой тебе персональный подарок.

Он дал мне большую красную звезду.

— Прилепишь себе на фуражку. Не брейся и постарайся выглядеть ужасно.

Он поднялся и обнял меня.

— Я бы предпочёл, чтобы ты избавился от революционного духа приключений и остался здесь. Во всяком случае, не вини никого в случае своего преждевременного расставания с прекрасной планетой Земля.

На следующее утро я уже был на вокзале. Все вагоны были забиты демобилизованными солдатами. Попасть в вагон не было никаких шансов. Я шёл вдоль поезда и наткнулся на вагон первого класса. У входа в вагон стоял охранник, и я решил действовать. Прежде чем охранник вообще что-то произнёс, я сказал: «По делу. Приказ Пятакова». Слова действовали как волшебная палочка. Охранник впустил меня внутрь вагона. Внутри не было много народа, в основном — красные командиры, размещавшиеся в купе. Я дошёл до четвёртого купе и там, читая газету, сидел Григорий Пятаков собственной персоной. Напротив его сидела молодая женщина необыкновенной красоты. У меня не было выбора, я открыл дверь. И обращаясь к женщине, попросил разрешения занять место. Она не улыбнулась, а просто утвердительно кивнула головой. Григорий игнорировал моё появление. Я уселся как можно дальше от него.

Мы ехали в тишине минут тридцать. Григорий закончил читать газету и отложил её. Я решил, что пора заговорить для моей же собственной безопасности.

— Вы не знаете, где сейчас Михаил? — спросил я женщину.

Она сразу воспрянула.

— Вы знаете Михаила?

— Да, он мой университетский товарищ, я наверно года три ничего не знаю о нём.

Григорий враждебно взглянул в мою сторону, но ничего не сказал.

— Он должен быть в Севастополе. Он в прошлом году уехал работать на Чёрном море с … как это называется…

— Планктоном…, — подсказал я.

— Правильно, — она улыбнулась.

— Что это означает?

Я объяснил, что работа Михаила связана с изучением

одноклеточных организмов. Она слушала внимательно и, как будто, была мне благодарна за разговор.

— А как его старший брат Николай? Михаил часто говорил мне о нём.

Это был неуместный вопрос, я поздно это сообразил.

— Николай умер, — сказал Григорий, не глядя на меня.

— Он был убит! — вскричала женщина.

— Остановись, Ниночка…

— Не смей называть меня Ниночкой, я запрещаю. Да, мой муж был убит.

И она с яростью посмотрела на своего шурина.

— Остановись, Ниночка, ты знаешь, что это не так, это был несчастный случай.

— Ты…..

Она остановилась. Тишина становилась угнетающей.

— Вы были во Франции? — спросил она меня чуть погодя.

— Да, я был.

— Я еду в Париж. Я — пианистка. Париж — прекрасное место, чтобы учиться музыке.

— Я надеюсь, что ты переменишь своё решение, — заметил Григорий.

Его голос был мягкий, и я бы сказал, в определённой степени с нежностью.

— Мы строим новую Россию.

— Меня не волнует ваша новая Россия. Вы обещали достать мне визу и билет.

— Я выполню своё обещание, — сказал он мрачно. — Но я надеюсь, Ниночка, что ты останешься в стране.

В этот момент я решил оставить их наедине. Я извинился и вышел в туалет, где оставался долго. Когда я вернулся в купе, они ужинали. На столе стояла бутылка водки, и атмосфера была более спокойной, почти что дружелюбной. Они предложили мне бутерброд и стакан водки. Мы говорили о Франции, Париже и Швеции, куда Нина планировала уехать пока не окончиться война.

Скоро она сказала, что устала и хочет спать. Григорий сделал её постель, накрыл её одеялом, а сам забрался на верхнюю полку. Я тут же растянулся на нижней полке и моментально заснул.

Было раннее утро, когда мы прибыли в Петербург. Охранник пришёл убрать кровати. Он принёс стаканы с крепким чаем, хлеб и масло. Нина уже была одета и выглядела прекрасно с её изящной шляпкой и кокетливо уложенными волосами.

Они довольно формально пожали мне руки на прощанье. Нина обещала написать Михаилу о нашей встрече. Их встретили

два красноармейца, которые взяли их чемоданы. Я заметил, что Григорий держал Нину под руку, и она улыбалась, разговаривая с ним. Таким образом, если Николай был убит, то помимо политических, тут явно была и чисто личная причина. Я никогда больше не встречал их. Спустя несколько лет, я прочёл в газетах, что Григорий Пятаков был расстрелян как враг народа. Судьба Нины Пятаковой мне неизвестна, может быть, она вышла замуж во Франции и поменяла фамилию. А может, он уговорил её остаться в России с братом её убитого мужа?

* * *

Я медленно плыл в потоке пассажиров, который выплеснулся на улицы. Варшавский вокзал оказался грязным, как будто его уже никто не убирал. На улице стояли несколько извозчиков с дрожками. Один из извозчиков привлёк моё внимание. Он выглядел очень старым, с большой бородой и длинными седыми волосами. На нём был заношенный кафтан, типичный для извозчиков. Я проходил мимо него, когда он вдруг обратился ко мне: «Товарищ, не изволите прокатиться?».

И хотя его голос был приглушён, я сразу распознал Васильева. Я изобразил, что думаю.

— В Смольный! — сказал я громко для конспирации.

— Не говори со мной. Мы оба в опасной ситуации, — прошептал Васильев.

Очень быстро мы подъехали к зданию, которое смутно было знакомо мне. Это была баня.

— Самое безопасное место в мире. Столько народу приходит и уходит, что за всеми не уследишь.

Я живу в маленькой квартирке позади здания. Имеется также стойло для моей лошади. Давай внутрь в парилочку.

Его квартирка была чистенькой, с двумя маленьким спальными и маленькой гостиной.

— Какие твои планы?

Я рассказал ему об Уфимском Учредительном собрании.

— Ты сумасшедший, там будет то же самое, та же запрограммированная болтовня под руководством Чернова. А путешествие через территорию, контролируемую большевиками? Сумасшествие чистой воды! Это твои похороны, конец твоего блистательного существования.

— А ты?

— Я уезжаю на Север. Там растёт сопротивление. Там настоящие люди, охотники. Я буду с ними.

Васильев уезжал через пару дней.

— Я дожидался только тебя.

Мы пили крепкий чай с водкой, поглощали бутерброды, и он рассказывал мне, как он сбежал из Смольного. Слушая его рассказ, я завидовал ему. Я завидовал ему всегда, когда ещё мы учились в школе. В нём всегда была какая-то мужская целостность и гармония между его мыслями и действиями. В нём никогда не было внутренних конфликтов.

Его история была полностью феерической. Его арестовали и посадили в следственный отдел Чека, который находился в Смольном институте. Он бежал из Смольного и позднее соблазнил женщину, члена районного комитета партии большевиков, и та целую неделю его прятала — история Графа Монте Кристо.

Мы болтали до самого утра, говоря о нас самих, наших мечтах и надеждах. Мы пили Калининское пиво за здоровье матушки России и Петербурга, и нашей любимой Невы. Под конец мы совсем расчувствовались и плакали над горькой судьбою России. Наконец, мы напились совсем, и пьяные рухнули спать.

* * *

На следующий день я выехал в Уфу. В этом случае трудно сказать поехал — пытался добраться. Шансы были очень небольшие. Я уже знал, что несколько членов Учредительного собрания уже схвачено и казнено. Среди них был и мой школьный товарищ Борис Флеккель. Глубоко в глубине сердца я был согласен с Васильевым, что ехать в Уфу нет никакого смысла, и что сама идея созыва Учредительного собрания в условиях жесточайших репрессий — абсурдна. Однако я уже упёрся в это идею. Кроме того, я думал, что, во всяком случае, это будет наказанием за моё бездействие в дни подготовки Учредительного собрания.

Я без осложнений вернулся в Москву и сел в поезд на Пензу, которая находилась в восьмидесяти верстах от линии фронта. В поезде ко мне примкнули ещё два члена Учредительного собрания.

Чем ближе мы подъезжали к линии фронта, тем всё вероятнее становилась опасность ареста. Поэтому мы слезли с поезда и продолжили путь на телегах через маленькие городки и деревни, контролируемые красными. Возможно, воодушевлённый Васильевым я решил действовать смело. В каждой деревне, через

которую мы ехали, я объявлял себя представителем эпидемиологической бригады международного Красного Креста. Мы тут же шли в местное Чека и требовали местного комиссара, а от него — свежих лошадей, и самое удивительное, что это срабатывало. Это было чудо, несказанная удача. Наконец, до линии фронта осталось десять вёрст, но перейти линию фронта было невозможно: красные патрули заблокировали все дороги. Однако внезапная чехословацкая атака — и территория вдруг оказалась нейтральной. И скоро нас уже приветствовали друзья.

Учредительное собрание открылось в Уфе при наименее благоприятных обстоятельствах. Красная армия наступала, отбрасывая чехословаков к Уралу. Железная дорога, да и вообще дороги в сторону Сибири была забиты беженцами, войсками и ранеными. В день открытия Учредительного собрания, 8 сентября 1918 года, передовые отряды Красной Армии уже были в предместьях Уфы. Взятие города ожидалось в любой момент.

Председательствовал Виктор Чернов. Вместо того чтобы предпринять что-то для обороны города, Чернов пустился в длинные дискуссии по поводу недостатков большевистской идеологии. Мы сидели в мрачном настроении и терпеливо слушали. Новый манифест, осуждающий большевиков за их предательство демократических идеалов, был принят. Но и здесь Чернов ухитрился вставить надежду на возможное установление диалога между большевиками и демократическими партиями. Собрание разошлось поздно вечером в обстановке полной обречённости.

Была холодная, дождливая ночь. В полном отчаянии я шёл по грязным улицам Уфы, не имея никакого желания возвращаться в гостиницу и смотреть на всех этих депутатов. На следующее утро я забрался в поезд на Омск. Возрождение Учредительного собрания провалилось.

Советское правительство, быстро сориентировавшись, дало разрешение чехословакам вернуться на родину, но через Сибирь. Чехословацкая армия тут же окончательно превратилась в банду дезертиров, которая пошла на восток, грабя всё на своём пути. Они сразу же бросили Уфу, и членам Учредительного собрания пришлось идти с ними. Я выбрал длинный крюк через Сибирь. Только весной 1919 года я смог продолжить путешествие через Китай, Японию, Индию и, наконец, французский Марсель. Некоторые из нас доехали до Парижа и стали наслаждаться тамошней весёлой жизнью.

Начало лета в Париже, 1919 год. Всё цвело цветами, и жизнь вокруг была весёлой и беззаботной.

Мирная конференция в Версале была в полном разгаре. После

однообразной сибирской жизни, я нашёл себя в центре международной политической деятельности. Через своего друга, издателя газеты «Информация» Альберта Томаса, я познакомился с Эмилем Вандервельде, бельгийским делегатом на Парижской мирной конференции. Кроме этого, я познакомился с Эдуардом Бенешем, президентом новой республики Чехословакия, и многими другими политическими деятелями. Несуществующее русское правительство было, тем не менее, представлено на Парижской мирной конференции в Версале Керенским и некоторыми другими бывшими министрами. Россия формально должна была находиться в числе стран победителей, поскольку Германия потерпела поражение. Но союзники удобно не распознали советское правительство к моменту дележа трофеев, и представили Россию политическим трупами Керенского и его компании. Это позволяло обойти вопрос о территориальных и денежных приобретениях для России, потерявшей в войне три миллиона 800 тысяч жертв ради союзников и формально являвшейся страной-победительницей.

Однако меня очень скоро охватило чувство беспокойства. Меня тянуло на родину. Я мог остаться в Париже, более того, мне надо было остаться в Париже, этим я избавил бы себя от множества унижений, лишений и опасностей. Доктор Безредко, работающий в институте Пастера, предложил мне у него работу и участие в очень интересной работе относительно иммунизации против рака. Но я уже принял внутреннее решение и отплыл в Архангельск, так как русский север был оккупирован тогда англичанами. Подсознательно я снова надеялся попасть в Петербург, город белых ночей и не сбывающихся надежд. В Архангельске меня приписали к госпиталю Красного Креста, и я отбыл в расположении госпиталя, находящегося на железнодорожной линии в семидесяти верстах от Архангельска.

* * *

Собственно, линия фронта была узкой, всего метров сто пятьдесят. По обеим сторонам от железной дороги были непроходимые болота и глухие леса. Зимой здесь обычно насыпало два с половиной метра снега. Всего лишь в трёхстах метрах от медпункта уже находились окопы Красной армии. В солнечный день можно было видеть противника. Зимой белые и красные патрули бродили вокруг, углубляясь в лес не более чем на пару вёрст.

На Рождество, самое холодное в моей жизни, приехал Игорь

Васильев.

Ему присвоили звание подполковника, и он стал командиром полка, дислоцированного у Северной Двины. Он был такой же бодрый, как и всегда. Он был нетерпелив и жаловался на отсутствие действий. Васильев сообщил мне, что он в прекрасных отношениях с британским командованием, поскольку прекрасно владел английским и знал толк в шотландском виски. Он басил, смеялся, шутил с сёстрами, которые, казалось, были загипнотизированы его мужским обаянием. Мы вместе провели рождественский вечер. Васильев был дважды ранен. Он сказал:

— Но я выжил. Хорошо это или плохо, я ещё не знаю.

На следующий день мы проснулись рано.

— Пойдём на разведку. Надо посмотреть, как далеко засылают красные в лес своих разведчиков.

— Зачем нам это надо? — запротестовал я.

Но он настаивал и сказал, что и оружие тоже надо взять.

— Это абсурд, я медик, — не хотел идти я.

— На гражданской войне все сражаются.

Мы были с ним хорошими лыжниками и быстро отъехали метров на восемьсот, как вдруг появились два красных разведчика. Они бежали по направлению к нам и кричали: «Стой!», когда мы повернули на север и пытались уйти, они стали стрелять.

— О! — радостно воскликнул Васильев, — Они осмелились выстрелить в нас.

Васильев был хорошим стрелком. Он тут же убил одного и ранил второго, но тому удалось уйти.

— Их товарищи скоро настигнут нас, — заметил мой друг с особенным удовлетворением.

Голубые ели были покрыты тяжёлым покровом снега. Луна бросала свои яркие лучи на северный дремучий лес. Деревья недовольно шептали в своём растревоженном покое.

— Взгляни! Взгляни! — сказал я своему другу. — Как мороз украсил ёлочные ветки. Прямо, как детское лицо. Можно видеть глаза, рот, нос. Дед Мороз хороший художник.

Внезапно увидев это снежное детское лицо, комок подступил к моему горлу.

— Давно не встречал Новый год? Почему плакать, а не смеяться? — спросил Васильев.

— Это слёзы нежности.

— Безобидная философия, которая ничего не решает.

— Мы заблудились, — констатировал я.

— Да я это знаю, — забасил Васильев и начал ржать.

Он был доволен в преддверии нарастающей опасности.

Поднимался холодный, северный ветер. Мы подошли к концу узкой тропинки и повернули туда, где начинался свежий след. Внезапно, звук голосов донёсся до нас.

— Они преследуют нас. Опасная встреча на узкой дорожке, это само по себе прекрасное приключение. Восторг!

Он усмехнулся, зажёг папиросу и начал курить. Пламя его спички осветило моё лицо.

— Твоё лицо как будто в крови, может это кровь убитого мной солдата?

— Хватит паясничать, — я был злой.

Голоса приближались. Их было, как будто много, возбуждённые и злые. Мы сошли с тропинки и, проваливаясь в глубокий снег, поспешили в лес. Наспех мы вырыли среди ёлок окопчик и прикрыли его ветками. Несколько солдат появилось на тропинке.

— Смотрите, следы! Давайте пойдем за ними, — слышались голоса.

— Эй! Давай сюда! — прокричал им Васильев.

— Не стойте столбнем! Простудитесь! Идите сюда, тут мы!

Они двигались медленно, смущённые таким странным приглашением.

— Кто вы? Беглецы? Белые свиньи?

— Конечно! Давай быстрее, мы совсем замёрзли.

— Вперёд товарищи, слышите, они замёрзли!

Васильев осторожно высунулся, положил револьвер на сук и, прицелившись, выстрелил. Первый солдат остановился и со стоном рухнул. Ещё четыре выстрела последовали один за другим. Ещё трое были убиты, а двое убежали.

— Зачем ты их убил? — я начал выговаривать Васильеву.

— Зачем? — мой друг был в бешенстве. — Чтобы спасти тебя от неминуемой смерти.

Три дня мы шли по следу на лыжах. Было очень холодно. Наши руки, лица и ноги потеряли чувствительность. Никакого жилья, никакой охотничьей избушки. Мы съели весь хлеб до крошки, но ужасный февральский мороз только усиливался. Наши револьверы, покрытые льдом, стали бесполезны, и мы выбросили их ещё два дня назад. Мы подошли к концу леса и шли теперь по бесконечной, сияющей ослепительными лучами белой долине. Истощённый и окоченевший, я упал у небольшого ручья. Всё, что я хотел — это спать. Уснуть навсегда. Я был окружён деревьями, наклоняющимися ко мне, говорящими со мной и зовущими меня. Их прекрасные лица были покрыты золотистым снегом. Буквы, слова, имена проносились в моём мозгу. Деревья, как человеческие души, достигали небес. Я очнулся — мой друг

тряс меня и улыбался, как мне казалось, жалкой улыбкой. «Мы должны жить, мой друг. Смотри, солнце — большой красный шар, скоро будет темно». Он продолжал трясти меня, пока я не проснулся совсем. Он тёр мои отмороженные щёки снегом.

Мы набрали сучьев и зажгли костер.

— На ужин мы будем пить таёжный чай.

Он добавил во вскипевшую воду немного еловых иголок.

На десятый день мы вышли к Белому морю, к местности, называвшейся Горы. Море в этом месте было узким и зимой замерзало. Огромные массы льда с севера медленно направлялись к югу, гонимые северо-западным ветром. Холод был не такой пронизывающий в близости моря.

Левая рука Васильева была отморожена и причиняла ему нестерпимую боль. Она начала чернеть и пухнуть: началась гангрена.

Мой друг посмотрел на руку. Затем он посмотрел на меня.

— Гангрена? — спросил он.

— Да, — выдавил я.

— Так. Откладывать нельзя?

— Нет.

Васильев молча снял свою шапку. Он всё ещё улыбался и сказал мне, что неотложные обстоятельства требуют немедленного хирургического вмешательства. Он порылся в своей сумке и вынул чистый кусок полотна, а затем, отрезал лямку от рюкзака. После этого, обнажив руку, он попросил меня наложить жгут между локтем и кистью. Погрузив руку в снег, он внезапно выдернул её, и молниеносным движением отрубил свою чёрную руку одним ударом своего топора.

Алая кровь хлынула на снег, заливая его. Снег, казалось, покрылся кровавыми буквами, которые было невозможно прочесть. Слова искупления, пропитанные кровью.

«Пожалуйста, затяни жгут», — его голос был сильным, а слова ясными, — «И перевяжи рану».

Мы дошли до Архангельска только через два дня. Васильев лёг в английский госпиталь и скоро был эвакуирован в Англию. Я сопровождал его к ледоколу «Русанов». Последнее, что он мне сказал, было: «Не сердись на меня, что я вовлёк тебя, мой друг, в эту фантастическую экспедицию».

* * *

Через четыре года я шёл по авеню Гамбетты в Ницце, во Франции. Приближаясь к rue de France, я заметил ресторанчик, предлагающий русские блюда: борщ, пирожки, блины и другую русскую еду. Я вошёл. Это был хороший ресторан среднего размера с баром, уставленным водкой разных сортов. Зал был полон. В углу около окна человек сидел за столиком. Это был хозяин, и это был Васильев. Увидев меня, он широко улыбнулся: «Я не ожидал тебя увидеть. Я очень рад».

Я часто видел его, пока не уехал в Америку. Он женился на француженке, и у них было трое детей. Он был очень счастлив и удовлетворён своей спокойной, домашней обстановкой. Он говорил о прошлом как о сне. «Хорошем сне», — уверил меня он.

Когда Господь защищает тебя.

Меня мучила ностальгия. Я болел без Петербурга, Невы и всего того, чего я был неотделимая часть. Я бродил по улицам Парижа, где мне осточертело всё: и его развлечения, и шикарные магазины, и богатые толпы красивых женщин. Ночами меня мучили кошмары: я видел реку, покрытую чёрным снегом, и снег угрожающе надвигался. Мы часто говорим о привязанности и любви между людьми, но редко, когда можно прочесть о любви к городу, деревне, дому или даже комнате. В моём случае это была любовь к реке, к Неве, такой холодной, как она есть. Это не прекрасная и ласковая река. Она часто мрачная, сердитая и недружелюбная. Но больше всего мне не доставало её. Мои отношения с Невой теряются в детстве. Ещё мальчиком я пытался говорить с ней, не получая ответа, никакой реакции, особенно, когда она стояла замёрзшая зимой, молчаливая более, чем в любое другое время.

Чтобы скрасить свою депрессию, я стал писать книгу. Это была простая книга без литературного стиля. Она называлась «Большевики о себе» и представляла собой сборник цитат из коммунистических газет. Книга была опубликована и имела огромный успех, оставаясь бестселлером целых шесть месяцев. Именно вследствие успеха этой книги Альберт Томас, издатель популярной ежедневной газеты «Информация», пригласил меня к себе в гости. Он попросил меня писать регулярно на русские темы в его газете. Кроме этого, я получил такое же приглашение от лондонской «Дейли диспэтч». Таким образом, я стал как бы иностранным корреспондентом двух влиятельных изданий.

Кроме того, что меня замучила ностальгия, у меня не было

причин возвращаться в Петербург. Более того, всё было за то, чтобы оставаться в Париже. Я снимал маленькую квартиру на rue du Fleurus, недалеко от Jardin du Luxemburg. Это было всего несколько дверей от дома, где жила Гертруда Штейн. Я часто посещал институт Пастера, где мой друг профессор Метальников работал директором лаборатории экспериментальной медицины. Он раньше был директором Петроградской Биологической лаборатории, где я также работал. Он смог уехать из России вместе с семьёй. Он познакомил меня с рядом выдающихся учёных и среди них — профессор Безредко, который пригласил меня работать к себе. Всё это было довольно завлекательно само по себе.

Метальников тоже был в депрессии. Он, как и я, был петербуржец. «Давай не говорить о трагедии того, что происходит с нашей страной», — предупредил он меня.

Поэтому мы обсуждали проблемы бессмертия. Его книга о бессмертии живой материи была недавно опубликована на французском языке и получила Пастеровскую премию. Как-то я зашёл в американскую делегацию на мирной конференции в Париже. Там в Русской секции я встретил молодого и красивого армейского лейтенанта Адольфа Берле. Тогда никто не мог предположить, что Берле в будущем станет заместителем Государственного секретаря США. Он интересовался ситуацией в России, и я рассказывал ему о том, что там происходит. Узнав, что я довольно хорошо знаю Керенского, он попросил меня организовать встречу. Я пригласил их обоих к себе домой. Керенский говорил два часа без перерыва. Он был оптимистичен относительно России. Как обычно, он взвалил вину за захват власти большевиками на всех, кроме себя.

— Где ваша семья? — спросил Берле Керенского.

— Они остались в Петрограде заложниками большевистского режима. — Мрачно ответил Керенский.

— Они в опасности?

— Конечно, они в опасности.

Когда Керенский ушёл, Берле сказал всего три слова: «Керенский прекрасно говорит». Это было очень дипломатическое замечание будущего дипломата.

* * *

Одним солнечным, майским утром мне сказали, что Мистер Фидлер, представитель русского Красного Креста, набирает персонал на север России. Движимый импульсом, я тут же пошёл

к мистеру Фидлеру и подписал контракт ехать врачом. Госпитальное судно «Кальяна» отправлялось в северную Россию через две недели. Когда я сказал Берле, что я отправляюсь в Россию. Он печально покачал головой и сказал: «Похоже на глупую выходку».

Он прекрасно знал, что творится на Северном фронте. Северный фронт занимал огромную территорию на севере России. Фронт был организован сопротивлением коренных жителей севера. Коренные жители севера были охотниками, которые жили свободной жизнью, прокармливая себя охотой за дикими животными. Они отказались признать власть большевиков. Они быстро очистили свою территорию от немногих коммунистических комиссаров. Вскоре было сформировано либеральное правительство во главе с лидером кооперативно-потребительского союза Чайковским. Английские войска были посланы Англией, якобы, за тем, чтобы помочь маленькой Русской армии, противостоящей превосходящей её Красной Армии.

— Ничего не получится из этой помощи, — объяснил мне Берле. — Из этого никогда толку не выходит.

— Я слышал, что англичане уходят уже скоро.

— Да. Сразу же после того, как вы туда приедете.

— И это означает?

— И это означает, что красные займут север.

— Поэтому вы считаете, что глупо туда ехать?

— Делайте сами свои выводы.

Это была моя последняя встреча с мистером Берле.

* * *

Я поехал на север, намереваясь строго придерживаться только врачебной деятельности. Меньше всего мне было надо ввязываться в политическую борьбу в правительственных кругах Севера. Однако тень Керенского меня преследовала по пятам. Ещё я не доехал до Железнодорожного фронта, уже стали циркулировать слухи, что я агент Керенского. Это сослужило мне плохую службу, в результате чего, я только чудом избежал экзекуции.

Я прибыл в Архангельск, столицу Северного правительства, всего за несколько дней до вывода английских войск. Политическая ситуация была очень шаткой. Главой правительства был генерал Миллер, умеренный монархист. Армейские и флотские офицеры были силой, стоящей позади главы

правительства. Члены правительства были пассивные интеллигенты. Северные партизаны, которые собственно и создали фронт против коммунистов, сейчас подняли восстание и против Северного правительства. Ситуация осложнялась наступлением красных сразу на нескольких участках фронта. Генерал Миллер, уступая давлению населения, реорганизовал правительство. В результате, не смотря на мои протесты, за две недели до падения республики, я попал в министры просвещения.

Тем временем, втайне велись энергичные приготовления, чтобы все штабные офицеры были эвакуированы вместе с семьями в первую очередь. Весь фронт предполагалось бросить на произвол судьбы. Никто не информировал Красный Крест о внезапном отплытии единственного ледокола «Минин».

Полярная ночь была спокойная, ясная и звёздная. Толстый слой снега покрывал улицы и дома Архангельска. Мороз обжигал дыхание, лицо и губы. То тут, то там были видны пешеходы, укутанные в эскимосские шубы и похожие на медведей. В такую морозную ночь и происходила эвакуация. Красная Армия смыкалась вокруг Архангельска.

В феврале Красная Армия увеличила свою мощь и стала оказывать давление на северном фронте.

К середине месяца было ясно, что надо эвакуироваться. Решение было принято генералом Миллером 19 февраля. Отплытие было назначено на раннее утро двадцатого февраля. Было три утра, когда госпиталю сообщили, что «Минин» отплывает.

— А раненые? — вскричал я.

Фидлер побежал на пирс.

— Больше ни для кого места нет, — сказал офицер охраны.

Однако Фидлер был настойчивым человеком и приказал своему персоналу грузить раненых на борт. Несмотря на сопротивление, ему это удалось. Фамилия капитана ледокола была Чаплин. К вечеру 20 февраля мы подошли к маленькому ледоколу «Русанов», затёртому во льдах. Я смотрел раненых, когда молодой морской офицер сообщил мне, что капитан Чаплин требует меня наверх. Чалин был краток:

— Доктор Соколов, генерал Миллер приказывает вам сойти на ледокол «Русанов».

— Я правильно понимаю, что ледокол «Русанов» затёрт во льдах, без всяких шансов пробиться в Норвегию?

— Да, — допустил он спокойно. — Мы не хотим, чтобы вы достигли Норвегии.

— Вы понимаете, — сказал я, пытаясь сохранить спокойствие, — Что вы намеренно обрекаете нас на смерть?

— У меня приказ, и вы должны его исполнять.

— Могу я взять свои вещи?

— Я не думаю, что они вам пригодятся.

Молча, я проследовал за молодым офицером на борт «Русанова». Там я обнаружил капитана Сергеева, который был приписан моим помощником, когда я числился министром просвещения. Много позднее я узнал, что группа монархистов настояла на том, чтобы генерал Миллер сдал Соколова большевикам, как дружка Керенского. Шкипер «Русанова» встретил нас по-дружески. Однако он не стал вселять в нас никакую надежду. Белое море, сказал он, полно льда, который нашему ледоколу не под силу. Более того, Чаплин забрал с нашего ледокола большое количество угля и еды. «Рано или поздно северо-восточный ветер освободит море ото льда, и мы достигнем земли», — информировал нас шкипер. Он посоветовал нам запастись терпением и привыкнуть к тюленьему мясу.

Всю ночь я ходил по палубе. Поступок генерала Миллера был вопиющим фактом сам по себе. Но я решил воспринимать всё как неизбежное, тем более, я чувствовал, что всё должно кончиться нормально. Картина с палубы открывалась феерическая. Горы льда громоздились на палубу нашего корабля, как живые существа. Они наползали на палубу, ломались со стоном и падали обратно в море. Ледокол стонал и скрипел под натиском льда.

Дни тянулись медленно. Крепко схваченные льдами, мы неслись по Белому морю, гонимые течением и льдами. Через десять дней у нас кончились продукты, пришлось охотиться на тюленей.

В это время года у них рождались смешные, красноглазые тюленята. Когда детёныши неуклюже ползли по льду, охотники убивали их ударом дубинки по носу. Я отказался принимать участие в избиении. Однако тюленье мясо мне нравилось, тем более что есть больше было нечего. Многие дни проходили в однообразном занятии тюленьей охотой, когда, наконец, южный ветер вынес нас к западному побережью Белого моря. Там, вокруг маленькой гавани, располагалось маленькое село с любопытным названием Иоконка. На сотни верст вокруг не было ни одного населённого пункта.

На голом утёсе союзные войска поставили лагерь для заключённых. Там находилось несколько сот человек всякого сброда. Когда вести о том, что Красная Армия взяла Архангельск, достигли лагеря, вспыхнул бунт, охрану убили и тут же создали Совет рабочих и солдатских депутатов. А дальше они устроились ждать, пока какой-нибудь корабль по глупости не забредёт к ним.

И вот, по воле случая, первый корабль, который прибило в берегу, был наш ледокол. Кровожадная банда уголовников, жаждущая на ком бы отыграться, нетерпеливо ожидала приближающийся корабль.

Всё село сбежалось встречать нас, причём все были вооружены. Они не могли поверить, обнаружив меня на корабле. «Соколов, министр», — кричали они.

Человек сто окружило меня. Они пытались дотронуться до меня, как бы удостоверяясь, что я живой. Сопровождаемый не очень дружеским криками, я был проведён по улицам селения к дому Советов. Толпа кричала: «Революционный трибунал… на месте… тут же…»

Тотчас они составили из местных коммунистов революционный трибунал. Мне было разрешено говорить в свою защиту. Что я мог сказать им?

Я стоял посреди большой комнаты, забитой людьми. Пять или шесть судей сидели за столом. Через замёрзшие окна я мог видеть море, покрытое льдом и купающееся в лучах яркого полярного солнца.

На мгновение я испытал чувство внутреннего освобождения. Мои дни были сочтены. В этом не было никакого сомнения. Толпа ждала мести. Они были готовы разорвать меня на части. Не дожидаясь никакого трибунала, помощь со стороны не ожидалась, я должен был принять неизбежное. Я стал спокоен и грустен. Я вспомнил неоконченное исследование по туберкулёзу. И еще я вспомнил несчастных тюленят с красными глазами. Я начал говорить спокойно и медленно как я мог:

— Да, я готов допустить, что я враг советского правительства и неисправимый оппонент коммунистов.

— Расстрелять его!

— Я был воспитан в духе того, что человек рождён свободным, но Ленин принёс деспотизм русскому народу.

— Кончай его!

Суд совещался меньше пяти минут. Они приговорили меня и капитана Сергеева к смертной казни. Толпа встретила приговор криками одобрения. Снова нас повели по улице. Теперь задул холодный северо-восточный ветер. Крики толпы смешивались с завыванием ветра.

— Кончай их!

Но странно, я не был убеждён, что я обязательно умру. Хотя, собственно, мало было указаний на другой исход событий. Нас посадили в полутёмную комнату в маленькой избе. Охраняли нас трое часовых. Они были за стеной. Мы могли слышать их слова, и мы прислушивались к ним в надежде услышать что-то

положительное для нас.

Была типичная полярная ночь: черная и студёная, за окном завывала метель.

— У доктора хорошие ботинки, — слышалось из другой комнаты.

— Начальство заберёт, — зевая, возражал другой.

Мы провалились в дрёму.

Вскоре после восхода солнца появилась новая охрана, уже десять человек с ружьями. Они окружили нас и повели по улице, на которой лежал свежий, выпавший за ночь снег. Был ясный день, и ярко светило солнце. Метель кончилась. Стаи чаек кружили над морем, которое было почти свободно ото льда. Мы шли в гнетущей тишине, у меня онемели ступни.

— К утёсу!

Мы шли к заснеженному утесу, который был далеко, но для нас он был удручающе близко. Я думал, сколько минут отделяет нас от смерти? Снова мне вспоминались красноглазые тюленята, я чувствовал свою вину в том, что мы убивали их, этих наивных и доверчивых существ.

— Стойте! Эй, стой!

Мы повернулись. Бородатый коммунист бежал за нами, утопая в снегу.

— Стойте! Расстрел откладывается. У меня приказ отправить их в Москву для доследования. Я только что говорил с Москвой по телефону.

Мы были спасены от смерти. Пока.

Путешествие в Москву было длинным и не очень комфортным. Нас погрузили на тот же ледокол «Русанов», но уже не в каюту, а в какой-то закуток. Ледокол доплыл до Мурманска, где меня отделили от Сергеева, и я больше ничего не слышал о нём. В Мурманске я десять дней пилил дрова на городской площади к большому восторгу зрителей. Наверно я хорошо пилил, поскольку толпа реагировала одобрительно. В Мурманске я узнал, почему расстрел отложили. Чекист сказал, что они нашли мои корреспондентские карточки от газеты «Информация» и «Дейли диспэтч», и Москве захотелось допросить иностранного корреспондента.

Однажды ночью, меня снова погрузили на борт ледокола. На этот раз они засунули меня в угольную яму. Я тут же стал негром, и всю дорогу они держали меня в темноте.

Через сколько-то дней меня подняли наверх, в каюте сидел капитан Красной Армии. Когда он меня увидел, он сказал: «Ты не выглядишь очень привлекательно». Я повернулся к зеркалу и увидел грязного негра с всклокоченными волосами и горящими

глазами, в лохмотьях формы британского офицера. Я согласился с его заключением.

— Вы врач? — спросил капитан.

Я кивнул.

— У нас на борту полк, который под моей командой направляется на юг. Эпидемия гриппа началась сразу после отхода от Мурманска. Десять человек уже умерло. У нас нет врача, и нет лекарств. Вы будете отвечать за эпидемию. Если хоть один человек умрёт, следующий — вы.

Я приступил к обследованию солдат и нашёл, что около сотни человек уже больны «Испанкой» формой гриппа, от которой уже умерло два миллиона человек в Европе и Америке[19].

У многих температура была за сорок. Единственными лекарствами на корабле была баночка с аспирином и немного йода. Ситуация опять была мрачной, как моя угольная яма. Однако, обыскивая каптёрку, я наткнулся на несколько огромных ящиков с печатью Красного креста. Я открыл их… и там был ром, целых двести сорок литров рома! Я прописал четыре стакана рома в день и четыре таблетки аспирина в день на больного человека. Можно спорить о роли рома в этом деле, но факт налицо — следующие пять дней никто не умер. Господь меня хранил. Лечение пользовалось огромной популярностью у солдат, и по прибытии все написали петицию о моём освобождении. Конечно, Чека это было безразлично, и меня поездом отправили в Москву. Там, после длинных и не очень приятных допросов, меня посадили в Бутырскую тюрьму.

Я сидел в камере, где было ещё двадцать человек. Все сидящие ожидали расстрела в любой момент. Советское правительство рассматривало нас, как неисправимых врагов Советской власти. Некоторые спали на полу, некоторые имели матрасы, и жизнь, в общем, казалось не совсем ужасной. Мы разговаривали, мы ели и читали книги, взятые из тюремной библиотеки. Мы разговаривали обо всём, кроме темы приближающегося конца наших жизней. Самым напряжённым моментом было время около десяти часов вечера, когда вызывали к коменданту. Иногда надзиратель не приходил до самого утра, и тогда самые нервные, не давали спать остальным, ожидая вызова. Они всё время спрашивали, придёт ли он. Было совершенно невозможно спать или читать. Мысли беспорядочно хаотились в голове. Какие-то пустяки лезли в голову: потерянная пуговица, любимое стихотворение, какой-нибудь глупый афоризм. В такие моменты все люди, собранные в камере, как бы имели одну общую душу и одно общее ухо.

Внезапно, вдалеке слышались марширующие шаги. Сначала

во дворе тюрьмы, а затем в нижнем коридоре. Где-то внизу, под нами, камера открылась и закрылась. Они были только на первом этаже. Мы ловили каждый звук. Шаги слышались всё ближе и ближе. Они были на втором этаже. Затем на третьем. Теперь мы начинали различать слова. Топот становился невыносимо громким. Шаги остановились напротив нашей камеры номер 17.

Четырнадцать человек из нас всего два года назад яростно проповедовали коммунизм. Двое было максималисты-социалисты, два социал-демократа, шесть левых социалистов, двое последователей Чернова и двое сочувствующих либералам. Все уже пришли к ненависти к советскому правительству. Они утверждали, что были преданы Лениным и его товарищами. «Без нас, коммунисты никогда бы не сбросили Керенского и не разогнали бы Учредительное собрание», — говорили они. — «Мы верили коммунистам, верили в их честность. Верили в их целостность, в их обещания придерживаться демократических процедур и уважать свободу. Теперь, мы понимаем, что это был обман. Им нужна была только власть и ничего кроме власти».

Снова и снова они осуждали, какие они простофили, в результате чего вся страна по их милости переживает небывалую катастрофу.

Первыми взяли на расстрел двух либералов. Вызванные надзирателем, они кричали «Пусть коммунисты будут прокляты!». Затем увели левых социалистов. Они тоже ушли, проклиная своих бывших товарищей и соратников, коммунистов.

* * *

Сидя в Бутырской камере и ожидая экзекуции, мы долго рассуждали на тему, почему так много людей поддержало коммунистов и было обмануто? Откуда была эта всеобщая атмосфера попустительства коммунистам?

Лично моя и ещё немногих сокамерников позиция по этому вопросу всегда была предельно ясной: я никогда не поддерживал коммунистов. С самого начала у меня не было иллюзий. Я боролся против коммунизма потому, что я верил в демократические идеалы и принципы. Я с ранней юности понял опасность коммунистической идеологии для русского народа. Я проиграл, я был в тюрьме, приговорённый к смертной казни, и я принимал свою судьбу без горечи, как логический исход проигранной битвы.

* * *

Николай Михайлов, один из моих сокамерников, был чистосердечен. Будучи председателем профсоюзов сталелитейных рабочих и максималистом-социалистом по убеждениям, он имел большой авторитет среди рабочих. Он прямо сказал, что он был предан и обманут коммунистами.

— Я призвал своих рабочих поддержать коммунистов, — сказал он мрачно, — И они последовали моему призыву.

— Почему вы это сделали? — спросил я его.

— Почему? Нелегко ответить на этот вопрос. Они были люди действия, решительные, и это привлекало меня. Они обещали райские кущи и очень настаивали на этом.

— Вы знали их прошлое? Их тактику?

— Конечно, знал. Десять лет они пытались заполучить контроль над моим профсоюзом. Они конспирировали против меня. Они обвиняли меня в реакционных и капиталистических тенденциях. Они фальсифицировали результаты выборов. Я вышиб их из профсоюза несколько лет назад.

— И тогда?

— И тогда… Ленин очень умён в своих лозунгах. Один из самых хитрых тот, что все кто его критикует — реакционеры и лакеи капитализма.

— Почему это вас смущало?

— Мой друг, какой человек хочет, чтобы его репутация сторонника прогресса, или либерала, или социалиста, была замазана. Поверьте мне, их пропаганда настолько умная, что половина членов моего же профсоюза подозревали, что я продался капиталистам.

Другие мои сокамерники горячо соглашались с Михайловым.

— Никто не хочет быть «отсталым» или «реакционером, — говорили они.

Я пытался доказать, что многие русские с самого начала не стеснялись открыто высказываться против коммунистов. Я сказал им, что надо быть идеалистом, но не до такой степени, чтобы быть потом одураченными.

* * *

Бутырская тюрьма с более чем тремя тысячами заключённых, страдала от отсутствия медицинского персонала, и меня попросили помочь. Таким образом, я получил относительную свободу передвижения внутри Бутырских стен. Посещая различные камеры, я был потрясён, что большинство политических заключённых принадлежало к интеллигенции:

учителя, студенты, юристы, служащие, лидеры профсоюзов, высококвалифицированные рабочие. Только немногие были аристократического происхождения. Многие вообще понятия не имели, за что их взяли, надо полагать, из чистой профилактики. Некоторые сидели в Бутырке по несколько месяцев, никто их не допрашивал, их дела затерялись или были потеряны вообще. Между заключёнными царил дух взаимопомощи. Если левые, которые помогали сбросить Керенского, получали посылки, то они делились с защитниками демократического правительства. Всех объединяла ненависть к коммунистам. Я подружился со многими людьми. Некоторые пациенты более нуждались в моральной поддержке, чем в каких-то лекарствах. Несмотря на то, что я сам ожидал расстрела, я вспоминаю время, проведённое в Бутырках с чувством глубокого удовлетворения. Надеюсь, что я помог хотя бы кому-то из несчастных заключённых.

Однажды в июле, вскоре после обеда, я был вызван с вещами. Было два варианта: первый — расстрел, и второй — перевод в другую тюрьму. Однако, заключенные, вызванные на экзекуцию, тоже, как правило, сначала переводились в центральное управление Чека. В 1920 году по стране было столько много заключённых, чьи дела ещё не были оформлены в Чека, что тюрьмы по стране были переполнены людьми.

Был прекрасный солнечный день. Я медленно шёл за помощником надзирателя со всеми моими вещами: рубашкой, мылом и ложкой.

Когда весть о том, что меня уводят, пронеслась по тюрьме, все высыпали к окнам, чтобы попрощаться. Тысячи людей кричали слова прощания и вдруг они запели:

> Смело, товарищи, в ногу,
> Духом окрепнем в борьбе!

В первый раз за все мои годы политических приключений я не выдержал и разрыдался.

Надзиратель встретил меня приветливой улыбкой.

— Вы свободны, доктор.

На мгновение я лишился чувств.

— Может быть, это ошибка? — заикался я.

Надзиратель, который не был членом партии, улыбнулся.

— Мы рады, что вы покидаете нас в добром здравии.

Он пожал мне руку и вернул мне мои паспорт и деньги. В солнечный день я вышел из Бутырок в тумане. Это был как сон. Я не мог поверить своему счастью. Это было чудо. Почему они освободили меня? В принципе, обо мне делал запрос мой старый

друг Николай Морозов, который был сейчас Директором Петроградского Научного института им Лесгафта. Но он не получил никакого ответа. Последний мой допрос вела женщина. Она была удивлена отсутствием информации в моём деле. Может быть, они всё потеряли? Я так никогда и не узнал, почему они отпустили меня.

Я был в Москве. Лето было в разгаре. Был жаркий, солнечный день Я гулял по улицам, наслаждаясь свободой, заново начиная свою жизнь. А затем я начал идти быстрее, быстрее, ещё быстрее, пока я не пришёл к вокзалу и не купил билет на Петроград. Я купил купейное место и проспал всю дорогу до Петрограда.

Прощай, Нева

1920 год. Я снова был в Петербурге после двух лет водоворота жизни. Город был депрессивно тих. Люди шли молча, как будто, погружённые в свои собственные мысли. Я взял извозчик до своего дома. Я позвонил в звонок. Мать открыла дверь. Она выглядела истощённо. Увидев меня, она начала истерически всхлипывать и целовать меня. «Мы думали, что тебя уже нет».

Она сообщила мне новости. Мой отец тихо умер в то время, когда я был в Бутырках. Более трагической была смерть моей сестры Варвары. Она только что закончила медицинский институт и была распределена в больницу. В это время как раз была эпидемия «Испанки», испанского гриппа.

Она заразилась в больнице. Инфекция была настолько злокачественной, что она умерла в тридцать шесть часов. Мои две другие сестры были замужем. Наташа была замужем за ассистентом по хирургии Военно-Медицинской академии. Старшая Лидия вместе с мужем жила у матери. «Твоих собак застрелили красные», — с сожалением сообщила мне мать. Они набросились на патруль и потрепали двоих.

— Да, они не любили большевиков, — сказал я.

— Твоя комната готова. Она ждала тебя все эти два года, — и мама снова начала плакать.

На следующее утро я поднялся очень рано и поспешил к Неве. Река была спокойной, а вода голубой. Я сидел на скамейке возле воды, как я сидел сотни раз до этого. В моём чувстве не было возбуждения. Что-то очень важное для меня пропало. В реке не было уже возвышенной жизни. Она была печальна. Или я сам был в грусти?

Этим же утром я пошёл в свою Биологическую Лабораторию. Она располагалась в пяти кварталах от Невы. Николай Морозов,

который стал её директором после эмиграции Метальникова, тепло встретил меня. Он меня ни о чём не спрашивал. Кроме этого, по сравнению с его тюремным опытом, мой опыт был просто мал. Он сказал мне, что моё место свободно.

Я вернулся к своей научной деятельности. Я стремился к проблемам, которые занимали меня до начала политических событий. Я хотел забыть о политических переменах и вернуться к нормальной работе. Это было не просто. Везде, куда бы я не пошёл, на улицу, на медицинское собрание, на вечеринку с друзьями, я сильно чувствовал, что город живёт плохо спрятанным страхом. Никто не мог разговаривать свободно. Дискуссии избегались, были только поверхностные разговоры. И это ещё не всё, скоро я начал замечать, что люди, даже хорошо знавшие меня, избегали появляться со мной в общественных местах.

Вскоре после приезда, меня пригласили в Академию Наук прочитать лекцию о моих впечатлениях о мирной конференции в Париже. Я был предельно искренен и прямо сказал, что только демократия может принести длительный мир людям. На следующий день Морозов мне сказал, что я перешагнул границу и могу быть вполне арестован. Нескольких недель в Петербурге мне хватило, чтобы понять, что единственным местом в Советской России; где ещё можно свободно высказываться, является тюрьма. Нелегко анализировать мои мысли в то время. Я метался. С одной стороны это был мой родной город, я был близок к своей Неве. Я мог ходить, и я ходил по её берегам. Улицы моего детства. У меня была прекрасная лаборатория. Всё, что от меня требовалось, это примириться с политической ситуацией в городе. Мне нужна была демократия. Я, конечно, прекрасно знал, что и на западе демократия не совершенная. Но при большевиках всякие признаки демократии были просто уничтожены.

Много лет позднее, когда я жил в Америке в местечке под названием Катона, у нас была собака. Его звали Бидо, и он был дворнягой. Его обожал мой маленький сын. Послушный и покорный Бидо обладал одной особенностью: он не выносил поводка. Он катался по земле, выл, закатывал истерики. Не было силы, которая могла заставить его сидеть на цепи. Однажды мы просто ненадолго оставили его закрытым в комнате. Возвратясь, мы нашли обгрызенную дверь и разбитое стекло. Он просто выпрыгнул со второго этажа.

Может быть, меня можно сравнить с этим Бидо. Постепенно, режим становился всё более и более репрессивным. Надо было смотреть за каждым своим шагом. Поэтому я приходил к мысли, что надо уехать. Но как? Все границы тщательно охраняются и

всех, кто пытается перейти границу с Польшей или Финляндией стреляют сразу же.

Однажды, ожидая свой паёк в Доме Учёных, я заметил женщину. Она была плохо одета и очень бледна, её лицо казалось мне знакомым. Секретарша развеяла мои сомнения.

— Конечно, это жена Керенского. Она, естественно, в тяжёлых обстоятельствах. У неё двое маленьких больных детей, а она, фактически заложник коммунистов. Она под постоянным наблюдением, и её могут сослать в Сибирь. Мы потихоньку помогаем, чем можем. Вот иногда выдаём пайки, хотя и не должны этого делать.

Я подошёл к ней и напомнил, что я знаю её с тех пор, когда она была ещё женой премьер-министра. Довольно смело я сказал ей, что она должна бежать из Советской России без всякой отсрочки. Но её дух был полностью сломлен.

— Это невозможно, — был единственный ответ.

— Мы должны убежать, — сказал я.

Моё желание убежать усилилось желанием помочь Керенским.

В это время Прибалтийские государства были свободными и имели демократические правительства. Советское государство, медленно усиливая хватку над своим народом, претендовало наподобие нормальных отношений с другими странами. Советское правительство согласилось с тем, чтобы эстонцы могли вернуться в Эстонию. Раз в неделю ходил целый поезд с беженцами из Петербурга в Таллин. Они, естественно, тщательно были проверены Чека, и только после этого им разрешалось прейти границу в нескольких верстах от реки Нарвы.

Доктор К., мой друг, был эстонским представителем в Петербурге и отвечал за эвакуацию эстонцев. Он колебался, но не долго.

— «Мне не очень хочется связываться с твоим делом, но скоро я вообще вернусь в Таллинн», — сказал он. — «Я многим обязан русской интеллигенции, я собственно, часть её».

И он выписал документ объявляющий, что Ганс Озолин, его жена Мильда и двое детей являются эстонцами и имеют право вернуться в Эстонию.

— «С этого момента все проблемы — твои», — сказал он мне. — «Документ ничего не значит для Чека, а их допрос очень трудно пройти. Малейшее подозрение — и вы в тюрьме. Но если вы настаиваете, то на ваше усмотрение».

Ни я, ни госпожа Керенская не говорили ни слова по-эстонски. В действительности, мы даже не были на них похожи. Мы были брюнетами.

— Вы должны достать блондинистый парик, — сказал я ей. — Завтра идём.

В Петербурге все знали госпожу Керенскую. Месяцами её портреты не слезали с газетных страниц. Опасность была ощутимая. Она нашла очень неважный парик. Он был очень маленьким и всё время сползал на бок так, что были видны её тёмные волосы. Она выглядела так подозрительно и так дрожала, и имела такие огромные очки, что я долго колебался, прежде чем войти в здание Чека. Я был убеждён, что она себя выдаст, но решение уже было принято, и мы вошли в приёмную Чека. Я посадил госпожу Керенскую как можно дальше от работника Чека. Он сидел, не обращая внимания на странно выглядящую женщину.

— Моя жена, — сказал я, — Имеет психические проблемы, и я должен отправить её к родителям в Таллинн.

Слава богу, он не говорил по-эстонски. Он задавал мне бесконечные вопросы о моём прошлом и моих будущих планах. Минут через двадцать он, видимо, удовлетворился и поставил печать на наши документы.

Как раз в этот момент мои гадкие предчувствия стали оправдываться. Когда я отходил от стола, я заметил бородатого работника, сидевшего за другим столом. Он был молод, с длинными волосами и горящими глазами. Он наблюдал за нами с явным подозрением. Однако он ничего не сказал, и мы буквально вылетели из здания Чека.

— Я почти потеряла сознание, — созналась Керенская. — Моё сердце так билось, что до сих пор болит.

Наш отъезд был назначен через две недели после визита в Чека.

— Это было чудо, — допустил мой эстонский друг, — Но самое худшее ещё впереди. На русско-эстонской границе они проверяют беженцев ещё более тщательно.

Все эти две недели мне снился этот молодой, бородатый чекист. Он входил в мою комнату и рылся в моём шкафу и чемоданах. Он показывал мне на вещи и вопрошающе смотрел на меня. Это было моим наваждением. С другой стороны, госпожа Керенская сказала, что она спала как никогда с момента бегства её мужа три года ранее.

Наконец, пришёл день отъезда. Это было ясное, солнечное осеннее утро. Триста с чем-то беженцев погрузились в поезд, и он отъехал. Но в тот момент, когда поезд тронулся, мой бородатый чекист из наваждения, прошёл через наш вагон. Это был плохой знак. Проходя наши места, он замедлил шаг и посмотрел пристально на семью Керенских, как будто намереваясь

заговорить с нами. Однако он не стал этого делать и прошёл дальше.

Мы снова увидели его, когда поезд подошёл к эстонской границе и остановился в нескольких верстах. Всем беженцам приказали выйти из вагонов вместе с вещами. Затем нам приказали разложить все наши вещи на поле перед железной дорогой для досмотра. Вот тут-то и появился бородатый чекист. Он поверхностно посмотрел мои вещи и поставил печать в документах.

Но с госпожой Керенской он вёл себя совсем по-другому. Он копался в вещах тщательно. Он нашёл несколько французских книг. «О! Вы говорите по-французски?».

На дне её сумки он нашёл карандаш, выполненный из чистого золота. Это был великолепный подарок с надписью: «Александру Керенскому от почитателей».

«Глупая женщина», — подумал я про себя, — «Всё пропало!».

Чекист прочёл надпись внимательно и посмотрел на неё. Дрожа от страха, она дёрнулась, и её парик сполз, открывая её тёмные волосы.

— Госпожа, — сказал бородатый чекист, — Ваша причёска съехала.

Он молчал минуты две, а затем произнёс:

— Вы можете вернуться в поезд… но я оставлю себе это карандаш как сувенир.

Он поставил печать на её документы и ушёл. Я так и не узнал, кто он был.

Мы снова ехали в поезде. Госпожа Керенская истерически всхлипывала. Через час мы пересекли эстонскую границу. Теперь мы были в свободном и демократическом государстве Эстония.

— Теперь вы можете снять свой парик, — сказал я Керенской с явным раздражением.

Я сам ещё не мог оправиться от этой встречи, и неряшливость её парика раздражала меня. Керенская послушно сняла и отдала мне парик. Я выбросил его в реку Нарву. Наше путешествие окончилось. Керенский встретил свою семью в Таллинне и сразу увёз их в Англию, где они жили много лет.

Мне ещё пришлось быть в лагере для беженцев недели две, пока я тоже не получил визу в Англию. Вскоре я получил приглашение работать над онкологической темой от Брюссельского университета. С моим прибытием в Брюссель моя приключенческая жизнь закончилась. Но странно, первые полгода в спокойном Брюсселе я не мог спать. Бегая по Советской России, пересекая границы, в угольной яме ледокола, в Бутырской тюрьме я всегда спал как ребёнок, пребывая в отличном здравии. Но в

Брюсселе последствия накопленного напряжения дали о себе знать. Я страдал жестокой бессонницей.

* * *

Нева от меня очень далеко. Я не надеялся и не надеюсь увидеть её снова. Петербург принадлежит к моему прошлому. Однако он остаётся моим любимым городом и неотъемлемой частью меня самого.

Индивидуализм против стандартизации.

Когда я поступил в Петербургский университет, мне было шестнадцать лет. В это время я хотел получить ответы на множество вопросов, волновавших меня. Я тогда сильно верил в науку, хотя сам ещё этого не осознавал. Я был жертвой социализма, поверхностного мышления, свойственного современному человеку. В то время университетский дух был пропитан материализмом. В любом курсе естественных наук, который я брал, основой всегда была материалистическая философия. Слушал ли я профессора эмбриологии, антропологии, или физиологии, я всегда чувствовал тенденцию упрощать явления жизни. Они всегда утверждали, что рано или поздно, мы будем знать всё о живой материи. Некоторые цитировали Франциса Бэкона и соглашались с ним, что человеческое овладение природой, якобы, означает её полное понимание. Демокрит был явно ближе им, чем Аристотель или Платон.

Университеты досоветского периода были настоящими образовательными центрами, местом, где делалась интеллигенция. Это слово — «интеллигенция» мало в ходу за пределами России. Оно имело специальный смысл, который мало кто может понять, если не жил в России в то время. Словарь Вебстера определяет слово, как «интеллектуалы или образованные люди, взятые как класс, в отличие от необразованных». Это определение не ухватывает смысла, в котором слово использовалось в России.

Слово «интеллигент» в России не соответствует западному слову «интеллектуал». Слово «интеллектуал» обозначает человека, который верит в силу интеллекта, и который всё проверяет интеллектом. Русское слово «интеллигент» более относится к гуманитарным качествам человека. Можно определить Чехова интеллигентом, но Карл Маркс и Ленин, очевидно, были интеллектуалы.

Русское слово «интеллигенция» было введено русским

писателем Боборыкиным около 1860 года. Он применил это слово к группе либералов, которые были увлечены идеей помощи людям.

Николай Михайловский, лидер русского демократического идеализма, дал ясное определение слова: «Мы можем сказать с чистой совестью, что мы — интеллигенция. Потому что мы знаем много вещей. Потому что мы думаем о многих вещах. Наша профессия — это наука, искусство и литература… Наши умы и сердца — с нашим народом, от которого мы отошли из-за образования. Мы в долгу перед нашим народом, и этот факт служит основой нашей деятельности».

Михайловский определённо считал интеллигенцию отдельным классом.

Бердяев считал интеллигенцию суперклассом: «Интеллигенция — это часть человечества, в котором идеальная часть человеческого духа переборола классовые ограничения».

Русская интеллигенция была одновременно и идеалистической, и демократической, и все они были страшными индивидуалистами. Индивидуализм составлял основу их философии. Главное они видели в совершенствовании собственной личности.

Чувство социальной ответственности, граничащее с чувством «собственной вины», было характерно для русской интеллигенции. Желание материального комфорта и экономического успеха было абсолютно чуждо интеллигенции. Некоторые жили неплохо, другие жили бедно, но у всех было одинаковое отношение к жизни. Часто они демонстрировали чрезмерный идеализм, чрезмерный альтруизм и чрезмерное самопожертвование. У них совершенно отсутствовал интерес к тому, в каких условиях они лично живут.

В своей профессиональной жизни они были хорошими учителями, юристами, инженерами и учёными, способными врачами и хирургами. Но только немногие из них были хорошими бизнесменами. Они все были, как правило, очень непрактичными. Отсюда у них отсутствовал реализм в политике. Они жили целиком идеями и идеалами. Они мечтали о новом мире, и они хотели свободы для всех. Все они были, безусловно, гуманитариями и бесконечно русскими во всём.

Накуренная комната, стол с самоваром и бутербродами, и группа в десять-пятнадцать человек разного возраста. Это было типичное вечернее сборище в Петербурге и других городах. Часами они будут обсуждать извечные проблемы человечества, которые никогда не будут решены.

Университеты были центрами русской гуманитарной

интеллигенции[20].

С началом девятнадцатого столетия вся материалистическая тенденция сосредоточилась здесь. Экономический материализм Карла Маркса и механические тенденции естественных наук вдалбливались в молодые умы.

Естественно, что эти концепции стали преобладающими в России, как и во всём мире. Но затем открытый бунт вспыхнул в университетах против «технологизма» естественных наук. Восстание велось молодыми преподавателями, многие из которых потом стали всемирно известными биологами.

Я живо вспоминаю вступительную лекцию Евгения Шульца, второго профессора на кафедре эмбриологии. Это была яростная атака на механизм в биологии. «На вас производит впечатление работа и утверждения Жака Лёба, современного пророка грубого материализма в биологии. Вы уже готовы последовать его легкомысленной теории физико-химической природы человеческого организма. Вы только повторяете ошибку ятромеханических теорий семнадцатого столетия. Поскольку нет существенных различий между Жаком Лёбом и тем, что говорил Джорджио Багливи двести пятьдесят лет назад».

И он объяснил, аудитории состоящей из студентов и преподавателей, что согласно Багливи, тело человека — это набор инструментов: зубы как кусачки, желудок как бутылка, кишечник как трубы, а сосуды как трубочки. Шульц дал захватывающую картину постоянной борьбы между материалистическими и идеалистическими тенденциями в науке. Он рассказал, что это был Томас Сиденгэм, кто поднял бунт против господствующих ятромеханических воззрений Багливи. В своих работах Томас Сиденгэм призывает идти назад к Гиппократу и быть верным его духу. И Сидегэм был только один из бунтовщиков.

Шульц рассказал о работе Жоржа Эрнста Сталя, который призвал биологию идти назад к Аристотелю. В работе «Теория медика — вера» Сталь писал: «Надо всегда помнить, что основа жизни есть деятельность, а не материя…. Поскольку материя сама по себе пассивна и индифферентна к деятельности. Материя просто распределена пассивно внутри определённой структуры».

Блестящий ученик Сталя, Боча, развил идеи учителя. А после них пришли те, кто сделал историю в биологии: Клод Бернар, Иоганнес Мюллер, Вульф, Блюменбах, Юкскал, Ганс Дриш, Дженнингс и другие.

Лекция Шульца была только одной из атак на материализм. Гурвич, Лосский, Метальников и другие старались остановить растущее влияние материализма. С падением демократического

правительства России в ней уже не осталось места для таких людей как Шульц и Лосский. Некоторым из них удалось уехать, другие были безжалостно уничтожены.

Научным центром русского материализма была лаборатория физиолога Ивана Павлова. Там проводились исследования поведения животных, и родилось направление «объективной психологии». Особой известностью пользовались Павловские «среды». На них приходило огромное количество его последователей и учеников. Они представляли из себя практически религиозную секту с духовным лидером — Иваном Петровичем Павловым. В эти среды после обеда Павловские теории были единственным объектом дискуссий. Я помню однажды, кто-то, не подумав, спросил Павлова, верит ли он в психологию и её место в медицине.

— Психологию? — переспросил Павлов саркастически, — Психология это термин придуманный ненаучными людьми. На самом деле, в науке нет никакого места психологии и другим субъективным методам исследования умственной деятельности. Только физиология может дать ответ на проблемы умственной деятельности.

— Вы считаете, что все умственные процессы человека не что иное, как просто физиологические проявления мозга? — не унимался незнакомец.

— Конечно! — заворчал Павлов с раздражением. — Конечно, только изучая физиологию высшей нервной активности, мы постепенно получим представление о так называемой психологии.

— Не означает ли это, что вы согласны с Сеченовым, что мысль есть не что иное, как безусловный рефлекс?

Упомянув Сеченова, незнакомец коснулся больного места Павлова.

— Сеченов был великий человек, — сердито заметил Павлов.

— Ой ли? — возразил незнакомец, тоже повышая свой голос. — Я не думаю так, профессор Павлов. Он был узколобым человеком, неспособным понять всю сложность умственной деятельности.

И незнакомец вышел из аудитории.

— Кто этот имбецил? — заорал Павлов.

Доктор Орбели И. А. прошептал имя на ухо Павлову.

— Я знал, что это один из неовиталистов. — усмехнулся Павлов.

Позднее я узнал, то это был Гурвич, один из видных тогда антиматериалистов.

Года через два, после того как свергли Керенского, Ленин

посетил лабораторию Павлова в Институте экспериментальной медицины в Петербурге. Их встреча произошла в октябре 1919 года. Отчёт об этой встрече не публиковался, и никому не было известно об этом необычном визите. Однако присутствовавший доктор Зелёный С. П. сделал протокол. Он разрешил мне прочитать его и сделать выписки. Это было незадолго до того, как я покинул Россию.

Как всегда, Ленин был краток и прям. Он избегал вступлений.

— Возможно ли контролировать человеческое поведение? — спросил он Павлова.

— Я не вполне понимаю ваш вопрос, — был ответ.

— Мы строим новый мир. Мир коммунизма. Вы не коммунист?

Павлов отрицательно потряс головой. Он никогда не стал коммунистом, даже когда его провозгласили героем Советской страны.

— Это неважно. Важно то, что я хочу, чтобы широкие массы России последовали образцу мышления и поведения в соответствии с коммунистическими требованиями. Все!

Идея казалась абсурдной Павлову, но он молча слушал.

— Было через чур много индивидуализма в России прошлого. Коммунизм не терпит индивидуалистические тенденции. Они вредоносны. Они не входят в наши планы. Мы должны исключить индивидуализм.

— Но это огромная задача, индивидуализм играет огромную роль в жизни России, — заметил Павлов.

— Чушь, человека можно исправить. Из человека можно сделать, что мы хотим в нём видеть.

Павлов взял время, чтобы подумать. Он не хотел противоречить абсолютному диктатору России.

— Я правильно понимаю, что вы хотите стандартизировать поведение граждан России? Чтобы они следовали единому образцу? — спросил он.

— В точности так, этого именно я и хочу, Иван Петрович Павлов, и вы должны помочь нам в этом.

— Каким способом? — опешил Павлов.

— Вашим изучением человеческого поведения, больше ничем. Просто продолжайте научную работу, какую вы и делали.

И Ленин стал развивать свою идею, что человеческое поведение может контролироваться соответствующим образованием. К удивлению Павлова и Зелёного, он был прилично осведомлён с работами Павлова и его школы об условных рефлексах. Он излагал понятно, хотя и не всегда

корректно с научной точки зрения.

Когда Ленин был ещё молодым человеком, и ещё формулировал свой диалектический материализм, он искал биологические данные, которые могли бы подтвердить его положения. Он наткнулся на книжку физиолога Ивана Сеченова, опубликованную в 1863 году. Этой книге, тогда было тридцать лет, и называлась она «Рефлексы головного мозга». В этой книге Сеченов утверждал, что мысли возникают, как результат безусловных рефлексов. Вся психика, утверждал он, это не что иное, как просто промежуточное звено между рецептором и двигательным органом. «Мысль — это ничто иное, как безусловный рефлекс, или рефлекс без своего последнего звена. Все движения, известные в физиологии как произвольные, являются, на самом деле, рефлексами в чистом виде».

Другими словами, вся умственная активность человека и его психика Сеченовым были низведены до уровня простого физиологического рефлекса лягушки. Хотя Ленин и не схватил суть внутренних рассуждений Сеченова, тем не менее, он понял, что Сеченов не допускает существования души, и рассматривает человека, как неодушевлённый электромеханический прибор. Это было то, что Ленин и искал.

Когда книга Сеченова была опубликована, она вызвала большой резонанс в кругах русской интеллигенции. Сеченов был даже изображён Тургеневым в фигуре Базарова в повести «Отцы и дети». С этого момента в России кличка «нигилист» давалась всем, кто, как и Базаров, отрицал существование души.

С того момента, как Ленин упомянул работу Сеченова, Павлов более оживился и проявил больше интереса к разговору. Павлов уважал Сеченова, как своего предшественника в теории рефлексов. Вскоре разговор превратился в лекцию о теории «нервизма», которая, собственно, и была основой Павловских исследований. Павловская лекция Ленину продолжалась почти два часа. Слушатель, только иногда перебивал лектора вопросом.

Павлов объяснил, что термин «нервизм» был введён профессором Боткиным, работающим в лаборатории Павлова. «Мы называем нервизмом физиологическое понятие, которое посредством центральной нервной системы оказывает влияние на всю деятельность организма».

Центральная нервная система, сказал Павлов, делает организм единым целым. Нервная система, таким образом, играет решающую роль в деятельности организма. Мозг, один только мозг служит субстратом высшей нервной деятельности и эмоций. Когда человек болен, это значит, что-то не в порядке с его мозгом. Рак, диабет, язвы желудка и даже инфекционные

болезни — это в своей сути — болезни мозга. «Наша теория полностью расходится с взглядом западных физиологов, таких как Мюллер, Вирхов и Нидгэм».

И Павлов пошёл описывать разницу между им и западной школой. Для нервистов личность человека — это просто продукт персонального опыта в течении жизни человека. Это просто реакция приспособления человека к условиям окружающей среды. Этот опыт основан на образовании и ассоциации условных рефлексов в головном мозгу. Согласно нервизму, наследственность играет только второстепенную роль.

— Не означает ли это, что наследственные факторы могут быть переломлены соответствующим воспитанием? — спросил Ленин.

— При определённых условиях, да. Они могут быть преодолены. Я думаю, что у нас на руках хватает экспериментальных доказательств, что условные рефлексы могут вытеснить безусловные, то есть природные, врождённые рефлексы или инстинкты.

— Европейские физиологи, конечно, защищают идеалистический взгляд на поведение человека. Они липнут к так называемому «клеточному принципу» Они считают, что всё в организме предопределено его наследственностью и эмбриональным развитием. Они считают, что организм мало зависит от окружающих условий. Они не правы.

Далее Павлов рассказал, как он нашёл, что внешний стимул, который начинает условный рефлекс, играет главную роль. Один и тот же условный рефлекс может быть вызван у абсолютно разных людей. Это находится в прямом противоречии с западными теориями, согласно которым, реакции организма определяются его индивидуальностью.

— Они подчеркивают индивидуальные характеристики организма, а мы принижаем их значение. Мы подчёркиваем значение внешнего импульса, как вы говорите, окружающей среды. Они допускают дуалистическое истолкование психической жизни, а мы — нет.

— Отлично! — воскликнул Ленин. — Вот это я и хотел знать. Вы так же как и мы — материалист?

— В моих исследованиях, да.

Павлов не акцентировал на этом своём осторожном высказывании. Поговаривали, что частным образом, он не только не был атеистом, но и был глубоко верующим человеком.

Эта встреча между Павловым и Лениным была началом грандиозного эксперимента Советского правительства по контролю над человеческим поведением и стандартизацией

психики всего русского народа. Практически, это была война с русским индивидуализмом, которым в прошлом мы так гордились.

Скоро стали проявляться практические последствия этого разговора. Павловская лаборатория превратилась в оазис, не трогаемый Чека. И ни какие буржуазные происхождения учёных, ни их политические воззрения, ни даже их контрреволюционное прошлое не интересовали никого, если они работали на теорию нервизма. Их всех оставили в покое.

Несколько Павловских учеников были назначены главами лабораторий в других городах. В этих лабораториях и институтах работа тут же была перестроена в соответствии с нервизмом. Одновременно были организованы новые лаборатории. Деньги на проект стандартизации психики советского человека полились рекой.

* * *

Индивидуализм против стандартизации! Это было важно. Это было важнее, чем политические разногласия борьбы против советской диктатуры. Для русской интеллигенции полное развитие индивидуальности было основой развития гармоничного общества. Однако русские большевики избрали животный материализм основой их социального экспериментирования. Политика заставляла их отрицать значение индивидуальности в человеке. Большевики просто декретом не оставили места индивидуальности человека в их социально-политической системе.

Однако индивидуальность царит в живом мире от простейших организмов до человека. Ни одно другое свойство материи не выделяется в большей степени. Если живая материя жива, то налицо индивидуальность. Если живая материя умирает, то она теряет свои индивидуальные черты.

В моих экспериментах с профессором Метальниковым, даже простейшие инфузории демонстрировали индивидуальные черты своего поведения. В мире нет даже двух одинаковых клеток. Все знают, что нет одинаковых отпечатков пальцев. Все человеческие органы различаются у разных людей. Этот основной закон природы был оставлен без внимания большевиками. Они верили, что поведение людей можно стандартизировать и лишить его индивидуальности. Они твердили, что с помощью образовательной пропаганды, они способны превратить людей в роботоподобных существ, которые будут реагировать на всё

одинаково. Они и использовали Павловский нервизм, как научную основу их воспитательной политики. Они, как всегда, объявляли реакционной любую теорию, противоречащую теории Павлова.

Нервизм стал официальной научной большевистской доктриной. Так как, если поведение человека можно свести к цепочке условных рефлексов, то и поведение широких масс можно стандартизировать под одну гребёнку. Советские руководители очень серьёзно отнеслись к этой проблеме. С 26 июня по 4 июля 1950 года в Московском Университете был созван чрезвычайный научный конгресс. 1400 физиологов, биологов, патологов и психиатров из многих стран мира присутствовало на этом конгрессе. «Проблемы физиологического учения Павлова» было темой конгресса. Однако настоящие цели конгресса были гораздо более далеко идущими. Целью конгресса была пропаганда научного контроля над человеческим поведением.

Теория Павлова была только основой этого правительственного подхода. Павловские постулаты были приняты только в их самой упрощённой форме. Поскольку человек — это комплекс условных рефлексов, человеческое поведение определяется его образованием. Путём работы с условными рефлексами можно стандартизировать поведение человека в соответствии с требованиями Советского правительства. Таким образом, поведение советского народа, а в последующем и всего мира, можно постепенно стандартизировать и сделать однообразным и предсказуемым.

Поведение человека — это продукт его окружающей среды, но вдруг было объявлено, что человек, в свою очередь, может переделать и трансформировать окружающую среду. Это было явное противоречие собственным постулатам.

Учёные, физиологи и психологи, которые не соглашались с этим «супернервизмом», объявлялись врагами коммунизма и лишались своих должностей в институтах. Даже ученики Павлова, такие как академики Бериташвили, Орбели и профессора Рожанский и Анохин, были объявлены лакеями буржуазии. Эти четверо были среди других учёных, обвинённых в индивидуалистических тенденциях. Эти учёные, также, несмотря на разнообразие фамилий, не были русскими или кавказскими людьми.

Атака на еретиков не окончилась с окончанием конгресса. «Советский журнал физиологии» в 1950 году был полон статей осуждающих то одного, то другого учёного.

Ленинские мечты о стандартизации человека не оставлены и сегодняшними правителями СССР. Это теория внедрена в

практику в масштабе ещё не известным в истории человечества. Много сказано о политической активности коммунистической партии, однако, упущен факт их неумолимой борьбы против всякой индивидуальности. «Русский» большевизм — это самая крайняя форма антииндивидуализма, когда-либо существовавшая на земле. Сейчас независимое научное мышление полностью подавлено в Советском Союзе, но в дни моей юности крайний материализм проповедовала только маленькая кучка приверженцев. Большинство студентов наслаждались свободой мнений, и индивидуализм был основным течением в научной среде.

Доктор Бетвугин.

На фронте было всё спокойно. Дни проходили монотонно. Вокруг была осень, бриллиантово — жёлтая, со случайными дождями и непременными туманами. Свободный от дневной рутинной работы, я погрузился в научную работу, которую я делал ещё до призыва на фронт: возможное бессмертие живых клеток. Тема привлекла моё внимание ещё в университете. Я прочитал об этом в американских источниках и постарался копировать их работу. Возможно ли бесконечно долго держать образец ткани, извлечённый из живого организма? Сколько времени можно продолжать клеточный марафон, если поддерживать хорошие условия содержания ткани? Когда я впервые прочитал о подобном эксперименте Росса Гаррисона из Йельского университета, я страшно заинтересовался этой работой. Я думал, вот, что нам ответит на вопрос об извечных проблемах жизни и смерти. Если бы мы были способны взять клетки у старого человека и держать их после его смерти, это помогло бы по-новому взглянуть на многие биологические проблемы. Это бы помогло доказать, что наш организм состоит, на самом деле, из бессмертных клеток, и только дефекты в сложной организации внутри тела делают человека смертным.

Сразу после окончания университета я пришёл на работу в Петербургскую Биологическую Лабораторию при курсах Лесгафта. Её директором был Сергей Метальников. Метальников. Он был необычным человеком: вежливый и чувствительный, он был постоянно углублён в науку. Он был человеком видения и энциклопедического знания и обладал настойчивостью, без которой немыслимо достижение научных результатов.

Будучи директором Петербургской Биологической лаборатории Метальников горячо одобрил мои планы по созданию непрерывных живых культур ткани. Зарплата была

мизерной. Я едва сводил концы с концами, но работа была захватывающей.

— Почему мы должны использовать лягушек или цыплят? — Спросил Метальников, когда лаборатория была готова к работе. — Давайте сделаем шаг вперёд. Давайте работать с человеческой тканью.

В Обуховской больнице, к которой я относился, старый пациент умирал от рака. Я попросил его разрешения взять кусочек ткани из его живота. В хирургических условиях, взяв образец ткани, я принёс его в лабораторию. Моя помощница Анна дала свою кровь. Я разрезал образец на мелкие кусочки и поместил их в углубления лабораторных стёклышек, добавив кровяной плазмы. Накрыв образцы для стерильности плоскими стёклышками, я поместил их в термостат, который поддерживал температуру человеческого тела. Будет ли ткань расти? Будет ли она жива?

Я ждал два дня и был разочарован: не было ни признаков роста, ни деления ткани. Я ждал ещё два дня. На этот раз я заметил нити клеток вылезающие во все стороны из культивируемого образца. Я побежал к Метальникову крича: «Они растут!».

И они росли. Ткань умершего человека оставалось живой и росла, начиная с этого незабываемого дня. Она продолжала существовать и существовала ещё в 1942 году, когда доктор Стрельников, который остался вместо меня, в последний раз написал мне, что «Лопухинская ткань ещё жива». Лопухин — фамилия человека, чью ткань я использовал.

Мы развернули наши исследования на полную мощь. Мы культивировали человеческую ткань из самых разнообразных органов. Нервная, мышечная, эпителиальная ткани — все они, хотя и с разной скоростью, росли при наличии нормальных условий. Наша лаборатория сразу стала известной. Много позже Метальников получил Пастеровскую премию за книгу «Бессмертие», которая была основана на нашем материале. К своему удовлетворению мы доказали, что потенциальное бессмертие присуще всем живым клеткам[21].

Однако, наше открытие не опровергло грустный факт, что наш организм, состоящий из бессмертных клеток, сам по себе смертен.

* * *

И теперь в моей маленькой лаборатории на Юго-Западном

фронте я пытался восстановить мой петербургский эксперимент.

В сентябре, проверяя культуру, я был прерван грубым стуком в дверь. У меня даже не было времени сказать «Войдите», как вошёл главный хирург доктор Георгий Бетвугин. Он был краток: «Я застрелил её» — сказал он спокойно, — «Пожалуйста, пойдите посмотрите, жива ли она. Я не хочу смотреть на неё….»

И он быстро вышел.

* * *

Полгода назад я был удивлён переводом доктора Бетвугина в наш госпиталь. Его репутация блестящего хирурга была прочно установлена. Он был знаменит ещё в Московском медицинском институте, где исполнял отчаянные операции, о которых я читал в медицинских журналах. Он вполне мог рассчитывать на работу в огромном военном госпитале. Вместо этого я узнаю, что он едет к нам, в какую-то дыру. Это было странно и непостижимо. С его приездом наше удивление только возросло.

Мы все болтали и обедали в нашей ординаторской, когда вошёл прекрасный незнакомец. Его внешность была бросающейся в глаза: высокий, стройный, с сине-чёрной Ван-Дайковской бородкой и короткими усами, тёмные седеющие волосы и лёгкие, голубые глаза. С иголочки одетый в военную форму с дорогими бриджами и сверкающими шпорами, он выглядел как один из гусаров Его Величества. Он молчал минуты две, как бы высматривая кого-то в комнате.

— О, нет! — раздался женский голос.

Повернувшись к концу стола, я увидел главную сестру, закрывшую руками лицо.

— Что всё это значит? — спросил я.

Затем я повернулся к незнакомцу и довольно грубо спросил:

— Вы кого-нибудь ищите?

Он улыбнулся и ответил:

— Я прошу прощения за вторжение, но меня прислали в этот госпиталь.

— В этот госпиталь? — переспросил я.

— Да, главным хирургом. Я — доктор Бетвугин.

Когда он произнёс свою фамилию, упало кресло, и главная сестра выбежала из ординаторской.

Доктор Бетвугин не обратил внимание на такое поведение главной сестры. Он сказал как ни в чём не бывало:

— Я извиняюсь за прерванную трапезу.

Я представил его персоналу, и он с каждым поздоровался за

руку и представлял себя. Он был очень вежлив и спрашивал нас о нашей работе. Его внешний вид резко контрастировал с нашими заношенными гимнастёрками.

— Он выглядит как принц! — сказала моя сестра.

Он, впрочем, и выглядел как принц из сказки.

Вечером я готовился спать, когда Илья сказал, что главная сестра хочет видеть меня.

— Она сильно расстроена. Плачет.

Елена фон Т. была только недавно прислана в наш госпиталь, и она быстро стала любимицей всего персонала. Хирурги были очень удовлетворены её работой. Она имела опыт и готова была помочь любой сестре. Пациенты говорили: «Она просто ангел». Она и выглядела как ангел, с её светлыми волосами и прекрасным, точёным лицом. Тактичная и скромная, она не принимала участия в сплетнях, как это обычно водится в больницах. Все юные врачи были влюблены в неё и напрасно пытались за ней ухаживать. Она много читала, и время от времени просила у меня медицинские книги. Она, видимо, была из зажиточной семьи, но никто про неё не знал ничего.

— Она — наша загадка, — постоянно повторял молодой хирург Полевицкий. — Пусть так ею и останется.

И вот она сидела в моей комнате и горько плакала.

— Я должна сейчас же уехать из госпиталя, — жалко пробормотала она.

— Почему? — спросил я её.

Она не ответила.

— Из-за доктора Бетвугина?

Она кивнула.

— Так вы его знаете.

— Да. Он мой муж, но…, — она поправилась, — Мы разошлись.

— Сколько вы были замужем?

— Три года.

— Он кажется обаятельный человек.

— О, да. Но…

И запинаясь, но постепенно оживляясь, она рассказала мне историю их странных отношений с Бетвугиным.

Её отец был уголовным адвокатом, человеком весьма образованным, но очень деспотичным по натуре. «Он был деспотом и управлял семьёй железной рукой», — сказала она.

Он обожал её, свою единственную дочь, но он замучил её своими требованиями. Жену свою, он вообще низвёл до уровня несопротивляющегося существа. «Она никогда не осмеливалась выразить своё мнение или желание. Она была очень несчастлива,

моя мама, и я очень любила её. Она дрожала в его присутствии и боялась произнести слово. Когда мне было десять лет, она приняла яд и умерла у меня на руках».

Хотя Елена была очень юной, чтобы понять запутанность отношений её отца и матери, она тем не менее поняла, что в основе такого отношения отца лежит извечная история ревности. По-видимому, её мать любила молодого бедного деревенского доктора, но её родители заставили её выйти замуж за старого, но богатого юриста.

— Ваш отец изменился после самоубийства матери? — спросил я.

Елена снова начала плакать.

— Только к худшему.

Теперь вся его привязанность старого человека, выплеснулась на неё. Для него теперь Елена была воплощением матери, которую он ненавидел и любил как безумный. Он не разрешал ей встречаться с молодыми людьми, ходить на вечеринки или даже в школу. Он нанял частных учителей и держал её всё время дома, пока он не был занят на работе.

— Я знала, что он любит меня, но я ненавидела этого человека, который убил мою мать.

Когда Елене было семнадцать лет, её отец заболел кишечной инфекцией, которая требовала срочной операции. Позвали доктора Бетвугина, который уже был известным хирургом. Её отец после операции вскоре умер. «А я, я влюбилась в молодого доктора».

По его совету она записалась в сестринскую школу при московской больнице. После двух лет ухаживания Бетвугин женился на ней.

— Он был женат до этого? — спросил я.

— Да…, — её голос заколебался. — Он был женат, его жена умерла за несколько месяцев до нашей свадьбы. Я не знаю причины её смерти.

В течение полугода ухаживаний Бетвугин был очень внимателен к ней.

— Да, он был очень внимателен, весёлый, галантный, очень лёгкий и приятный человек. Он старался предугадать и выполнить все мои желания. Он предоставлял мне полную свободу, и это очень мне нравилось. Он был совсем другой, нежели мой отец. Моя жизнь на протяжении этих шести месяцев была счастливой. Я был первый раз счастлива. Я дышала свободно.

Всё это закончилось в один день, когда они расписались. Тут открылась истинная натура Бетвугина. Он оказался вылитым

отцом с его совершенно маниакальной ревностью. Елена сразу была лишена всех свобод и стала его рабой и собственностью. Она была шокирована такой переменой в своей личной жизни.

— Мне трудно описать свои чувства. Конечно я его любила… но что-то было сломано во мне, в моих чувствах по отношению к нему. Я была не согласна. Ночью рядом с ним у меня было такое чувство, что отец жив и лежит рядом со мной. Моя ненависть к отцу вернулась и направилась на человека, которого я обожала всего несколько недель назад. Возможно, я сама виновата, что влюбилась в него, а возможно, у меня комплекс насчёт свободы. Однако, это чувство сильнее меня.

Она сказала, что стала угрюмой и раздражительной. Она избегала его ласк, отказывалась выходить с ним и держалась от него подальше. Их брак разваливался. Неспособный понять её, он обвинил её в неверности. Он преследовал её с претензиями. Они постоянно ссорились. Он был груб и угрожал. Она была угрюма и замкнута в себе. Однажды, выведенный из себя, он дал ей пощёчину. На следующий день она ушла, забрав кое-какие свои вещи.

— Я уехала в Петроград и взяла распределение в этот госпиталь, и здесь я счастлива. Здесь я обрела покой. Но он нашёл меня.

— Вы по-прежнему его любите?

— Я не знаю, каким-то странным чувством мне иногда его не хватало. Но когда он теперь здесь, я в таком состоянии, что я не могу здесь оставаться. Я допускаю, что это всё моя ошибка, но что я могу сделать?

Я не мог предложить ей никакого решения. Ещё одна закомплексованная личность, расплачивающаяся своей личной жизнью за душевные раны, причинённые ей ещё в детстве.

— Я сделаю, что смогу, — ответил я ей. — Получить разрешение из штаба на ваш перевод, может занять несколько дней. На это время я дам вам больничный. Оставайтесь в своей комнате, можете даже кушать, никуда не выходя.

Затем немного смущённый официальностью своего голоса, я сказал:

— У нас у всех есть похожие проблемы. Нам будет грустно расстаться с вами. До свидания, госпожа Бетвугина.

Назавтра у меня не оказалось времени побеседовать с Бетвугиным, как я предполагал вначале. Привезли нескольких раненных, и он был в операционной целый день.

Бетвугин изумил нас своим хирургическим мастерством. Мы все готовы были признать, что он гениальный хирург. Исполнение удаления желудка было просто фантастическим. Когда он

оперировал солдат с проникающими ранениями брюшной полости, у нас просто рты не закрывались. Он был быстр, точен и эффективен. В одном безнадёжном случае проникающего осколочного ранения живота он сделал одновременно удаление желудка и вывел наружу прямую кишку. Раненый был спасён.

Однако у Бетвугина было странное требование, чтобы всем пациентам удалялся аппендикс, независимо от их заболеваний. Это было его навязчивым желанием. Сначала это нас забавляло. Однако после того как он быстро сделал более десяти аппендектомий без всяких на то показаний, я решил поговорить с ним.

— Почему вы удаляете аппендикс без признаков его воспаления? — спросил я его.

— Аппендикс, мой друг, это рудимент, — начал излагать он. — Его присутствие плохо влияет на человеческий мозг. Он вызывает скотские инстинкты. Аппендикс должен быть удалён у всех, независимо от ничего. В моём отделении в Москве ни один человек не выходил из больницы с аппендиксом. Я хранил все удалённые мной аппендиксы в формалине. Конечно, я предпочитаю удалять аппендикс классически, по Мак Бюрнею, но к сожалению, не всегда так получается.

Я указал ему, что в армейских госпиталях оперируют только доказанные случаи аппендицита. Бетвугин пропустил всё мимо ушей и продолжал стричь аппендиксы. Скоро это стало поводом для трений между ним и другими врачами. За обедом в ординаторской он всё время возвращался к любимой теме, приставая к другим врачам и сёстрам с предложением удалить аппендикс.

— А ваш-то аппендикс удалён, доктор Бетвугин? — спросил как-то Шеллинг.

— Зачем? Конечно, нет. — Ответил он, улыбаясь. — Мне не нужно удалять аппендикс. Мой аппендикс не влияет на мой мозг. Мой мозг вне физических воздействий. Он выше этого. Конечно, я не удалял аппендикс…..

* * *

Через несколько лет в 1926 году, будучи в Праге, я прочёл в газете доклад, который Бетвугин сделал в Москве. К этому времени он уже стал большой шишкой в комиссариате здравоохранения.

— Аппендикс, — провозгласил он, — Это буржуазный рудимент. Нет места для аппендикса в новой пролетарской

республике. Мы должны освободить себя от этого пережитка капиталистического прошлого.

Периодически достигали новости, что Бетвугин в большом фаворе у руководителей Советского государства. Писалось, что он сделал операцию то одному, то другому руководителю, то чьей-то жене. Один московский врач, которого я встретил на медицинском симпозиуме в Будапеште, сказал, что Бетвугин — это самый верх Советской медицины. Он жил в необычайной роскоши даже для коммунистического фаворита.

— У него две машины, лошади…, — жаловался доктор, — И огромный дом только для него и его новой жены, бывшей балерины досоветской эры. Однажды я у него был, лакей, настоящий лакей открыл мне дверь…. Парадоксы жизни страны пролетариата.

Но, очевидно, Бетвугин где-то перегнул палку, так как он вскоре исчез. Никто ничего о нём не знал. Ходили слухи, что его ликвидировали или выслали в Сибири.

* * *

Дни проходили, и Бетвугин преуспел в деле в ублажении своей жены. Елена больше не оставалась в своей комнате и проводила большую часть времени в операционной, ассистируя своему мужу. За едой она сидела рядом с мужем, и хотя была тише воды и ниже травы, улыбалась его шуткам и разговорам. Несколько раз, когда я прогуливался по берегам реки Мальты, я видел их, катающихся верхом на лошадях в тесном контакте друг с другом.

— Он её снова покорил, варвар, — горько заметил Полевицкий, наш молодой врач. — Но это не надолго.

Однажды, когда я вечером рассматривал срезы тканей, ко мне вошёл Бетвугин. Вежливо он попросил разрешения поговорить со мной.

— Я немного выпивши, — извинился он, — Но только немного. У меня неконтролируемое желание поговорить с вами. Я знаю, что вы меня не любите. Искренне, я тоже не люблю людей вашего типа. Но лично вы мне нравитесь. Вы удивлены?

Точно, я был удивлён.

— Имеется два типа людей в этом огромном мире человечества, — начал он закуривая сигарету. — Одному типу, и к нему принадлежат люди типа вас и ваших друзей, чужды сильные, раскрепощённые эмоции. Они ничего не знают о всеохватывающей страсти. Они переносят свои слабенькие

эмоции в свой мозг и делают их своими смутными неопределёнными эмоциями. Они просто обезьянки с идеями и умственной чувственностью евнуха. Они плодят эти идеи, они комбинируют их и в этой коллекции бесплодных идей находят своё счастье. Сильное, решительное действие чуждо этим людям. Их можно назвать интеллектуальными сенсуалистами. Даже в науке, которая сама по себе плодородное поле, они ничего не добиваются. Они не способны ни на что, кроме опубликования бесконечных статей, которые только лишний раз демонстрируют их эмоциональное бессилие.

И есть люди другого сорта, К счастью, или к несчастью, они в меньшинстве, по крайней мере, в нашей любимой стране. Эти люди простых и ясных идей, люди действия. Они как дважды два — четыре, а не пять, как описывал Тургенев. Они способны на огромные эмоции потому, что они способны наоборот, перенести свои простые идеи в эмоции. Люди именно этого типа создают империи, делают революции и двигают миром.

Я знаю, что вы скажете. Вы сейчас мне расскажете о людях, которые убили царя, сделали революцию…. Но, старик, это же было ничего. Как жест, апофеоз эмоционального бессилия, самовозвеличивание через самопожертвование. Кому это интересно?

Я не политик, мне всё равно революция или монархия, но мне нравятся люди, воодушевлённые идеей. Которые знают, что такое страсть, потому, что страсть может сокрушить всё на своём пути к достижению цели. Я не психолог, но я чувствую, что что-то есть внутри человеческой конституции, что делает его или чувствительным интеллектуалом или человеком страстного действия. Пожалуйста, не перебивайте меня, во мне слишком много алкоголя, и я могу забыть, что я хочу сказать. …. Да. Я пришёл к вам не обсуждать человечество в целом. Я хотел рассказать историю о своём старом друге. Интересная история. Я надеюсь, что она вам не понравиться. Мне, старик, и не нужно твоё одобрение.

У меня был друг, блестящий хирург. Он был гений в своей области. Никто не мог превзойти его в хирургии. Он был человеком необычной решимости. Ешё мальчиком он решил стать хирургом, и его ничего больше не интересовало. Он был человеком одной идеи. Однажды утром его позвали к старому больному с острым аппендицитом. В доме больного он увидел девушку. Была ли девушка красивой — это неважно. Важно то, что когда мой друг встретил эту девушку в этом мрачном доме, он сразу знал, что это девушка предназначена ему. Он сразу знал, что пока он живёт, эта девушка принадлежит ему одному.

Невиданная страсть вспыхнула в нём. Это была больше чем страсть, больше чем любовь — наваждение. После осмотра отца девушки, мой друг понял, что эта девушка никогда не будет принадлежать ему, пока жив пациент. Это следовало из различных незначительных деталей её разговора, а мой друг был хорошим наблюдателем.

Что вы бы сделали на месте моего друга? Конечно, ничего. Вы могли бы изводить себя безнадёжностью ситуации. Но только не мой друг. Он был человеком действия, воспалённый страстью. Он потребовал госпитализировать больного и сразу взял его на стол. Он открыл его живот, в котором не было ничего особенного, за исключением немного воспалённого аппендикса. Секунду, да, только короткую секунду мой друг колебался, а может быть, и вообще не колебался; его рука непроизвольно двинулась и оставила маленькую дырочку в стенке воспалённого аппендикса. Вот такой случай. Мой друг ничего не делал умышленно, что запрещает его профессиональная этика. Он не приговаривал пациента к смерти. Его рука двигалась сама собой. Его скальпель двигался подсознательно. Это был несчастный случай, убеждал себя мой друг. Был ли это несчастный случай? Вы, мой учёный друг, можете поразмыслить над этой психологической загадкой…., если вам будет угодно.

Он засмеялся и продолжил:

— Однако это была только часть его проблем. Девушка стала свободной после смерти отца, но мой друг был женат на женщине, которая была для него пустым местом. Только его жена стояла между ним и заветной целью. Его жена часто болела. У неё были частые маточные кровотечения и боли в матке. Он привёз её в больницу и осмотрел в присутствии медицинской сестры. Он ясно видел, что на шейке матки язвенный рост — не было никакого сомнения, что это рак шейки матки. Её ещё можно было спасти, сделав немедленное удаление матки. Мой друг уже намеревался произнести: «Подготовить к операции», но вместо этого продиктовал: «Доброкачественная фиброма». И произнося эти слова, он осознал, что кто-то другой произносит эти слова, а не он. Эти слова означали ложный диагноз, обрекающий его жену на медленную смерть от рака. Какая сила толкнула его? Какая сила заставила его забыть законы профессиональной и человеческой этики? Или это была непреднамеренная небрежность, обмолвка? Это, старик, тебе решать.

Вот и все истории с моим другом, которыми я хотел тебя развлечь.

Бетвугин встал и зажёг ещё одну сигарету.

— К чему вы рассказали мене эту отвратительную

историю? — спросил я сердито.

— Почему? Просто так, старик.

И выходя из комнаты, он обернулся и сказал:

— А может быть, я просто хотел произвести впечатление на вас с тем, чтобы вы не пытались вмешиваться в мои отношения с Еленой. Это небезопасно.

И он вышел.

* * *

Меня настолько возмутило его поведение, что я немедленно записал всю его историю, стараясь припомнить его личные слова. Я решил направить рапорт командованию на следующий же день.

Но ранним утром Бетвугин драматично и грубо объявил мне, что он застрелил свою жену.

Он не убил её. Я нашёл её в комнате в полубессознательном состоянии и она сильно кровила. Рана была серьёзной, но не смертельной. Пуля прошла через левое плечо рядом с сердцем, и кости были тоже не задеты.

На операционном столе она молчала. Она не упоминала ни своего мужа, ни само происшествие. Через два часа после операции я зашёл к ней и нашёл её уже в нормальном состоянии.

— Всё началось с того момента, когда он сказал мне уехать с ним в Москву. Я отказалась, он вышел из себя так, как я ещё не видела.

Он говорил ей, что она принадлежит ему, и ни одна сила на земле не заберёт её от него. Он сказал ей, что он готов на любое преступление ради того, чтобы она была с ним. Он угрожал ей, но она отказала ему. Внезапно он вынул револьвер и выстрелил два раза.

— Я приготовилась умереть…., я хотела умереть. Это всё было безнадёжно….

Чудо, что она уцелела.

Я пытался найти Бетвугина, но мне сказали, что он покинул Рожище с вещами.

Как только Елена более или менее пришла в себя, она была переведена в госпиталь в Ровно.

Вечером перед её отъездом мы делали её прощальный ужин. Это было тёплое застолье с разными излияниями чувств, особенно от наших молодых докторов.

— Вы ангел! — кричал Полевицкий в возбуждении. — Чистый и божественный и прекрасный…. Но дьявол овладел вашей душой, и этот дьявол — ваш муж.

Он целовал ей руки и упрашивал стать его женой. Было много тостов и обычной болтовни за русских женщин и их судьбу, и их преданность никчёмным мужчинам. Елена всхлипывала и сделала признание, что она любит всех нас.

— Я была очень счастлива здесь.

После её отъезда жизнь в госпитале успокоилась, и все сконцентрировались на работе, на бридже и политических разговорах.

* * *

Через десять лет во Франции в Ницце, я делал утренний обход в больнице Сан-Рош. Доктор Луи Прат, главный хирург, остановил меня.

— Ваш соотечественник, русский хирург, будет демонстрировать свою технику удаления аппендикса. Говорят, он это делает за три минуты. Фантастика.

Я пошёл. Операционная была полна молодых хирургов и интернов.

— У него своя сестра, — сказал мой друг Картотто. — Она потрясающая красавица. Не удивительно, что он делает чудеса в хирургии.

Мы тихо ждали появления неизвестного хирурга. Прямо как в театре, думал я. Это было действительно как в театре, когда появился Бетвугин, сопровождаемый Еленой. Оба они были в белейших халатах, он почти весь седой; и она, молодая и прелестная, потрясающе красивая и элегантная.

Доктор Прат представил меня им. Бетвугин не ожидал меня здесь встретить. Однако, если он и не обрадовался, то не показал своих чувств. Он горячо пожал мою руку и заметил Прату на превосходном французском: «Мы все друзья».

Он мало изменился. Только больше седины, а так, тот же самый. Красивый и надменный, весь в себе, представительный, он отточил хирургию до совершенства.

Когда Бетвугин прибыл, пациент уже был готов к операции. Он медленно помыл руки и, надевая перчатки, он кратенько рассказал о технике, которую он использует. Он снова повторил свою навязчивую теорию о том, что аппендикс должен быть удалён у всех. На этот раз аудитория встретила это предложение с энтузиазмом.

В принципе, нет ничего невозможного в том, что аппендикс может влиять на психику, но это не факт, и влияние болезней тела на психику человека, в то время ещё не рассматривалось.

Психосоматическое направление в медицине было ещё впереди. И надо понимать сердца юных хирургов, которые всегда с энтузиазмом воспринимают все призывы в пользу того, чтобы резать.

Они думали о том, сколько новой работы сулит им предложение этого элегантного русского хирурга. В одной только Ницце можно было удалить не меньше сотни тысяч аппендиксов — безграничные возможности.

— Дорогие коллеги, — заключил Бетвугин, — Удаление аппендикса, исполненное правильно, требует всего двадцать минут. Я, достиг такого совершенства в этой области, что я могу удалить его за три минуты. Пожалуйста, засеките время… раз, два, три.

Без всякого сомнения его техника была совершенной. Его руки мелькали так быстро, и разрезы были такие точные, что казалось скальпель является продолжением его руки. Он кончил в две минуты пятьдесят пять секунд от разреза до последнего шва.

— Это рекорд, — объявил он гордо. — Большое спасибо, джентльмены, за то, что вы дали мне возможность продемонстрировать свою технику.

И он быстро покинул аудиторию, и за ним Елена. Присутствующие были в шоке.

— Вот это человек! — сказал Картотто, грустно тряся головой, — Вот это хирург!

Только доктор Прат, один из ведущих хирургов Франции, не проникся увиденным.

— Ваш соотечественник должен выступать на сцене, — саркастически произнёс он. — В нём, однако есть что-то нечеловеческое.

Я не сказал ничего.

Этим же вечером, прогуливаясь по набережной, и я увидел Елену, сидящую за столиком у отеля «Негреско». Она увидела меня и помахала рукой, приглашая меня за столик. Она была одна.

— Где он? — спросил я.

— Я не знаю.

Она была не в настроении, почти сердитая.

— Я ненавижу каждую минуту с ним.

— Но вы, тем не менее с ним?

— Да, я пыталась много раз убежать от него. Он всегда меня находит. Я была просто счастлива, когда он уехал в Москву и женился на другой женщине. Я снова чувствовала себя свободной. Я чувствовала себя как надо. Я уехала в Париж и начала работать в госпитале. Я даже поступила в медицинский институт. И вдруг

полгода назад он объявился в Париже. Из ниоткуда. Я молила, чтобы его убили его друзья коммунисты, которых он так обожал. Но он тут….

— Как он убежал из России?

— Я не знаю. Я о нём ничего не знаю, и меня это вообще не интересует. Что меня волнует, это то, что я безнадёжно впуталась с ним, безнадёжно.

— Но он вас любит.

— Да, — сказала она сердито. — И в этом-то вся проблема. Если бы только он перестал меня любить…. Я ненавижу его всей душой и телом. Я хочу, чтобы он умер, раз и навсегда.

— Наверно, вам не следовало бы говорить такие вещи….

Тем не менее, я её понимал.

— Да, это ужасно. Но я знаю, что это правда. Я не могу ничего поделать. Я не могу. Когда-нибудь я упрусь в тупик и покончу с собой. Я ненавижу его так, как будто я ненавижу самое дорогое в моей жизни. Я подхлёстываю свою ненависть, выдвигая против него всё новые обвинения. Когда он меня бьёт, я испытываю наслаждение, потому что это помогает мне ещё больше его ненавидеть. И тем не менее, часть моей души принадлежит ему. Это безумие. Я знаю, что он мерзавец, жестокий и преисполненный тщеславием. И как только господь создаёт таких людей? Я его раба….

И она расплакалась.

— Он идёт! — пошептал я ей.

Весёлый и вальяжный, Бетвугин сел за столик.

— Приятно встретить старого друга после стольких лет. Как дела? Всё ещё смотрим в микроскоп, пытаясь решить вечные вопросы жизни и смерти?

Он развалился в кресле.

— Что вы пьёте? Вермут? Напиток буржуазии. Я предпочитаю шампанское. В Москве оно у меня было каждый день. Они мне давали лучшее шампанское в России.

— А в Сибири они вам тоже давали лучшее шампанское? — перебил я его.

Он улыбнулся, и его глаза не ответили на этот вопрос. Я не мог скрыть своё раздражение, встал и покинул их, сказав только короткое «До свидания».

Я не мог забыть Елену в её отчаянии и её безвыходной ситуации. Странное предчувствие заставило меня снова искать встречи с ней. В течение следующих десяти дней я не мог найти её. Я искал её снова и снова, но всё безуспешно. Я постоянно гулял вокруг отеля «Негреско», ходил по казино, по барам, в надежде встретить её. Они пропали, и я подумал, что они уехали

из Ниццы.

Через десять дней после моего разговора с Еленой доктор Картотто остановил меня в вестибюле больницы.

— Вы газеты читали сегодня? — спросил он возбуждённо.

— Нет ещё, у меня нет время на газеты.

— Взгляните, — и он сунул мне газету. — Что вы скажете?

На первой странице газеты была фотография Бетвугина, и я прочёл, что известный русский хирург-эмигрант доктор Бетвугин был убит своей собственной женой Еленой в отеле в Бьюло. Это был случай явного убийства-самоубийства. Она была тоже мертва. Мотивы этого преступления были неизвестны. В газете говорилось, что со слов работника отеля, они казались счастливейшей парой в мире. В газете не было фотографии Елены. Они не нашли ни одной фотографии в их багаже. Даже после смерти он оставался эгоистом.

Братья Пятаковы.

Однажды группа медицинских студентов и интернов болтала в лаборатории Ивана Павлова в ожидании его прихода. Это было во время моего первого года работы после института. И хотя я не был последователем Павлова, я проводил много времени в его лаборатории. Разговор обратился к предчувствиям — не очень популярной теме у «Павловцев». Большинство отказывалось допустить всякое научное обоснование существования шестого чувства. И только один робко возражал против отрицания этого «жизненного фактора человеческой жизни». Это был доктор Рождественский, способный физиолог, который признался, что сам чувствует строгое и сильное предчувствие. «Я отчётливо вижу, как будто открываю дверь лифта, и падаю вниз в глубокую шахту. Падая, я слышу, как моя жена кричит: «Не пользуйся лифтом, он сломан». Самое интересное во всём этом деле, что у меня это предчувствие не во сне, а когда я ещё в полусне, то есть это не сон, а как реальное видение» — сказал он, наблюдая скептические улыбки своих коллег.

Мы пропустили историю мимо ушей, и только иногда подшучивали над ним в плане советов ходить пешком и не использовать лифт.

Через полгода нас пригласили домой к одному из коллег, который жил на шестом этаже. Вечеринка была весёлой, и было уже поздно, когда мы все вышли. Мы все были под градусом. Мы вызвали лифт, который был довольно примитивного устройства и Николай, который обсуждал один из последних экспериментов Павлова на собаках, открыл дверь и шагнул. Именно в этот момент жена нашего хозяина прокричала: «Не пользуйтесь лифтом, он сломан!»

Николай летел три этажа и упал на крышу стоящего лифта. Он выжил, но у него были переломаны ноги и руки, и было сильное сотрясение мозга. Он провалялся в больнице почти год и перенёс бесконечное количество операций. В конце концов, он выздоровел и вернулся к работе.

Когда Павлову сказали об этом предчувствии, он сразу отмёл это в сторону: «Чистое совпадение, нет такого явления — предчувствия» — кратко отбросил он.

Для биологов и людей науки трудно признать наличие шестого чувства, которое никак нельзя измерить. Однако если любой из нас испытает то, что испытал доктор Рождественский, мы уже склонны допустить, что может быть, наука и не права, и мы уже склонны допустить существование области непостижимой для человеческого ума, которая может быть никогда и не будет познана.

Именно поэтому события 29 сентября 1917 года выгравировались в моей памяти навсегда.

Вообще-то, почему бы германской бомбе и не попасть в наш вагон? В определённом смысле на войне в этом ничего не было удивительного. Ужасным было то, что бомба убила моего друга и помощника Шеллинга и разнесла два вагона в щепки. Менее понятным для меня является факт, что я избежал смерти на время, равное меньше минуты. Конечно, это был несчастный случай на войне, однако, в этом случае было нечто, что я не могу просто так забыть.

Я помню это ясно как сейчас. Я валялся на кушетке в полусне. Звук был оглушающий, у меня было ощущение, что аэроплан прямо над крышей вагона. Я отчётливо вижу лицо немецкого лётчика, хотя мои глаза и закрыты. И затем я слышу, как Илья кричит: «Вот … Господь спасёт нас», и кто-то бормочет: «Шиллинг убит».

Я в ужасе вскочил с кровати и поднял занавеску. Было раннее утро, за окном щебетали птицы. Было тихо, только Шеллинг похрапывал в соседнем купе. Что это было? Кошмар? Наверно, но как только я начал анализировать обстоятельства, у меня появились вопросы. Весь этот сон я совершенно чётко слышал тиканье будильника на моём столике. Об этом можно долго спорить, но факт остаётся фактом, через шесть часов мы обсуждали с Шеллингом микроскопический срез ткани. Мы оба согласились, что это безнадёжный случай костной саркомы. Шеллинг готовился показать мне другой срез, но я отошёл в своё купе за сигаретами. Купе размещалось на противоположном конце вагона. Внезапно я услышал звук аэроплана. И только я вошёл в своё купе, как всё вокруг взорвалось, и я потерял

сознание.

— Он жив, — услышал я голос Полевицкого.

— Несчастный Шеллинг мёртв.

Это был голос Ильи.

* * *

Шеллинг был мёртв. В молчании мы стояли у свежей могилы, в то время как местный священник служил молебен. Кто управляет человеческой судьбой, думал я. Какие-то секунды отделили меня от судьбы Шеллинга. Было ли это предназначено судьбой свыше? Или это чистый несчастный случай? Мои мысли были прерваны Ильёй, который раздобыл в Луцке мраморную доску, и даже организовал выгравировать на ней имя и фамилию Шеллинга и даты жизни. Первая мировая война кончилась для Шеллинга, а также и для всех русских людей. Мы вступали в кровавую бойню гражданской войны, последствия которой никто даже близко не мог себе представить. Мы всё ещё жили в идеалистическом мире нашего гуманитарного воспитания. У нас не было реалистического практицизма более опытных европейских наций.

* * *

В мои студенческие годы я обедал в университетской столовой самообслуживания. Открытая до восьми вечера, она была местом студенческих сборищ. То тут, то там можно было видеть студентов, горячо обсуждавших философские и социальные проблемы и поглощающих чай в больших количествах, так как он был бесплатный. Многие болтались в столовой, прогуливая занятия. Студент не был обязан посещать лекции, ему надо было только сдать экзамен. Плата за семестр была двадцать пять рублей. Студент мог взять любое количество предметов без дополнительной платы. То есть плата за высшее образование была очень маленькой и любой, даже самый бедный, мог позволить себе учиться в университете. Большинство студентов было из низших и средних классов. Аристократические классы посылали своих детей в специальные учебные заведения типа Имперского лицея или Правоведческой школы. Правоведческая школа была юридическим институтом, где дети, преимущественно дворянства, подготавливались к различным государственным должностям. Мы в университете наслаждались

полнейшей свободой печати и слова. Никто нам не слова не говорил, если только студенты просто не хулиганили[22].

Однажды в столовой я заметил человека, который всегда был окружён толпой студентов. Ему было лет тридцать и у него было лицо мыслителя. Большие, тёмные глаза, огромный лоб, коричнево-золотистые волосы и сильный рот. Он был в толстовке с пояском. Говорил он очень медленно, часто не успевая заканчивать предложения. Периодически кто-то задавал ему вопрос, и он медленно отвечал, как будто пытаясь дать чёткую формулировку.

— Кто этот человек? — спросил я рядом стоящего студента.

— Мы зовём его Невским Сократом, — ответили мне. — Он из «старичков». Его фамилия Честер, наверное, от английских предков.

— Семья Честеров владеет текстильными фабриками в Петербурге, — заметил я.

— Возможно, он один из них, я не знаю. Честер был успешным адвокатом, но потом что-то произошло, он всё бросил и поступил в университет. В результате он окончил Имперский Лицей и занялся философией. Я часто вижу его на семинарах профессора Лосского о Канте.

Он потрясающий человек, но немного эксцентричный, на мой взгляд.

Он сколько уже в университете?

— Я не знаю, он уже тут был, когда я пришёл, а я на последнем курсе, то есть он тут минимум пять лет.

— Вечный студент?

— Наверно.

Я подошёл к этой группе студентов за столиком Честера. Он обсуждал моральность человека.

— Человек имеет душу, мы все соглашаемся с этим, — говорил он.

— Но не все из нас, — ввернул кто-то.

— Мы все должны согласится с этим, — упрямо продолжал Честер. — Я не даю определение души. Это подобие вместилища интеллектуальных и моральных признаков человека.

— Смутное определение, — заметил один из слушателей.

— Не такое смутное, как вам кажется. Каждый из вас чувствует присутствие души. Несмотря ни на что, она в вас. Именно благодаря ей, вы демонстрируете мудрость и глупость, хорошее и плохое..... Мы не должны отягощаться вопросами умозрительной или опытной философии. Мы должны иметь ввиду только основные вопросы теории познания и этики.

Его голос был глухой, в котором была некая гипнотическая

сила. Слова мало значили. Человек, который произносил эти слова, был человеком страстных и неколебимых убеждений. Однако он никого не уговаривал. Он не пытался ничего никому внушить. Он не доказывал, он просто говорил от чистого сердца. Его отношение к слушающим было дружеским, даже ласковым, однако, он был как бы повёрнут внутрь.

— Вы толстовец, Честер? — спросил кто-то.

Он отрицательно замотал головой. Студент, сидевший рядом с ним, видимо его ярый приверженец, ответил за него:

— Конечно, нет. Толстой ищет в морали убежище от внутренних, личных конфликтов.

Этот студент был почти что оскорблён:

— У Толстого для всех один стандарт. Мы не пропагандируем никакие обобщения в этой области. Человек должен сам найти свою душу. Человек должен самораспознать свои собственные врождённые ценности. Все люди в основном добрые. Если они делают зло, это потому, что они не знают свою собственную душу. Их незнание уводит их не туда. Из этих соображений мы против наложения любых правил и устоев на индивидуумов. Каждый человек должен найти себя сам через познание своей собственной души.

— Но человек слаб, — возразил первый студент, возможно, последователь Толстого. — В нём один дьявол. Он должен иметь чьё-то руководство или устои.

— Толстой, — проповедовал приверженец Честера, — Не понимает ценность индивидуума и её роль в развитии морали. У него ложное понимание хорошего. Да! Есть много несоответствие в жизни людей, много слабости. Но моральная слабость и проступки людей всегда непроизвольны, это их реакция против подавления индивидуальности человеческой души. Человек никогда не делает зло ради его самого.

— Не означает ли это, Честер, что ты против любой формы тирании, религиозной, политической и социальной? — кто-то спросил Честера.

— Тиран — это воплощение зла. Это источник всего зла на земле, — опять ответил студент Честера.

Я побежал в свой лабораторный класс, на который я опаздывал из-за встречи с интересным человеком. Я решил встретиться с Честером. Однако прошло несколько недель, прежде чем мне представилась эта возможность.

Был поздний июльский вечер, белая ночь. Было немного туманно. Я прогуливался вдоль берега Невы. Я спустился к реке и нагнулся зачерпнуть воды. Только тогда я заметил человека, сидящего на ступеньках.

— Я знал, что ты придёшь, — сказал он.

Это был Честер.

— Но вы меня не знаете, — я был озадачен.

Он молчал, как будто я ничего не сказал.

— Вообще-то я хотел с вами поговорить, — пробормотал я.

— Я знал это. У вас беспокойная душа. Но со временем вы найдёте себя так же, как я нашёл себя.

— Как?

Ответа не последовало. Мы сидели в тишине несколько минут. Он даже не двигался, и глаза его были закрыты. Было даже не слышно, как он дышит. Вдруг он открыл глаза и произнёс:

— Я вижу вас стоящим на улице, это Москва. Вы в форме британского офицера. Она вся порванная и грязная. У вас очень длинные волосы. Вы улыбаетесь и выглядите счастливым. Вы узнали меня и сделали движение поприветствовать. Я шёл в группе людей по середине улицы, похожей на Тверскую. Все были мрачные и некоторые плакали. Мы были окружены охранниками: дюжиной людей в странной форме с какими-то эмблемами в форме красных молотков.

— Очень интересный сон, — заметил я. — Вы шутите?

— Это не сон, это видение, — мрачно сказал Честер. — Иногда у меня бывают эти видения, предчувствия. В такие моменты я полностью теряю контакт с реальностью. Моё шестое чувство становиться предельно чутким.

— Ваши предчувствия всегда сбываются?

— Всегда, — он был твёрд. — Вы увидите.

Я не верил. Это был 1910 год. Я был первокурсником. Через десять лет, когда меня только выпустили из Бутырской тюрьмы, я стоял на улице Москвы, оказываясь верить своему счастью. Позади было четыре месяца тюрьмы. Мне надо было перейти через Тверскую улицу, когда я заметил группу заключённых, окружённую чекистами. Они шли вдоль улицы. В первом ряду шёл высокий, прямой человек. Он выделялся среди группы несчастных и испуганных заключённых своим невозмутимым видом. Он повернул голову в мою сторону и улыбнулся — это был Честер. Он не изменился. В той же самой Толстовке, без шапки, чисто выбритый, с длинными золотистыми волосами, он, казалось, был оторван от действительности. Инстинктивно я поднял руку, чтобы поприветствовать его, но осёкся: это было небезопасно.

— Я не сумасшедший, — сказал он, улыбаясь, когда мы сидели на ступеньках возле Невы, и ласково посмотрел на меня. — У некоторых людей есть эта способность предвидеть события. Это наиболее удручающая способность. Однако

пойдемте ко мне перекусим.

Он жил на Мойке. Его двухкомнатная квартира была очень простая и очень чистенькая. Почти аскетическое место. Несколько стульев, несколько книжных полок, маленький стол. Я заметил много книг по уголовному праву.

— Я был адвокатом, — заметил он, пока готовил чай и бутерброды. — У меня была большая практика. Но затем я начал думать. Это довольно обширный процесс. Но постепенно я решил оставить адвокатскую практику и посвятить себя полностью отысканию смысла человеческого существования. Когда я защищал убийц, которые всегда были жертвами своих конфликтов с окружающим миром, я нашёл, что мне было мало известно относительно мотивов, которые двигают человеком. Один из моих клиентов был очень богатый человек, который потерял на бирже всё своё состояние. Что он сделал: он убил свою жену и двоих детей. Он выжил, и его судили. Абсурд! Другой клиент. Пожилой человек, ревновал свою жену, подозревал в неверности. Он убил её. Чушь! Люди этого сорта абсолютно не имеют здравого смысла и нормальной оценки жизни. Современный человек потерял ощущение всех настоящих ценностей, которые были известны даже древней Греции. Поэтому я бросил адвокатскую практику и посвятил свою жизнь познанию самого себя. Я пожертвовал своё состояние государственным образовательным институтам, потому что настоящее существование просто. Современный человек обставлен многочисленными вещами. Он никогда не бывает счастлив. Он сам всегда возбуждает свои внутренние конфликты и он внутренне болен.

— Чем вы зарабатываете на жизнь? — спросил я.

— Я преподаю математику в вечерней школе.

— У вас когда-нибудь было предчувствие о судьбе России? — рискнул спросить я.

— Нет, мои предчувствия всегда связаны с моей собственной жизнью.

— И что вы знаете о своём будущем?

— Несколько раз у меня было одно и тоже видение: я убиваю человека.

— Вы убиваете? — я был в ужасе. — С вашей философией? С вашим самопознанием?

— Возможно, противоречие до абсурда. По крайней мере, в моём сне. Но обстоятельства этого извинительны.

— Есть ли обстоятельства извинить убийство? — Я было начал спорить.

Но он рассказал предчувствие.

— Я заключённый на каторге и работаю где-то на строительстве железной дороге на Севере. Зима, всё покрыто снегом, кроме дороги, на которой мы работаем. Заключённые представляют собой самых разнообразных людей: старые и молодые, мужчины и женщины. Они все мне кажутся безликими, кроме двоих: коменданта и юной девушки. Я раньше её не встречал, да и вообще таких девушек. Она была мне совершенно незнакома, однако, в моём предчувствии она была моей частью. Я возвращаюсь с работы и слышу её крик о помощи из домика начальника лагеря. Я иду туда и вижу, как он пытается изнасиловать её. Мои руки внезапно вспухли и стали огромные; они заполнили всё поле зрения и задушили начальника. Это было ужасно: мои огромные пальцы душат шею злодея.

— Как кончается ваше видение?

— Дальше видения не было. Оно заканчивается на задушении начальника этого загадочного лагеря.

В 1932 году бывший заключённый, который бежал из трудового лагеря Сегозеро в районе реки Кемь, рассказал мне историю, которая случилась перед его побегом. Честер был убит охранниками за убийство коменданта. Он не знал почему, но ходили слухи, что он защищал девушку из заключённых от изнасилования.

* * *

Я был свидетелем ещё одного примечательного случая предчувствия в Обуховской больнице в Петербурге. Врач среднего возраста по фамилии Лутугин обладал шестым чувством. Много раз он угадывал смерть пациентов, которые, ну ни как, не могли умереть от маленькой операции типа вырезания аппендицита. Однажды в больницу поступила молодая здоровая девушка для удаления аппендицита по поводу мягкого случая воспаления. Её температура была нормальной, и её не беспокоило ничего, кроме умеренной боли в области аппендикса. Было решено её взять на стол, но Лутугин был против. «Если вы её возьмёте, то она умрёт», — упрямо твердил он. Главный хирург сказал, что это всё вздор. Начали операцию, и девушка умерла на операционном столе от наркоза.

Русские всегда прислушиваются к этим вещам. Не прошло много времени, как хирурги уже запрашивали Лутугина по каждой планируемой операции. Это у них стало правилом. Но в одном случае он оказался неспособен предвидеть будущее: когда он сам поступил в больницу с камнями в почках. Надо было

срочно делать операцию, и он сказал, что операция должна пройти нормально; но он умер через несколько часов после операции, которая закончилась нормально. Причиной его смерти было внутреннее кровотечение, осложнённое циррозом печени.

Странная история с Лутугиным снова всплыла в моей памяти, когда я столкнулся с трагическим случаем с братьями Пятаковыми.

* * *

Вечером того же дня как был убит Шеллинг, я уехал с фронта. Мне надо было в Петербург, докладывать в департамент, что моя лаборатория разрушена. На пути в Киев я остановился в Луцке, где меня информировали о том, что меня выдвинули кандидатом в депутаты во Всероссийское Учредительное Собрание по мандату Трудовой партии. Выборы по 13-й армии были назначены на ноябрь, и мне предписывалось после Петербурга срочно вернуться на фронт.

В тылу царил полный хаос — резкая противоположность дисциплине и порядку, которые были на фронте. Поезда были забиты дезертирами с оружием и часто пьяными, а военная полиция не могла поддержать даже видимость порядка. То тут, то там коммунисты открыто обвиняли демократическое правительство в защите интересов буржуазии и интернациональных «капиталистических собак». Они призывали к немедленному миру без аннексий и требовали земли для крестьян и фабрик для рабочих. Их речи оставляли глубокое впечатление на некоторых слушателей, которые хотели побыстрее домой… и гори всё огнём. Несмотря на полный хаос на транспорте, продуктов было навалом. Можно было купить чего угодно в магазинах и ресторанах по вполне умеренным ценам. Никакого голода, холода и экономического спада, на которые потом стали валить необходимость прихода к власти большевиков. Вот когда пришли к власти большевики — вот тогда всё, как корова языком слизнула. И возник страшный голод и холод, и кровь, и весь этот кошмар наступил буквально сразу, как только они пришли к власти. Можно сказать, что это был сплошной кошмар, который никогда потом не кончился.

Что было осенью 1917 года, так это усталость от войны и жажда мира. Однако войска в основной части были верными правительству и оставались на фронте. Трусы слушали большевиков и становились дезертирами, и ехали домой самотёком, делая, так сказать мир, для себя лично.

Киев, весёлый и всегда нарядный город, всегда был как во время ярмарки. Хорошо одетые, весёлые люди наполняли Крещатик. Конец сентября 1917 года, в Киеве, кроме отдельных мужчин в полевой военной форме, не было никаких внешних признаков войны и революции. Открытые лавки на улицах города ломились под тяжестью фруктов и овощей. Цветы благоухали, всех цветов и оттенков. В воздухе, несмотря на осень, пахло любовью. Юноши и девушки галдели в переулках и открытых кафе.

* * *

Я зашёл в штаб фронта, где мой друг, Михаил Майданский был начальником медицинской службы Юго-Западного фронта. Мы не виделись с ним больше года. Он жаловался мне на искреннюю наивность украинских националистов, их самолюбие и политическую близорукость.

Эта националистическая близорукость угрожала будущему демократической России.

— Эти политические дешёвки, — сказал он, — Отказываются посылать хлеб и продукты в Сибирь. Это преступление, и при этом они заявляют, что они либералы и верят в демократию. Это так смешно, что просто плакать хочется.

Я упомянул, что собираюсь зайти к Пятаковым.

— Да интересная семейка.

И он рассказал мне, что отец-Пятаков умер несколько лет назад. Он сам выбился в люди. Сначала он был бригадиром на сахарном заводике. Затем он открыл свой заводик и развился до такой степени, что стал самым крупным сахарозаводчиком на Украине и одним из самых богатых людей в Киеве. Однако старик жил скромно и оставил состояние своим трём сыновьям.

— Старший Николай ведёт отцовский бизнес. Средний, Григорий, стал воинствующим большевиком и шляется по тюрьмам. Он ненавидит старшего брата и их нелюбовь — взаимная.

Говорят, что в большевизме Григория больше эмоций, чем логического рассуждения. Своего рода отдушина. И я почти ничего не знаю о младшем Михаиле.

— Это мой друг, — ввернул я, — Это он попросил меня зайти к нему домой, если я поеду через Киев.

Михаил был моим соседом по лабораторному столу в зоологической лаборатории Петербургского университета. Очень высокий, под метр девяносто, с длинными русыми волосами, с

усами и бородой он напоминал типичного Чеховского героя. Он был молчун и отличный работник. Я знал, что его отец очень религиозен, и был удивлён материалистическими убеждениями Михаила.

— Будь осторожен, — предупредил меня Майданский, — И не натолкнись на Григория. Я только позавчера встретил его в публичной библиотеке, и он до сих пор ещё в городе. Иногда, когда он в городе, он останавливается в их доме, мне кажется, чтобы досадить Николаю.

Таким образом, я отправился к Пятаковым. Майданский подвёз меня к дому.

— Будь осторожен, Пятаковы очень взрывоопасны в политическом смысле, — ещё раз предупредил он меня и уехал.

Улица на высоких холмах, окружающих Киев, была очень приятная. Было как-то странно тихо под высоким липами, которые толпились в переулках. Не было ни звука, ни голосов, и не видно никого. Название улицы было Подлипная — и она была таковой, и как бы, предавалась медитации. Дом Пятаковых, большой и белый, был в колониальном стиле и имел два крыла. Его украшали мраморные подоконники, и он тоже, как и улица, молчал. Вокруг дома был большой вишнёвый сад и кусты чайных роз.

Я позвонил в звонок. Сначала никто не отвечал, но затем массивная дверь медленно приоткрылась, и старый слуга впустил меня в вестибюль. Я попросил доложить меня Николаю Пятакову. Слуга был глух, и мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы растолковать ему. Он сказал мне идти за ним, и еле-еле передвигаясь, провёл меня в большую, полутёмную комнату с массивной мебелью. Через несколько минут вошёл Николай Пятаков. Мне он сразу понравился. Очень высокий, блондин, он смутно напоминал брата Михаила, но без его обиженного выражения лица. Он был чисто выбрит; прямолинейный и открытый он произвёл на меня впечатление своей искренностью и живостью. «Вот настоящий человек, образец своей человеческой расы!» — подумал я.

Мы сидели у камина и пили украинское вино, принесённое слугой. Мы говорили о России и большевизме, украинском национализме и его сахарном бизнесе, который процветал несмотря на хаос. Мы говорили о Бунине и Куприне. Мы говорили о его надеждах и планах. Его разговор был ободряющим, а его идеи здравыми и полными смысла. И тем не менее, беседуя с ним, у меня было впечатление, что я беседую с человеком, который скоро умрёт. Это было, одно из самых странных ощущений, которые я когда-либо испытывал. Этому ощущению не

было объяснения. Однако у меня никогда не было такого сильного предчувствия и, я надеюсь, больше не будет никогда. Это было пугающее и неприятное чувство. Передо мной сидел молодой, полный жизни человек, обречённый умереть. Меня настолько потрясло это предчувствие, что я не в состоянии был слушать то, что он говорит.

— Вы чем то обеспокоены? — спросил меня Николай, улыбаясь.

Я отнекивался.

— Вы собираетесь в Петербург?

Я кивнул.

— Вы Керенского знаете? Вы увидите его?

— Я мог бы. Я знаю его хорошо. Я мог бы, если необходимо.

— Необходимо. У меня срочное послание Керенскому, послание чрезвычайной важности. Я собирался ехать сам, но мне сейчас нужно быть в Киеве. Могу я на вас рассчитывать? — спросил он с беспокойством.

Я уверил его в том, что я доставлю его послание Премьер-Министру. Затем с неохотой он вспомнил историю с его братом Григорием, который связался с коммунистами и сразу стал близок к Ленину.

— Его ненависти к семье и всему, что с ней связано, трудно поверить. Однако он держит здесь свои комнаты и останавливается тут, когда он в Киеве. Почему? Я не знаю. Возможно, это часть его конспираторской деятельности. Григорий приехал в Киев несколько дней назад, — сказал он несколько возбуждённым образом. — К нему много приходили всё это время, и несколько собраний было в обстановке строжайшей секретности.

Николай признался, что он настолько стал подозрительный к деятельности брата, что обыскал его комнату, когда тот отсутствовал.

— Я никогда раньше не делал такие постыдные вещи, но я чувствовал как гражданин, что мне необходимо знать в чём причина всего этого ажиотажа.

Он нашёл документ в столе Григория. Это было письмо Ленина Григорию Пятакову, написанное собственной ленинской рукой. Письмо извещало, что вооружённое восстание против правительства Керенского планируется на 16 октября; и что он, Григорий, должен организовать группу в пятьсот большевиков, вооружить их и обеспечить их прибытие в Петербург за несколько дней до 16 числа.

— Вот само письмо, — сказал Николай, передавая его мне.

Я в изумлении замер. У меня перехватило дыхание. Ко мне

вернулось заикание:

— Подлинное письмо Ленина!

Понимая всю важность протянутого мне документа, я тут же я сделал своё решение:

— Я сегодня же еду в Петербург и найду Керенского.

Николай горячо пожал мне руку.

— Спасибо, у меня как камень с сердца свалился.

Я быстро оставил Николая и спустился вниз. В вестибюле я почти столкнулся с высоким, бородатым мужчиной, который был как близнец Михаила. Это был Григорий.

— Вы кто? — грубо спросил он меня. — Вы что здесь делаете?

Я объяснил, что я друг Михаила и пришёл к нему.

— Его здесь нет. Надеюсь, вы не встречались с другим моим братом, который полнейший мерзавец.

«Этот человек — моральный урод. Он соображает вообще, что он говорит?» — подумал я.

Ничего ему не ответив, я поспешил из этого дома, где странный сын мультимиллионера мнил себя большевиком, а был самой настоящей свиньёй в своём собственном доме.

Через несколько дней в Петербурге я прочёл в газетах, что Николай Пятаков, директор сахарных заводов и лидер либеральной партии, был убит при попытке вооружённого грабежа его дома. Группа грабителей перевернула вверх дном весь дом в поисках денег и ценностей. Но я-то знал, что это Григорий с дружками искал у брата письмо Ленина.

Через годы, я узнал, что Григорий Пятаков расстрелян НКВД. «Какое хорошее НКВД!», — подумал я.

Во все последующие вихревые годы, когда моя жизнь постоянно подвергалась опасностям гражданской войны, я уже не мог небрежно относится к предчувствиям. Когда я был в Бутырской тюрьме, и каждый момент ожидал смертной казни, у меня было предчувствие, что я останусь в живых. А когда я пустился в опаснейшую авантюру путешествия в Уфу на повторное Учредительное собрание, у меня было полнейшее предчувствие, что всё как-нибудь обойдётся.

В станице

«По приказу красного командира красноармейцы привели в Ларемную больше ста казачек. Однако беляки освободили их, а красноармейцев казачки подвергли мучительной смерти», — писала газета «Известия» от 15 января.

Колёса телеги шумно вертелись, и всё вокруг благоухало запахом свежескошенного сена. Мы сидели в телеге, изнывая от

длинного пути, и тупо смотрели на дорогу. Разговор временами вспыхивал, а временами, становясь бессмысленным, затихал. Моя попутчица, юная казачка с роскошными тёмными волосами, спокойно и безучастно рассказывала о том ужасе, который произошёл в станице. Её голос был странным образом монотонен, а сама она была похожа на придорожную траву. Длинная, зелёная трава напрасно сопротивлялась серой придорожной пыли. Трава выцветала и выдыхалась, а колёса телеги монотонно скрипели и скрипели.

* * *

На рассвете гонец из казацкого штаба примчался на лошади в Ларемную. Созвали всех станичников. Множество народа пришло послушать новости.

— Чего случилось-то?

— Командир приказал срочно известить вас, что завтра в Ларемной будут красные. Сколько их — неизвестно. У них есть пулемёты, и даже пушка. Наши люди не могут с ними справиться. Наше дело предупредить. А вы делайте, что хотите. Хотите — сражайтесь, хотите — бегите.

Поднялись крики. Молодёжь кричала:

— Ура! Да здравствуют красные! Покончим со старыми порядками! Долой буржуазию!

Старики сердито ворчали. Старый Гаврила, староста, набросился на молодёжь:

— Побойтесь бога! Предатели! Я вам покажу кузькину мать с большевиками якшаться!

Его без труда успокоили.

Казаки начали думать. Сначала высказался молодой казак Парфён Пименов. У него были мягкие, похожие на женские волосы, усы, и на щеке у него был шрам от пули. На гимнастёрке он носил Георгиевский крест. Он размахивал руками и умолял казаков сопротивляться. Он насмехался над односельчанами.

— А может, вы трусы? Вы, может, боитесь сражаться с красными? Может, вы дрожите от одной мысли о красных?

— Этот Парфён хвастун, — отвечал крупный и бородатый казак Ситов. Он был торговцем.

— О чём ты говоришь? Какое сопротивление? Какое сопротивление у соломинки? Штыки против пушки! Надо выбрать середину.

— Какую середину, Емельяныч! — поднялись голоса.

— Они говорят, что красные воюют только с казаками. Ясно,

что нам тут оставаться нечего. С женщинами — другое дело, женщин они не тронут. Судите сами. Если мы уйдём — они разграбят станицу, а может, и сожгут. Если мы останемся — это тоже ничему не поможет. Мое мнение: надо оставить баб стеречь избы, а самим, ясно дело, тикать.

— Отличная идея, большой дурень! — Закричала старая вдова Митрохина, женщина огромных размеров и с ногами, как телеграфные столбы, — Бросить женщин на произвол судьбы!

— Не пугайся, старая перечница, тебя они не тронут! На твою красоту они не клюнут!

Смех, крики, споры, продолжались ещё долго.

С наступлением сумерек вдалеке послышались выстрелы пушки. Казаки, которые решили оставить баб в станице, быстренько собрались. Как и водиться, бабы сильно вопили и плакали, провожая казаков до околицы. Проводя казаков, бабы по быстрому заперлись в избах и закрылись на все ставни.

— Странно, как будто все они вымерли. Часом, они не убежали?

Крепко сложенный красный командир с багровым лицом и револьвером в руке, остановил отряд у входа в церковь. Отряд составляло человек сто красноармейцев, несколько пулемётов и всего одна пушка.

— Товарищи, они прячутся! Видите, все двери позакрывали.

Светловолосый красноармеец с широкими скулами излагал какие-то свои идеи командиру, по-приятельски похлопывая его по плечу.

Солдаты и командиры были пьяны, и многие с трудом держались на ногах. Они отпускали вульгарные шутки и ржали.

— Вы чего? Найдите мне жителей! Вот хата попа! Подать его сюда!

Еле-еле, медленно несколько красноармейцев пошли искать попа, лузгая семечки. Другие разбрелись по станице, гоняясь за курами и утками и выламывая ставни и двери. Шум, перемешанный с руганью, распространился по станице. Вдруг шум заметно усилился, к кудахтанью кур добавились вопли и крики женщин.

Вместо попа, который ушел с казаками, привели его жену. Она была юной и красивой, с тёмными глазами. Испуганная, она плакала, как ребёнок и умоляла отпустить её.

— Мальчики! Берите всё, хлеб, мясо, только отпустите меня.

Красноармейцы не обращали внимания. Возбуждённые её молодым телом, они тащили её, задирая её, и щипая со всех сторон.

Во дворе старой Митрохиной двое красноармейцев гонялись

за индейкой. Старуха с огромной кочергой гонялась за ними. Прижатый к углу двора маленький курносый красноармеец с глупым лицом вытащил револьвер и, полузакрыв глаза, выстрелил. Митрохина рухнула на землю. Солдат, улыбаясь, обшарил её карманы. Вытащив ключи и кошелёк, он показал их товарищу, и оба растворились в хате.

Дворняжка подбежала к неподвижному телу и опустила хвост. Вдруг, увидя кровь, дворняга начала лизать её.

— Чего вам надо?

— Впускай! А то сломаем дверь!

— Муж ушёл в поле!

— Открывай без разговоров!

Красноармейцы ломились в большую хату Ситова. Его темноглазая жена была станичной красавицей. Она в страхе забилась и боялась двигаться. В углу плакала её трёхлетняя дочь, испуганная стуками и криками красноармейцев. Наконец дверь не выдержала, и трое красноармейцев ввалились внутрь.

— Что вы хотите? Что вы вламливаетесь как бандиты?

Вид красивой женщины, рассерженной их поведением, ещё более разохотил красноармейцев.

Без лишних слов огромный бородатый красноармеец с сифилитическим носом сгрёб её груди и повалил её на пол. Женщина, отчаянно крича и сопротивляясь, притянула к себе своё дитя, как будто стараясь защититься им. Мужик, взбешённый помехой, схватил ребёнка за ноги и зверски саданул ребёнка головкой о печку. Брызги крови разлетелись по комнате. Затем он набросился на обезумевшую несчастную женщину всем телом и под одобрительные крики товарищей изнасиловал её.

Командир восседал в центре квадрата, очерченного стоящими красноармейцами. На своих коленях он держал жену попа, заливающуюся слезами. Подзадоренный толпой красноармейцев, он бесстыже целовал жену попа и, гнусно смеясь, пробовал петь революционные песни. Одобрительная ржачка раздухаряла его всё больше, и больше.

* * *

К вечеру кошмар в станице достиг своего разгара. Чтобы наказать всю станицу за бегство казаков, командир красных приказал доставить к нему сто самых красивых девушек и женщин станицы Ларемной.

Среди пыли и проклятий красноармейцы волокли казачек. К себе в повозку красный командир взял изнасилованную и

обезумевшую жену попа. Всю ночь опушка леса, которую красноармейцы выбрали местом для оргии, была свидетельницей скотских сцен. Для сопротивляющихся женщин они вкопали столбы и привязали несчастных к ним. Сначала красноармейцы разорвали их одежду, а затем как с животных содрали кожу. Однако их веселье было прервано обезумевшей, молодой женой Ситова. Она полностью потеряла рассудок, плакала и смеялась одновременно и кричала непонятные слова.

— Убей ты её! — сказали красноармейцы бородачу.

— Такую красотку вряд ли ещё где найдёшь.

— Да найдём мы тебе в следующем селе, сколько хочешь.

И… следуя совету товарищей, бородач убил несчастную, просто выстрелив ей в спину.

* * *

На следующий день отряд казаков окружил лес, освободил женщин и взял красных в плен. Женщины ни секунды не сомневались в том, что они делают. После того, как они всех кастрировали, они убили всех до одного. Красного командира мучили гораздо дольше, чем остальных.

* * *

Колёса телеги скрипели и скрипели, и юная казачка, одна из тех самых несчастных женщин, тихо плакала под мелодию этих колёс.

notes

Примечания

1

Прим. переводчика: В 1917 году в отсталой России только трёстам человекам, приехавшим вместе с Троцким на пароходе «Кристианафьорд» из Нью Йорка, могло быть известно о существовании Уоллстрита — соседнего района с Ист Сайдом, где уже проживало два миллиона эмигрантов из России, но это не могло быть известно самим жителям России.

2

Стихотворения даны в переводе с английского. Прим. пер.

3

Прим. переводчика: Линде Фёдор Фёдорович (1881–1917) Член исполкома Петроградского совета. Меньшевик-интернационалист. Один из организаторов солдатских демонстраций в Февральскую революцию. Комиссар Временного правительства на Юго-Западном фронте. Специалист по математической логике. Убит в ночь на 24 августа 1917 года. Герой стихотворения О. Мандельштама «Когда октябрьский нам готовил временщик…» (1917) и прототип комиссара Гинце в «Докторе Живаго» Б. Пастернака. Биографические сведения из мемуаров Виктора Шкловского «Ещё ничего не кончилось…» М. 2002. Стр. 399.

4

Суд проходил в Петербурге с 1 июля по 11 сентября 1871 года. Председателем суда был князь Трубецкой, известный своими прогрессивными взглядами. Процесс был открытый.

5

В открытом письме в 1873 году, Фридрих Энгельс раскритиковал моральный кодекс Нечаева. Однако через пятьдесят лет, с победой революции, Нечаев был реабилитирован и превращён в народного героя. Ведущий коммунистический публицист Александр Гамбаров пишет в длинной биографии Нечаева, опубликованной в 1926 году: «Нечаев был первым русским коммунистом. Он был единственным, который правильно понимал сущность классовой борьбы и правильно прилагал её к действиям. Русская интеллигенция не смогла пойти за Нечаевым в силу её буржуазности. Он был настоящим коммунистом. «Нечаев». А. Гамбаров изд. Московский рабочий. Москва.1926 год.

6

Городские выборы в Петербурге отражают ситуацию: в июне 1917 года Керенский получил 374585 голосов, или 58 процентов. На выборах же в сентябре, количество голосов, поданных за его партию, упало до 54 374 голосов, или до 14 процентов. С другой стороны, кадеты увеличили свой процент с 17 процентов в июне до 26 процентов в сентябре.

7

Прим. Пер. Всероссийское Демократическое Совещание проходило с 14 сентября 1917 года в Петрограде и было организовано ВЦИК первого Съезда Советов. Присутствовало более 1500 делегатов от разных, кроме монархических, партий. 7 октября 1917 года Всероссийское Демократическое Совещание приняло решение о создании Временного Совета Российской республики (Предпарламента).

8

Второго сентября 1917 года муниципальные выборы прошли по всей России. На которых были избраны 16 935 городских представителей власти. Большевики получили семь процентов в районных центрах и три процента в обычных городах. Социалисты получили 58 процентов в райцентрах и 34 процента в других городах. Несоциалистические партии получили 35 процентов голосов в райцентрах и 64 процента в обычных городах. Б. Веселовский, «Русское Слово». Октябрь 8, 1917 года.

9

Борис Савинков был политическим комиссаром седьмой армии до 30 июля 1917 года, когда его назначили заместителем Министра Обороны. В связи с обвинениями в заговоре вместе с генералом Корниловым, Керенский уволил Савинкова и заменил полковником Верховским.

10

«Кишкин, выведенный из себя бездействием Полковникова, уволил его», — Павел Милюков. «История Второй Русской Революции». Русско-болгарское издание. София. 1922 год.

11

Единственная атака прорвать кольцо большевиков, была предпринята женским батальоном. Эта атака только показала, что любая попытка оставить баррикады приведёт к смерти. Те девушки, которые были взяты в плен большевиками, были изнасилованы и подвергнуты смертной казни на месте. Милюков. Стр. 230, также Александр Синегуб «Архивы русской революции, том 4, Берлин, 1922 год, стр. 121–127.

12

Прим. Пер. Псевдофилософ и политический провокатор Дью в 1937 году был председателем процесса-фарса, устроенного над Сталиным Троцким.

13

Разговор Ленина с Натансоном напечатан в «Правде». № 91, апрель 20, 1924 года.

14

Прим. Пер. Дочь Крыленко, Елена Крыленко-Истман, художница, умерла в 1956 году, будучи замужем за американским троцкистом Максом Истманом жила в Америке. Макс Истман (Max Eastman. (1883–1969) автор многих троцкистких книг и статей, например «Конец социализма в России». 1938.

15

Коммунист Бонч-Бруевич вспоминает: «Владимир Ильич… был нервозен и бледен как никогда до этого…. Он сидел, конвульсивно схватив себя за руки». Из работы «На сражающихся рубежах Февральской и Октябрьской революций», стр. 256.

16

Следующий эпизод также описан коммунистом Х. Л. Мещериковым в «Пресса и революция», № 4, 1924 год.

17

Предыдущее также описано во «Всероссийском Учредительном собрании», опубликованном в СССР в 1930 году, стр. 207. Этот же эпизод описан Дыбенко в книге «Восставшие» стр. 110.

18

Книга Марка Вишняка «Всероссийское Учредительное собрание» стр. 100, сообщает, что матрос Железняков через несколько лет был казнён большевиками за бандитизм.

19

Прим. переводчика: Всего от гриппа «Испанки» тогда умерло около 50 миллионов человек во всём мире. Вопреки названию, эпидемия началась на территории военной части в США. Компетентные люди считают, что это была искусственно вызванная эпидемия, как форма бактериологической войны ведущейся США против других стран.

20

Прим. пер. В результате введения в 1804 году Александром Первым обязательного бесплатного государственного образования для евреев в черте оседлости, к середине 19-го века самыми образованными людьми в России стали евреи. «Русская» интеллигенция — это еврейская интеллигенция. Франк Бриттон «Что стоит за коммунизмом». Вот почему еврей Бердяев называл интеллигенцию «суперклассом».

21

Прим. переводчика: Они не учли человеческий фактор — смертного человека, который должен всё время менять среду «бессмертной культуры».

22

«Не менее 50 % студентов зарабатывали на жизнь преподавательской работой. Университетские стипендии и другие виды финансовой помощи от разных организаций были очень распространены» Игнатьев, Одинец, Новгородцев. «Русские школы и университеты» Йельский университет. 1929 год.